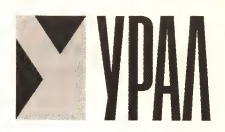
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ



НОЯБРЬ / 2015

Ноябрь' 2015



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 года

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ДРАМАТУРГИЯ

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Екатеринбург

ПУБЛИЦИСТИКА

КРАЕВЕДЕНИЕ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧЕРНАЯ МЕТКА

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Лариса Богданова

Бесконечно далеко и отчаянно едино

***

За полночь проснешься.
У порога
каждый звук —
движение и свет.
После проливается дорога,
высыхает музыка
и след
тянется до всхлипа
и до смеха,
ровно до дыханья.
А в ночи
равновесье голоса и эха.
И уже поэтому молчишь…

***

Ты — стальное молоко.
Я — подтаявшая льдина.
Бесконечно далеко
и отчаянно едино.
Птица-север в разворот
ставит матовые крылья.
Облако и самолет.
В блюдце дня
молочный иней.

***

Единство движений
души и времени —
расстояние.
А совокупность
неба, души и дороги —
пространство.

Лариса Богданова — поэт, автор книг «Избранные стихотворения», «Перемолчать до эха», «Пятое эхо», «Високосная жизнь». Стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», в коллективных сборниках и альманахах поэзии. Живет в поселке Новоасбест Свердловской области.

Поэтому главное —
души,
их состояние.
Остальное —
всеобщее непостоянство.

***

Святая простота,
Наивная причуда,
На полочке мечта
Чиста и безрассудна.

Мы с ней накоротке.
Два эха непорочных
Витают вдалеке
От прочего и прочих.

***

Не прощает новый дом
твои старые грехи.
Хочешь неба, а кругом
натяжные потолки.
Без надежды на авось
жизнь и смерть —
к щеке щека.
Времечко оторвалось
от дверного косяка.

***

Всё правильно
и здесь, и в небесах.
Вон два отростка
у прибрежной ивы
и время родниковое
в местах,
где молоды
и, значит,
мы красивы;
где вышептаны
небо и река
и вымолены
родственные души;
где завтрашние
тени-облака
плывут безмолвно
по вчерашним лужам…

***

Вариантов у прошлого нет.
Безусловны
ускользающий лодочный след
светлобровый,
уходящая вглубь бирюза,
вниз и влево,
и раскосые лодок глаза,
вверх и в небо.

***

Билась,
мучилась, греша,
своевольничала,
пела…
Божье зеркало —
душа —
от дыханья запотело.

***

Стихоосень. Сентябрь.
Подстрочник.
Стихопамять любимых лиц.
Стиховремя
как многоточие
улетающей стаи птиц…

***

Дорога уводит вбок,
Погода не с той ноги.
Но даст милосердный Бог
Козловые сапоги.

Подернется льдом к утру
Колодезной влаги синь.
Овчина не по нутру.
Но дали метель — носи.

***

Синее дерево Ночь.
Белое древо Рассвет.
В ступе воды истолочь
Времени нет.

Выпить холодного сна
И посмотреть на восток,
Где возле дома сосна
Маму целует в висок.

***

Вот и думай:
давно ли,
вчера
обозначилась эта пора.
Прошлогоднего эха дыра
разошлась до грядущего года.
Не откликнуться —
тоже свобода,
тишины и дыханья игра.

***

Стакан с водой
и мятные пастилки…

У ангелов
под голубым дождем
на облаке
лазурные прожилки
и синие
на сгибе локтевом.

***

Весело, весело мне
на теневой стороне
взяться руками за небо,
круглое справа и слева,
выискать взглядом её,
выдохнуть пение птичье
и, не меняя обличья,
переменить бытиё.

Владислав Пасечник

Скрижали Рассвета

Новелла из цикла «Скарна»

Помышленье богов в небесах — кто узнает?
Божий замысел бурный кто бы мог разуметь?
Да и как бы постигли божий путь человеки?
Кто вчера еще жил — поутру умирает,
сразу он помрачен, вдруг его больше нет;
во мгновение ока он поет и играет,
а шагнуть не успеешь, он рыдает как выпь.

Песнь о невинном страдальце. *Перевод В.К. Шилейко*

1

Старый раб, долговязый и черствый, выглянул из окна и тихо проклял богов: исчезло мутное облако, еще вчера висевшее над Храмом Светильников и грозившее разразиться дождем. Синга открыл глаза и зашевелился. Его разбудило бормотание раба.

— Что такое, Наас? — спросил он сонно.

— Дождя не будет, господин, — ответил раб, щурясь, словно кот. — Боги ненавидят нас.

Синга покачал головой: уже много дней Священный город ждал дождя. Песок заметал каналы на полях, добела высохли вади, смоковницы в садах зачерствели. Скот голодал, умирали посевы, жрецы приносили обильные жертвы, гадатели запирались в своих домах, а люди вымарывали их двери навозом. Домашним истуканам выбивали глаза и сбрасывали в городскую клоаку. Только Храм Светильников еще не был осквернен — народ боялся хулить далекого и неведомого Отца Вечности.

Юноша встал со своей потертой циновки, омыл лицо и руки водой из миски, которую принес Наас, и натянул на себя льняную тунику — эта одежда была частью его содержания, — у себя дома, в Эшзи, он носил простое платье из шерсти.

Пока Синга переодевался, Наас стоял к нему спиной, уставившись в окно.

— Старик, что ты там видишь? — спросил юноша.

— Ничего, молодой господин. Только город и злое Солнце над ним.

— Ты лжешь, старый кот, — Синга, сплюнул. — Что-то еще ты видишь!

Наас промолчал, но юноша и не ждал от него ответа. Старый раб всегда был себе на уме, и ни Синга, ни боги не могли этого изменить.

Владислав Пасечник — прозаик и литературовед, печатался в журналах «Вопросы литературы», «Новая Юность», «Урал». Лауреат премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» (2011). Живет в Барнауле.

Кажется, Наас всегда был рядом. Вспоминая дом, Синга всякий раз представлял отца, а рядом с ним — Нааса. Уже пять лет прошло с тех пор, как отец отдал Сингу в школу писарей. Школа находилась в Храме Светильников в городе Бэл-Ахар, и, чтобы устроить туда сына, отцу пришлось продать трех домашних рабов. Все трое приходились Синге ровесниками — сильный и нахальный Кнат, увалень Киш и Сато — драчливая и бойкая девчонка, к которой юноша имел неясное тревожное чувство. «В твоей детской дружбе с рабами нет ничего дурного, — говорил отец в ответ на слезные просьбы оставить этих троих под родной крышей, — но теперь ты становишься взрослым и должен завести новых друзей среди равных себе. Это будет правильно и угодно богам». После этого разговора Синга убежал в поля и не появлялся дома целых три дня. Домашние думали, что мальчик молится духам, выспрашивая свою судьбу у ручьев и посевов. Никто и подумать не мог, что Синга с утра до ночи яростно вспахивал дикую землю, пытаясь утолить в работе страшную, преступную обиду на отца. Когда он наконец появился на пороге дома, все увидели, что руки его покрылись коростой, голова стала похожа на перекати-поле, а глаза совсем выцвели. Через месяц он навсегда оставил дом и отправился в Храм Светильников. Туда его сопровождал раб-воспитатель Наас. Мальчику всегда казалось, будто в Наасе есть нечто кошачье, гибкое, изворотливое. Воспитатель всегда говорил очень тихо, почти неслышно, но в его голосе, как в мягких лапках, всегда таилось нечто острое и колкое. В глубине души Синга боялся старого раба, и на то была причина — отец попрежнему жил в Эшзи, но Наас, оставаясь при мальчике, воплощал собой волю хозяина. Он был последним узелком, связывающим Сингу с домом. Но было еще кое-что вызывавшее у Синги трепет перед этим тощим и мрачным человеком — Наас всегда поступал на свое усмотрение и всегда поступал как свободный человек. Однажды Синга с другими воспитанниками улизнул в город и напился там сикеры. Раб всю ночь обходил «захожие» дома и в конце концов нашел своего хозяина — в заблеванной одежде, с помутившимся умом. Он взвалил юного господина на плечи и тащил так до самой обители, прячась по темным углам от надзирателей-евнухов. Всю ночь он сидел у его лежанки, отпаивая рвотным отваром. Синга знал, что Наас ничего не сообщил отцу про тот случай, и с тех пор проникся к воспитателю особым уважением.

В начале обучения Синги они жили в тростниковой хижине за пределами храмовых стен. По ночам под циновку забирались крысы, и Наас выбивал их оттуда камнями. Синга не жаловался — после отъезда из дома им овладело тупое томное чувство. Он словно ждал чего-то, прислушиваясь к тому, как крысы грызут циновку. Лишь по окончании первого года ему позволили спать в теплой и сухой келье. После шаткой лачуги эта узкая глинобитная клеть показалась Синге настоящим дворцом. Здесь было большое круглое окно и полог из холщовой ткани. Каждое утро на пороге оказывалась большая миска с водой и кусок мыльного корня. Совершив омовение, он вместе с другими учениками отправлялся в храмовый двор, где будущих писарей учили чтению, грамоте и арифметике, игре на арфе и свирели. На площадке для игр мальчики состязались в беге, борьбе и метании копья. Рослый Синга лучше других бросал копье и бегал быстро, как Южный ветер. А вот к учебе Синга не чувствовал большого рвения, и первое время евнухи часто били его по пяткам тростниковыми палками. Когда юноша подрос и «набрался ума», изменились и его наказания — теперь, провинившись, он должен был с утра до вечера снова и снова пропевать вслух заклинания и молитвы, древние и долгие, как Ночь. К вечеру он уже начинал скучать по тростниковым палкам...

За дверью раздался шелест одежд, и Синга встрепенулся. Полог зашевелился, и в клеть заглянул Тиглат — старший ученик и служка.

— Ты еще не приступал к делу? — раздраженно спросил он. — Поторопись, скоро начнется молитва. Чего косишься на меня? Опять ведь опоздаешь.

Внутри Сингу всего скрутило от злости, но с виду он остался невозмутим. Не стоил его гнева Тиглат — сын иноземца, как говорили, «от дурного семени». У Синги, однако, была еще одна своя обида на этого человека. Однажды в месяц дождя его отец посетил Храм Светильников. Оказавшись в священных залах, он держался очень робко, неловко кланялся наставникам и беседовал с учениками, словно это были седобородые мужи. Синге было странно смотреть на него такого. Дома отец был настоящим архонтом, его слово имело силу закона, а всякий закон имел силу его слова, но здесь он был мальчишкой, оказавшимся среди мудрых старцев. Он почти не говорил с Сингой, будто это был не его сын, и даже не смотрел на него. Но с Тиглатом, с этим дурным человеком от дурного семени, он держался почтительно. Когда Тиглат показал один из своих трюков — сотворил белое пламя в вогнутой медной чаше, — отец от неожиданности выругался. Белое пламя осветило его широко раскрытые глаза, и он, впервые на памяти Синги, улыбнулся — ясно и радостно, словно ребенок. Затем Тиглат объяснил отцу природу пламени. Он говорил с некоторым снисхождением, в голосе его сквозила скука. Для него отец был невеждой, глупым и угрюмым стариком из далекого края. Отец с благоговением выслушал его объяснения, затем повернулся к сыну и потребовал повторить чудо. Синга вспыхнул и, потупив глаза, сказал, что не умеет пока возжигать чистый огонь. Отец побагровел от гнева, но Тиглат улыбнулся, одарил Сингу взглядом из-под прикрытых век и произнес тихо: «Сын твой еще не прошел всего обучения, не научился видеть бесконечное в малом, а целое — в каждой части. Он судит о мире, как пьяница, и зрит лишь тени настоящих предметов. Пройдет немало времени, прежде чем он познает Скрытого Бога». Отец кивнул, услышав эти слова, но во взгляде его Синга угадал сомнение. С тех пор он крепко возненавидел Тиглата и перестал говорить с ним, но тот, как назло, заглядывал к нему каждое утро в обитель и понукал, как малого мальчишку. Должно быть, об этом его попросил отец…

— Ты ленив, как ящерица. — произнес Тиглат, смерив Сингу недовольным взглядом. — Ночью ты спишь, а днем только и знаешь, что греться на солнышке. Когда ты закончишь свою работу? Наверное, твои волосы побелеют раньше. Послушай, что говорят старшие, — неужели тебе не стыдно?

Синга отвел взгляд. Слова Тиглата жгли его, словно розги. Он и вправду мешкал. На столе перед ним лежала сырая табличка в деревянной рамке и костяной стилус. Мальчик подавил вздох. Нет. Нельзя показывать свою слабость перед этим чужаком. В его глазах нужно быть крепче кедра и сильнее льва. Он не скажет ни слова в ответ на его попреки. Но Тиглат, должно быть, угадал его мысли и сам убрался восвояси, а Синга принялся наконец за работу. Ему было поручено важное задание, последнее испытание писца: он должен был в малый срок переписать длинную, как Ночь, песнь об Ашваттдэве. Много веков назад учителя увидели в этом языческом сказании зерно Благомудрия и сделали его частью Великого знания. С тех пор оно, конечно, сильно изменилось: создание Земли и небесных сфер в нем было описано точь-в-точь как в Похвале Уму, сам Ашваттдэва, отправляясь на битву, воздавал хвалу Отцу Вечности и затем, скорбя над павшим братом, дословно пересказывал Скрижаль Смирения.

Работа была кропотливая и отнимала много сил. Синга просто оставлял исписанные таблички сохнуть на столе и, вернувшись после Большой молитвы, уже не находил их — евнухи уносили куда-то плоды его трудов. Куда — Синга не знал да и не хотел знать. День ото дня число переписанных табличек росло, но каждый вечер евнухи приносили из хранилища новые песни, и Синге порой казалось, что славным деяниям Ашваттдэвы вовсе не будет конца и что каждую ночь герой возвращается в мир смертных, чтобы учинять подвиги ему, Синге, назло.

Времени до утреннего служения оставалось все меньше. Синга сел на пол, положил перед собой стило и сырую табличку, зажег лучину и помолился.

Молиться нужно было всякий раз, приступая к работе. Он произносил нужные слова как можно тише, закрыв рот ладонью, чтобы дыхание не поколебало огонь. Синга верил, что его молитва возносится вместе с дымом, минуя всех архонтов, прямо к Отцу Вечности. С тайным стыдом юноша представлял себе, как Отец с одобрением внимает ему. Синга прилежно назвал все Пять начал Блага — Добрую Мысль, Ум, Решительность, Благодеяние, Знание, и воздал каждому из них причитающуюся похвалу. А после в уме перечислил все пять начал Зла — Огонь, Дым, Ветер, Воду и Тьму. Сделал он это, конечно, не намеренно, не для того, чтобы осквернить молитву, просто эти слова сами собой приходили ему на ум, и он никак не мог понять, почему пять этих начал всегда противопоставлялись Благу. В Скрижалях об этом ничего не говорилось, а мудрые учителя хмурились, когда кто-нибудь из учеников расспрашивал их об этом. Синга тешил себя надеждой, что, быть может, тайна откроется ему по окончании обучения, но мало-помалу эта надежда истончалась.

Закончив переписывать табличку, Синга накинул на плечи бурнус из серой шерсти, подпоясался, отдал Наасу распоряжения на первую половину дня и спустился на нижний ярус. Здесь было душно и нечисто, приятно пахло теплым навозом — в дальнем конце в едкой пыльной темноте сонно топтались в своем загоне овцы, составлявшие имущество храма. Здесь же обычно спали гости и паломники. Теперь, в жаркую пору, тут обитали одни только евнухи — приземистые, тучные, с вечной усталостью в масленых глазках. Синге казалось, что они очень похожи друг на друга — как старухи на рынке. Нельзя было точно сказать, сколько евнухов обитает в Храме Светильников — десятки или сотни, их всегда было ровно столько, сколько нужно. Они годились для тяжелой работы, а еще для того, чтобы слушать и наблюдать. Образованные евнухи из Храма Светильников нанимались на службу в семьи к богатым людям и даже к правителям городов. В Аттаре служило множество скопцов из Бэл-Ахара, они занимали видные посты, недоступные простым смертным. Царь Руса и сам не заметил, как Великий Наставник опутал его сетью наушников и соглядатаев. И если на то будет воля Отца, никогда не заметит.

Синга вышел во двор. Здесь играли и разминались мальчишки — младшие ученики, те, у кого еще не было своего особого испытания. Взглянув на них, Синга вновь ощутил тоску. Никто из учеников так и не стал для него настоящим другом. Время шло, и Синга вполне мог обрасти нужными и важными сношениями, но все выходило иначе. Все чаще Синга сторонился сверстников, уходил от их забав и затей. Иногда ему казалось, что он много старше их или, напротив, много младше. Он больше не сбегал с ними в город и не напивался допьяна. Ночью, отходя ко сну, прежде чем произнести Молитву Смирения, он поименно вспоминал своих друзей-рабов: Кната, Киша и Сато. Сато… он хорошо ее помнил — резкая, угловатая девчонка, во всем похожая на злого мальчишку. Она говорила и дралась, как бродяга, — даже Синге иногда попадало от ее костистых кулачков. Для него она была другом, самым лучшим и самым надежным, и… чем-то еще, непонятным, недоступным, как луна или звезды. Иногда в сваре или в разгар игры Синга касался губами ее щеки или шеи. Сато краснела и еще злее била его… Теперь воспоминания о домашних рабах томили Сингу. Все время своей учебы он пытался хоть что-то разузнать об их судьбе, но единственным, кто точно что-то знал, был Наас. Все, что знал Наас, он хранил при себе, оберегал, как золото или медь, и год от года это его жалкое сокровище теряло ценность, выцветало, как дурно покрашенная шерсть.

С востока дул горячий злой ветер. Синга безучастно смотрел на двор и на его привычную суету. Он чувствовал, как хрустит на зубах жгучий песок. Ничто из того, что творилось вокруг, не занимало его ума, но все же он наблюдал за этой скучной жизнью — в силу привычки. Через двор прошла торопливая стайка девочек-прядильщиц с охапками овечьей шерсти. Никого из них Синга не знал по имени. У подножия храмовой горы эти девочки трудились день

и ночь, изготавливая одежду для обитателей Священного города. Мальчикам запрещено было общаться с ними, но этот запрет мало кто исполнял. Не так давно один из учеников пошел против воли Храма: он оставил учебу, тайно сошелся с прядильщицей и под покровом ночи бежал с ней из города. Евнухи отправились в погоню и через несколько дней беглого ученика, избитого и оборванного, привели обратно в Храм. Девушка исчезла бесследно, но Синга слышал, что мать ее в один из дней пришла к храмовым вратам. Она обрила голову и посыпала ее пеплом, расцарапала ногтями свою грудь. Она выла, требуя вернуть ей дочь или хотя бы рассказать о ее судьбе, но служители не вышли к ней, и все причитания и все проклятья остались без ответа.

Где-то зазвенели оловянные бубенцы — пришло время молитвы. В Храм надлежало входить с запада. Склонив голову, Синга ступил в длинный коридор, чьи темные стены, как мхом, поросли тайнами и секретами. Мальчик почувствовал холодное дуновение и поежился. Здесь легко можно было заблудиться, стоило не там свернуть. В закоулках и тупиках обитали призраки. Один из них тут же явился Синге — из-за поворота на него надвинулась серая тень. Бледный отблеск осветил рыхлое старушечье лицо Главного евнуха, и Синга почтительно поклонился. Евнух никак не ответил на этот поклон — он просто повернулся и неспешно, раскачиваясь, как бурдюк с вином, двинулся вперед по узкой галерее. Синге пришлось семенить за ним следом — он не мог подстроиться под его шаг, но и не смел обогнать эту огромную тушу, облаченную в широкие одежды. Галерея все тянулась и тянулась вперед, казалось, ей не было конца. Синга всегда поражался размерам храма — снаружи он не казался таким уж большим, должно быть, здесь было замешано тайное искусство, которым владели древние зодчие. Высокие своды терялись в темноте, — где-то там, наверху, гнездились черные стрижи. Иногда справа или слева разверзались глубокие колодцы, уходящие в недра храмовой горы. Заглянув в один из них, Синга почувствовал легкую дрожь в коленях. Главный евнух остановился. Не оборачиваясь, он произнес, словно в пустоту:

— Скажи, мальчик...

— Да, господин... — покорно ответил Синга.

— Что за работа у печника?

— Очень дурная, господин, — Синга быстро проговаривал накрепко заученные слова. — Ему приходится хуже, чем женщине. Он кормится хлебом от рук своих, в беспорядке его одежда, биты его дети. Целый день он возле печи — обжигает известь.

— А есть ли другая судьба? — просипел евнух.

— Есть, господин. Писцы не знают начальников — они сами руководят собой, хозяин не бьет их и не лишает пищи за дурно сделанную работу.

Не сказав больше ни слова, евнух продолжил свой путь. Он не ждал услышать ничего другого, кроме этих слов, — им Сингу научили в его первые дни пребывания в школе писарей. Они были вырезаны на первых табличках, которые доверили читать и переписывать Синге. В них превозносились Ум и Мудрость, а невежество и черный труд предавались всяческой хуле.

Вот наконец и внутренний двор. С трех сторон его обрамляют портики с зубчатыми фризами, посреди двора расположен круглый бассейн, похожий на дорогое зеркало, его окружают акации с густыми и тенистыми кронами, изнутри бассейн вымощен разноцветными плитами. В воде отражаются темные столпы Адидона. В Святая Святых всегда царит запах ладана, день и ночь горят светильники с чистым огнем. Перед алтарем стоят серые плиты, высеченные из известняка и установленные здесь во времена Ночи. Когда-то их украшали священные росписи, но теперь все они стерлись и поросли красным лишаем. Только на одной из плит еще можно разглядеть странный рисунок — горный ключ, извиваясь подобно змее, истекает изо рта благородного оленя и падает вниз, превращаясь в растительные побеги.

Стараясь не глядеть по сторонам, Синга подходит к своему привычному месту — в тени акации, такой же древней, как и камни святилища. Его взгляд, по обыкновению, упирается в широкую серую спину Тиглата, — он всегда стоит прямо перед Сингой.

Один за другим к Адидону подходят учителя. В руках у каждого — лучина с чистым огнем. «Что противостоит чистому огню? — сквозит невольно в голове Синги, и тут же следует заученный ответ: — Красный лед и хлад Ночи». Только здесь, в Святая Святых, в зареве сотни светильников, полагалось почитать Отца Вечности. В домах простых людей, возле жертвенников, стояли изваяния богов-архонтов с глазуревой кожей и мертвыми самоцветными глазами. Синга помнил дом в Эшзи и кумирню богини Ат-тари. Раз в десять дней богине приносили бескровные жертвы и дважды в год — жертвы кровавые. В Храме Светильников все было по-другому. Здесь не почитались низшие духи, а все взоры и молитвы были обращены к одному только Отцу — Непознанному и Немыслимому. Поэтому здесь и не было никаких изображений. Посреди святилища стоял скромный алтарь из цельного куска песчаника и маленькая медная курильница. Отец Вечности не принимал кровавые требы, ему позволялось воздавать только тихие и скромные молитвы. На алтаре помещались три Скрижали Почтения — Благая Мысль, Смирение и Благое Слово. Читать вслух письмена с этих Скрижалей разрешалось только старшим жрецам.

В Адидоне наступает тишина. Медленно и величаво к алтарю выходит Великий Наставник, одетый в расшитую золотом трабею. Никто не издает ни звука, все смотрят прямо перед собой, не смея возвести глаза на Бессмертного. На груди Наставника пылает золотом пектораль — знак наивысшей власти. Синга вместе с другими учениками преклоняют колено, старшие жрецы лишь склоняют головы. Лицо Наставника скрывает маска из белого гипса, он снимает ее, лишь когда поворачивается к алтарю. Склонившись над скрижалью, он начинает читать, учителя повторяют за ним, а следом — ученики. В устах Великого молитва звучит четко и ясно, но в устах учеников она превращается в бессвязное бормотание, странный, никем не управляемый гул. Мало-помалу мысли оставляют Сингу. Он шевелит губами, уставившись на свою левую ступню. Ноготь большого пальца треснул, ремешок сандалии растрепался...

Парень справа, глупый и тучный Гуул, украдкой чешет нос, он даже не притворяется, что читает молитву. За такое он может получить розги от евнухов, но ему, кажется, все равно. Слева доносится тихая бранная песенка — ее напевает себе под нос Волит, парень из далеких земель, что на берегу Серого моря. Это высокий и тощий парень с гладко бритой головой, похожей на яйцо. Песенка звучит почти как молитва, но в самых важных местах проскальзывают такие гнусности, что у Синги от смущения покалывает щеки.

По окончании молитвы евнухи разделили учеников по возрасту и каждому назначили посильную работу: тем, что помладше, наказали пасти овец, тех, кто постарше, послали на рынок — продавать молоко и пряжу. Синга должен был собирать глину для табличек, однако Главный евнух окликнул его, отвел в сторонку, положил руку на плечо и произнес:

— Я видел, как ты молился сегодня. И... я не ждал от тебя такого усердия, мальчик. Скажу тебе правду — никто из нас не думал, что из тебя выйдет прок. Но, кажется, и самые мудрые из людей иногда ошибаются. С этого дня я отдаю тебя под начало Тиглата.

Рядом тут же возник Тиглат. Он холодно посмотрел на Сингу и щелкнул языком — так северянин выражал недовольство. Синга с ненавистью уставился на его бледное лицо и произнес про себя скверное проклятье. Должно быть, проклятье вырвалось с дыханием, потому что Тиглат скорчил совсем уже недовольную мину и хлопнул его по плечу:

— Пойдем, юный господин, я все объясню тебе на месте.

От злости Синга заскрежетал зубами, но Тиглат, кажется, не обратил на то никакого внимания. Он махнул рукой и направился к западной двери. Синге

ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Тиглат называл Сингу «юный господин», только чтобы позлить. Так он словно бы говорил: «Я дурной человек от дурного семени, но я превосхожу тебя во всем, мальчик из Эшзи. Будь ты хоть джинном или драконом, я все равно буду смотреть на тебя свысока». Вслух, разумеется, он ничего такого не говорил. Он был молчалив и скрытен, этот Тиглат. Никто точно не знал, откуда он родом и как зовется его племя. У него был едва заметный выговор, он слегка растягивал слова, словно пробуя языком звуки на вкус. С первого дня своего обучения этот северянин удивлял наставников своей рассудительностью и глубокими познаниями, он был лучшим игроком в скарну, и никто из учителей не мог обыграть его. На пятый год обучения Тиглат познал Скрытого Бога, спрятанного в словах, и овладел чудом чтения вслух. Великие Слова в его устах превращались в оружие огромной силы. Сказав одно лишь из этих Слов, Тиглат мог обрушить горы и высушить реки, призвать себе на службу духов, злых и добрых, а камни превратить в хлебы. Так говорили наставники, и речи их вызывали трепет у младших воспитанников. Синга, однако, понимал в них ложь. Пару раз тайком от всех он, стиснув кулаки и зажмурившись, шепотом произносил запретные Слова, как помнил на слух, и долго потом не открывал глаз, боясь увидеть какие-то страшные последствия своего святотатства. Но ничего не происходило, и скоро Синга перестал верить наставникам. Быть может, когда-то в Словах действительно была великая сила, но люди так часто произносили их вслух, что Великая Сила эта постепенно выветрилась, а сами Слова истоптались и огрубели, как старые сандалии. Поэтому теперь в школах писцов учили другим, очень нужным вещам: как правильно составлять приказы и торговые соглашения. По завершении последних испытаний юный писарь получал из рук учителей три предмета: медный стилус, палетку и печать — знаки высокого титула. С этих пор писарь мог наняться на службу к какому-нибудь влиятельному человеку или отправиться в храм, чтобы усердным трудом заслужить себе власть и почет. Печати изготавливались из разного материала: обсидиановые и малахитовые принадлежали простым писцам, ониксовые и яшмовые — жрецам и придворным, агатовые — правителям городов и военачальникам. Синга пока только мечтал о печати из обсидиана, она казалась ему волшебным сокровищем — далеким и недоступным, как луна и звезды. Тиглат, который был очень хорош в своем ремесле, имел печать из малахита, но никто не сомневался, что со временем он получит ониксовую или даже яшмовую. Уже теперь он мог наняться на службу к какому-нибудь вельможе. Но Тиглат не спешил покидать Храм: продолжая обучение, он сделался служителем, чтобы честным трудом отплатить за науку.

Тиглат, казалось, отлично видел в темноте, — он шагал широко и уверенно, так что Синга с трудом поспевал за ним. Тиглат шел наверняка, так, словно держал в голове все устройство Храма. Вдруг он остановился перед темной стеной, сделал какой-то жест и пропал. Синга потянул руку, ожидая встретить холодную стену. Но пальцы ушли в пустоту. Он кожей чувствовал острую, жгучую пыль и исходивший от стен холод, но глаза не видели ничего. Он трепетал от одной только мысли, что можно свернуть в один из боковых проходов. Ему было известно, что Храм Светильников куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Иногда ученики подолгу блуждали среди тайных проходов и тесных коридоров. Даже старые евнухи не знали всех закоулков и комнат. И вот теперь, вглядываясь в темноту, Синга оцепенел. Он так и стоял с протянутой рукой, пока не услышал оклика Тиглата:

— Ну, что ты встал?

Еще три или четыре раза коридор сворачивал, и Тиглат пропадал из виду. Синга, чертыхаясь, хватался за стены. Пальцами он чувствовал клинопись, которой были покрыты кирпичи, но не мог разобрать, о чем говорится в этих письменах. Проходило время, Тиглат возвращался, и глаза его блестели в темноте, как у злого духа. Пытаясь побороть страх, Синга хватался за край

его гиматия, но он всякий раз с раздражением вырывал его. Сингу всегда поражало то, как Тиглат держался на людях, — в нем была какая-то величавая, почти воинская стать. Он держал свою спину прямо и глядел Учителю в глаза так, будто он, негодный сын от негодного семени, был равен своим наставникам.

Наконец они пришли в большую залу — нет, в гулкую пещеру, освещенную единственным треножником. Масло в чаше совсем выгорело, воздух был густой и тягучий от благовоний. Тиглат отступил в сторону и словно бы растворился в горячем сумраке. Синга сделал шаг вперед и замер, не веря своим глазам. Перед ним из мрака возникли две огромные плиты, два цельных куска песчаника, смазанных маслом и олифой.

— Это Скрижали Рассвета, — произнес Тиглат на языке Уттару. — Здесь обе Скрижали и пояснения к ним. То, что читают там, наверху, — лишь дневные гимны, малая часть... истиного Слова.

— Значит, мы сейчас в...

— Да, мы в настоящем Адидоне, — хоть Тиглат и говорил на священном языке, его голос звучал так, будто он рассказывал о скисшем молоке или вчерашнем сне. — В этой темной и смердящей норе начался Рассвет. Правда, удивительно? — Последние слова Тиглат произнес уже без всякого выражения.

— Я думал, он больше, — Синга давно так не волновался. Ему обычны были камни алтаря и древние столпы, и уже давно без трепета смотрел он на фигуру Великого наставника. Но теперь, увидев огромные Скрижали, он встревожился и смутился.

— Хватит источать сопли, — скривился Тиглат. — Смотреть гадко. Успокойся, говорю тебе. Наглядишься еще.

Только теперь Синга заметил в углу пещеры грубый стол и кедровую колоду. На столе лежало несколько деревянных рамок для табличек, кусок кожи, весь в цветных разводах, и грязная палетка. Тут же стоял сосуд с пресной водой и тарелка с присохшими по краям комками чечевичной каши. Под столом валялся мятый соломенный тюфяк.

— Ты... здесь спишь? — глаза Синги расширились от удивления

— Я здесь живу, — вздохнул Тиглат. — Вот, посмотри...

Он взял со стола выточенный из кости стилус. Синга с удивлением уставился на роговую накладку у основания стержня.

— Ты можешь снять ее, — криво ухмыльнулся Тиглат. — Она для того, чтобы я... не касался кости. Предание гласит, что сам Великий Наставник изготовил его из собственного ребра. Но тебе, наверное, можно к нему притронуться.

С великой осторожностью Синга взял в руки стилус. На вид он ничем не отличался от других письменных приборов. Стилусы из кости были не очень хороши и годились лишь для того, чтобы писать короткие послания.

— Скрижали две, — объяснял Тиглат. — Одна лежит по правую руку от тебя, это скрижаль для живых, другая — по левую, она предназначается мертвым. Из левой скрижали вслух не читай. Из правой читай по узелкам. — С этими словами он протянул Синге шерстяную веревку, сложенную в несколько раз. На веревке были завязаны узелки с крупным черным бисером — такими пользовались учителя. Синга смешался: видел бы его теперь отец!

— Стало быть, мне уже не нужно переписывать сказание об Ашваттдэве? — произнес он, не скрывая волнения. — Теперь я буду заниматься только скрижалями?

— Даже не мечтай об этом, ленивая ящерица! — Губы Тиглата снова тронула усмешка. — Никто не освобождал тебя от твоего урока. Днем ты будешь заниматься Скрижалями Рассвета, а вечером выполнять свое задание.

— О-о-о, Боги, простите меня! — Синга притворно захныкал. — Я один, совсем один под злым Солнцем! Работе моей нет конца! Она длинна, как Ночь...

Пощечина была такой сильной, что Синга с трудом устоял на ногах. Только теперь он осознал, насколько Тиглат больше и сильнее его, — этот дурной человек от дурного семени надвинулся на него как тень. Он был похож на великана в эту минуту, глаза его пылали гневом:

— Не смей впредь скулить при мне и не думай сквернословить в этом месте. Иначе я сниму с тебя кожу и повешу ее на дереве!

«Я упомянул Ночь, стоя перед Скрижалями, — с ужасом понял Синга. — Что теперь будет?!» Он вспомнил псалом Ночи, который запрещено было читать вслух и следовало произносить только про себя:

О, что за горе пришло к нам?
Откуда явилось разорение?
Вот несчастье — Ночь без конца и начала.
Горе-погибель нашему краю...

Между тем Тиглат, похоже, взял себя в руки. Плечи его опали, а во взгляде воцарилась привычная скука. Синга сел за стол, пододвинув к себе свежую дощечку. Тиглат едва коснулся его плеча кончиками пальцев. Этим жестом учителя обозначали для учеников начало урока. Синга вздрогнул и принялся за дело. Пощечина все еще жгла его правую щеку, бессильная злоба кипела и плескалась в груди. Беззвучно шевеля губами, он выводил стилусом священные письмена. Иногда он закрывал глаза и прекращал дышать, чтобы ощутить весь вес своего труда. «Ну же, ну же, — говорил он себе. — Это только глина и письмена». Слова из скрижалей пылали на тыльной стороне его век: « Я — пламень бездымный, неугасающий! Я — Лев и Змея! Я — свет, не дающий тени! Я — погибель мира! Я породил сам себя и сам в себе пребываю! Совершенномудрый, Я отделил землю от огня, ветер от дыма, тонкое отделил от грубого, силу высшую от силы низшей...» Левой рукой Синга перебирал узелки на веревке из цветной шерсти — так писарь чувствовал ритм и длину распевов. Многое он не мог прочесть вслух, потому как не познал еще вполне Скрытого Бога, и тогда на помощь приходил Тиглат, который точно знал, когда знак должен звучать «одним духом», а где требуется помощь губ и языка. В его устах древний, угасший в годах язык звучал легко, нараспев, так, будто он все время говорил на нем.

Наконец Синга переписал несколько табличек и, когда глина подсохла, радостный, показал их Тиглату. Тот остался недоволен работой и велел уничтожить первые три таблички.

— Главное, запомни: твоя работа — это великая тайна. Все, что здесь произойдет, ты должен скрыть от всех, даже от учителей. Не вздумай говорить о ней со своими... хм, с другими учениками, — сказав так, Тиглат встал и кивком велел следовать за ним. Обратный путь показался Синге очень коротким. По дороге им встретился только один служитель — хромой старый евнух, который в страхе отступил перед рослым чужеземцем. Оказавшись на поверхности, Синга зажмурился от яркого, жгучего света, — так его глаза привыкли к сухой темноте подземелий. Горячие пылинки обжигали веки, на глазах наворачивались слезы. Его голова потяжелела, как после полуденного сна, он с трудом переставлял ноги и сам себе казался стариком. Тиглат вышел с ним из Внутреннего Храма во двор, где и оставил, не попрощавшись. Вернувшись в обитель, Синга увидел, что старый Наас по-прежнему стоит и смотрит в окно. Из кельи было видно одну из улиц Нижнего города, где царило небывалое оживление. Дорога пестрела от повозок, люди высовывались из окон, выходили на крыши, размахивали белыми тряпицами и пучками сухих веток.

— Что ты видишь, старик? — спросил Синга.

— Ничего, — ответил Наас, не оборачиваясь.

— Ты опять врешь. Хочешь, чтобы я побил тебя палкой?

— Нет, прошу, господин, не надо! — бесцветным голосом отозвался Наас. Угроза мальчика его ничуть не испугала.

— Тогда скажи мне, что ты видишь, старик.

— Всадников на злых лошадях. Их много.

— Много?

— Туча, господин. Это тхары.

2

В обеднюю все ученики говорили о небывалом событии: тхары вошли в Бэл-Ахар. Эту новость передавали из уст в уста, шепотом, втайне от учителей. Синга, впрочем, не участвовал в обсуждении — его внимание было приковано к дальнему углу, где сидели Тиглат и Главный евнух. «Они похожи на заговорщиков, — думал Синга. — Наверное, они и есть заговорщики». Тиглат не велел никому говорить о том, чем они будут заниматься в Адидоне. Даже учителям. Странное дело. Может быть, это как-то связано с тем, что тхары вошли в священный город?

Тхары! Синге казалось, что в самом этом слове, в том, как оно звучит, слышны удары бубна и рев боевого рожка. В прежние времена их не пропустили бы к городским стенам, но теперь они, запыленные, просаленные дикари, спокойно расхаживали по Нижнему городу, свысока поглядывая на жителей Бэл-Ахара. Тхары были данниками Аттара, они жили далеко на севере и в прежние времена редко наведывались в эти земли. Но вот Руса, правитель Аттара, развязал войну, жестокую и долгую, как Ночь. Он принес клятву здесь, в Храме Светильников. Перед лицом Великого Наставника он поклялся, что повергнет город Увегу и предаст огню Камиш и Хатор. Синга сам не присутствовал при клятве, лишь из окна своей обители он увидел, как к вратам Храма поднесли пестрый паланкин в окружении множества воинов с треугольными щитами. Говорили, что, сотворив клятву, Руса отрезал одну из своих косиц и бросил ее в священный огонь, отчего случился очень густой и смрадный дым. Этот знак истолковали как дурной — войну с Увегу и Камишем следовало отложить. Было это три года назад, и с той поры люди все время говорили, что война случится все равно. Она назревала, как нарыв на теле больного, ее ждали и страшились, ее торопили и проклинали. Аттар собирал войска со всех пределов земли, так что теперь тхарские разъезды и прочий иноземный сброд можно было встретить повсюду.

Бэл-Ахар был неприступен. Со всех сторон город окружали высокие и прочные стены из камня и кедра. Царь Аттар Руса велел возвести еще одну стену — из глины и песчаника, чтобы защитить Нижний город. Казалось, что в Бэл-Ахар нет пути дурным людям, и вот наступил день, когда в Бэл-Ахар вошли степняки. Вошли, не пролив ни капли крови. Ворота, окованные медью, распахнулись перед ними как перед желанными гостями. Тхары... в детстве Синга слышал много историй об этом диком и бесприютном народе. У тхаров были рыжие волосы и голубые глаза. Они носили шаровары и рубашки из тонкой шерстяной ткани. Все они от рождения были всадниками и на своих двоих ходили вразвалку, неловко и непривычно переставляя кривые ноги. Правда и неправда сплетались в них, как хищные звери на степняцкой татуировке: наполовину люди, наполовину кони, дикие, как Северные ветер, бесприютные, как сор в пустыне. Их не рожают матери, они вырастают из своей негодной земли, словно терновник или ковыль. Про тхаров говорили, что они куют свои мечи из звезд, умеют предсказывать будущее по звериным следам и полету птиц. Все это, конечно, было искушением архонтов — ложным знанием, колдовством, ловким трюком. Никто из учеников никогда не встречался с тхарами и, конечно, не мог знать о них ничего определенного. И от этого тайны, окружавшие этот дикий народ, ста-

новились еще заманчивей, они занимали ум Синги, когда он бодрствовал, искушали его дух в сновидениях.

Чтобы незаметно улизнуть из храма, нужно было дождаться окончания вечерней службы, когда все ученики расходились по своим обителям. Синга знал жидкую, почти незаметную овечью тропу, которая вела по южному склону к самому Нижнему городу. Стоило только улучить момент, когда во дворе нет евнухов, чтобы пролезть в дыру, которую ветер прогрыз в стене…

Вот и они — узкие и тесные улочки Нижнего города. Синга пробирается вдоль живой изгороди. На дорожках лежат косые тени от фисташковых деревьев, из-под тростниковых крыш на мальчика глядят своими слепыми глазами терракотовые божки. Когда-то стены домов покрывала разноцветная глазурь, но от ветра и солнца она облупилась, только кое-где сохранились куски белого гипса. Вот в одном из дворов слепой старик натягивает на жерди вымоченные в уксусе бараньи кишки. Вход в его жилище прикрывает драная циновка, у порога курится каменный алтарик. В прошлом году старик изготовил для Синги арфу. Слепой мастер постарался на славу — струны пели слаще соловья даже в неумелых руках. С той поры юноша иногда захаживал к нему — помогал по хозяйству, смотрел на его работу. И теперь он замедляет шаг, чтобы посмотреть на его работу. Старик был настоящим чародеем — он превращал дерево, уксус и потроха в музыку, и для Синги это было самой удивительной вещью на свете.

Заслышав шаги юноши, слепой поворачивает голову в его сторону и кивает. На губах у него легкая улыбка, он узнал Сингу по его поступи.

— Ты видишь? — говорит он сипло. — В моем доме больше нет двери! Проклятый Куси выиграл ее в скарну...

— Ну, вот и случилось. — Синга вздохнул и покачал головой. — Я же просил тебя не играть! Ты так скоро и одежду проиграешь.

— Он обманщик, этот Куси. Я, может, и слеп, но я знаю, как должны стучать кости. Говорю тебе — у Куси кости с подвохом.

— Ну, тогда не играй с ним. Сам знаешь, что он негодяй.

— Не учи меня, мальчик! — голос мастера задрожал. — Мои родители не смогли меня образумить, а у тебя и подавно не выйдет… Я слаб и стар, я один под злым солнцем! Дрянной мальчишка учит меня. На что я куплю новую дверь? Я... — он вдруг осекся, лицо его гадливо исказилось, он повернул голову вправо и тихо выругался. Из-за поворота вышли трое воинов в медных колпаках. Это были копейщики, редумы Аттара. Царь Руса оставил их для защиты Бэл-Ахара, и с той поры они шатались по Нижнему городу без дела. Себя копьеносцы звали гордо: «Священный отряд Бэл-Ахара», и это вызывало насмешку у обитателей города. Мало-помалу редумы обленились, и уже несколько месяцев никто из них не надевал панциря. Чаще всего их можно было видеть в питейной или на рынке, где они дремали на пыльных скамейках или играли в скарну. Их лохаг, пытаясь утопить скуку в крепленом пиве и низких забавах, окончательно поселился во дворе старого Куси.

Но теперь что-то изменилось — редумы облачились в панцири из плотной ткани и покрасили лица охрой — знак того, что они готовы к бою. Синга даже присвистнул им вслед. Аттары не обратили на него никакого внимания — прошли под аркой из белого гипса и пропали из виду. Забыв про слепого мастера, Синга припустил следом. Ему было интересно, куда держат путь эти негодные люди. «Ну, вот это уж точно связано с тхарами, — думал он, — вот только что сделают эти холеные ослы с дикими степными псами?» Проулок завернул за угол, и Синга вышел на большую мощеную дорогу. Аттар он не увидел, зато увидел тхаров.

Поначалу его кольнуло разочарование. Тхары были во всем похожи на людей — у каждого по две ноги и по две руки. Они прекрасно держались на своих лошадях, но их тела не составляли с ними единого целого. Одеты они были чересчур пестро, не по-здешнему. Диковинную упряжь украшали войлочные

подвески, изображающие животных и чудовищ. Предводитель степняков был крупный мужчина с ярко-красным айдаром, в желтом бурнусе и полосатых штанах. Из-за жары он откинул башлык на самое темя, и страшный чуб свисал на лоб как сырое тряпье. Панцирь из кости и рога отливал дорогим лаком, золотая гривна ярко сверкала на солнце. Синга никогда прежде не видел такой варварской красоты.

— Я Духарья, великий вождь тхаров! — громко кричал предводитель на северном наречии. — Я перескочил через стены Урдука и убил князя, когда тот пировал! Я прошел через пыльное плоскогорье и подстрелил скального льва! Теперь я испорчу всех ваших дочерей и выпью все ваше пиво, все до донышка! — После каждой фразы он бил в большой бубен, висевший на его плече.

Дорога, по которой он ехал, вела от святилища Азулы, что находилось за городскими стенами, до самого Храма Светильников. Трижды в год в ознаменование нового урожая по нему проходили пышные процессии — жрецы несли на плечах изваяния богов и богинь, музыканты и певцы славили Великую Жизнь и Иное Счастье, простоволосые жрицы, впадая в экстаз, исполняли дикие языческие танцы. Но чем ближе к Храму, тем тише становилась процессия. Жрицы покрывали головы платками, изваяния богов-архонтов несли так, будто они склонили голову перед Храмовой горой. Кровавые дары, предназначенные богам, оставались на черной дороге, где их пожирали собаки. Когда шествие оказывалось у врат Храма, оно превращалось в похоронную процессию. Певцы становились плакальщиками, печальны были их гимны. Не слышно было веселых флейт, только мерный стук барабанов. Процессия кончалась молитвой искупления, которую творили учителя у лазурных врат, окропляя водой головы язычников. После процессия поворачивалась назад в город, где снова начинались разгул и веселье.

Теперь все было по-другому. Тхары не пели других гимнов, кроме гимна стреле и мечу. Они не посыпали свои головы пеплом, но мазали щеки яркой охрой. У них не было изваяний архонтов, своих богов, похожих на хищных зверей, они носили на поясах, одежде и упряжи. У этих богов были когти — ножи и кинжалы — и крылья из смертоносных стрел. Из их жил и костей сплетали луки. Их пасти и клювы становились топорами и чеканами.

Краем глаза Синга заметил двоих наставников, — они стояли в стороне от толпы под тенью оливкового дерева. На них были черные бурнусы с высокими колпаками, тень скрывала их лица, но Синга сразу узнал Уту и Кааса — учителей письма и святочтения. «Ага, — сказал себе Синга. — А вот это странно — видеть их вдвоем да еще за пределами Храма».

Уту и Каас были не похожи друг на друга, как Ночь и Заря. Черствый и желчный Уту, похожий на чесночный стебель, и Каас — меднокожий великан, с широкой грудью и необъятным пузом, тайный богохульник и любитель игры в кости. Синга никогда не видел, чтобы эти двое общались друг с другом или даже обменивались взглядами. Уту, по-видимому, презирал Кааса за весь тот телесный избыток, что был в этом человеке. Каас тихонько посмеивался над Уту и плевал на него, как на гадкое животное.

Но сейчас оба учителя стояли бок о бок и наблюдали за тхарами, и в их лицах, в их позах было нечто неуловимое, заговорщическое — что-то подобное Синга увидел на обедне, приглядевшись к Тиглату и Главному евнуху.

«Что они делают здесь, эти двое?» — подумал Синга с неудовольствием. На секунду ему показалось, что колючий взгляд учителя Уту царапнул по его лицу. «Если он узнает меня в толпе, мне не миновать розги», — Синга даже вздрогнул от этой мысли. Учитель Уту был истовым служителем Храма. Он не ел ничего, кроме жидкой чечевичной похлебки, и не пил ничего, кроме сырой воды. Все свое время он посвящал двум занятиям — молитвам и розгам. В розгах учитель Уту знал толк — для каждого проступка у него находились прутья определенной длины и хлесткости. В комнате письма в стену были

вбиты специальные перекладины, на которые облокачивался наказуемый. Синга часто гостил на этих перекладинах. Он лежал, вцепившись в запястье зубами, чтобы не крикнуть, боясь даже дышать. Хлесткие удары сочетались в его голове с нудным голосом учителя Уту, распевающего молитву Покаяния. Иногда голос Уту срывался, словно его душили слезы, и это особенно пугало Сингу. «Когда-нибудь он засечет меня до смерти», — думал он про себя.

Визг дудок и барабанный бой разливались по улицам. Воздух отяжелел от этого шума, в глазах рябило от пестрых одежд и разукрашенных конских грив. Мало-помалу к шествию степняков стали примыкать местные нищие. В основном это были молодые парни с голодными и злыми глазами, худые и черные от солнца. Они поднимались с земли и шли за всадниками, двигаясь в такт их варварской музыке, покачивая головами, извиваясь и хлопая ладонями. В них уже ничего не было от пахарей и пастухов, не было дурных и добрых людей. Голод превратил их в воров и богохульников. Они разбивали статуи богов и в голос проклинали земных царей. Тхары смеялись, щелкали плетьми, но оборванцев это не пугало — еще недавно они были пахарями на бесплодной земле и в муках добывали хлеб свой. Но теперь солнце убило посевы, истончило их тела и умы. По ночам они рыскали по городу в поисках поживы, а днем лежали как мертвые. Грубые напевы всадников вернули их к жизни, внушили какое-то недоброе, жалкое чувство, которое приходит на смену надежде.

Синга решил затеряться среди этих негодных людей. Он надвинул на глаза капюшон, вскинул руки и принялся извиваться, подражая нищим. У него получалось недурно — он без труда поймал грубый ритм их танца, размашистых шагов и покачиваний головой. Он ушел уже достаточно далеко от учителей и мог не бояться, что его обнаружат. Но вот они запели свою страшную песню, холодную и протяжную, как Ночной ветер:

В этот год схоронил сестру я,
В поле отнес немощного брата,
Отец смотрит голодным взглядом,
Мать не ждет моего возвращенья.
У дома моего, что ни день, рыщут собаки,
Всюду на земле царит разоренье…

Песня потонула в стонах и причитаниях. Люди били себя в грудь, рвали волосы на голове, раскачиваясь из стороны в сторону, как безумные. Синга вдруг почувствовал, что на него смотрят со всех сторон. По спине пробежал холодок. Он уже собрался скользнуть в узкий переулок, когда длинный жилистый парень, за которым он шел, вдруг развернулся и вперил в него свой мертвящий, холодный взгляд.

— Добрый господин, — протянул он. — Нет ли у тебя кусочка хлеба для меня? Господин… Какая у тебя красивая одежда, чистая кожа и волосы… У тебя есть хлеб? — последние слова он произнес с особенным напором.

Оглядевшись, Синга понял, что дело плохо. Нищий стоял между ним и шумной улицей, и весь его облик выражал угрозу. Вокруг громоздились бедняцкие хижины, слева зияла глубокая сухая канава. «Может быть, скачусь?» — подумал Синга. Не сводя взгляд с незнакомца, он стал боком обходить его, говоря так:

— У меня нет хлеба, извини, добрый человек.

— Нет хлеба? Тогда, может быть, у молодого господина есть баранья лопатка? Я брошу ее в корзину пекаря вместо меди, и он даст мне немного хлеба…

У Синги за поясом и вправду было несколько костяных плашек с особыми знаками — на них в землях Аттара можно было выменять еду. Но Синге казалось, что, если даже он отдаст их нищему, тот не отвяжется.

— У меня нет ни кости, ни меди для тебя, — соврал он. — Отец не дает мне никаких денег. Все покупки делает мой раб.

Синга уже приблизился к краю канавы, но пока еще не решался прыгнуть. Парень между тем начал терять терпение.

— А твоя одежда? Твоя туника под стать жрецу. Обменяв ее, я много дней буду сыт.

Тут Синга потерял терпение.

— Ну, ты, дрянное семя! — закричал он, забыв про бегство. — Полевая крыса и то умнее тебя. За такие слова тебе надо отрезать уши и нос!

— А ты попробуй отрежь, — ощерился парень. — За чем же дело стало?!

Синга медлил. Он уже понял, что встретил сильного и опытного противника. Тот все еще раскачивался, как если бы продолжал танцевать. Его движения говорили о силе и проворности. Нищий сделал выпад, чуть не задев его плечо. В руке у него блеснул кремневый нож. Синга отшатнулся и понял, что оба они стоят на самом краю канавы. Парень шагнул к нему, раскачиваясь на ходу, как гибкий стебель. Глаза его горели ненавистью. Синга почувствовал, как к горлу подступил колючий комок. «Ну вот и все, — подумал он, — сейчас этот оборванец выпотрошит меня, как овцу. Дом мой погибнет, мое имя развеет ветер». Что-то пронеслось над самым ухом Синги. Это был не порыв ветра, раздался сухой щелчок, голодный взвизгнул и отскочил в сторону. От неожиданности Синга чуть не свалился в канаву. Он услышал еще один щелчок, затем в глазах все помутилось. Он слышал, как плюется проклятьями оборванец. Он по-прежнему стоял на самом краю, но нож улетел в пыль. Синга увидел его лицо — казалось, он только что проснулся от тяжелого и долгого сна. Левая рука нищего окрасилась кровью — что-то рассекло ее от плеча до локтя. Он попятился назад и пробубнил проклятия, глядя куда-то за плечо Синги.

— Эй ты, черная голова, оглянись! — произнес кто-то на плохом аттару.

Синга обернулся. Перед ним стояли двое, один держал в поводьях рыжую лошадь, другой — верблюда черной масти. Первый юноша был не тхарской породы. Он имел медную кожу, красивое тонкое лицо и курчавые волосы, такие же, как у Синги. С его узких плеч свисала накидка из шкуры степного пса. При виде этой накидки Синга невольно поежился. В Бэл-Ахаре никто не носил таких шкур. Степные собаки были лютыми зверями, крупнее и опаснее волков. По силе они уступали горным львам, но сбивались обычно в большие стаи. Казалось странным, что такой тонкий и хрупкий юноша мог справиться с этим зверем. Второй же был бледен, как скисшее молоко, его волосы отливали огнем, а голубые глаза были похожи на два соленых озера. Синга видел эти озера в горах по дороге в Бэл-Ахар пять лет назад — тогда в темной теснине, распластавшись голым животом на горячем гипсе, он заглянул в глубокий колодец и увидел далеко внизу воду. Солнце застывало в ней золотом, его лучи медленно угасали в ледяной ряби. В ту минуту Синга в последний раз испытал настоящую радость. И теперь, глядя в глаза северного варвара, этого дикого степняка, он ощутил, как это забытое чувство вновь шевельнулось в его груди.

А потом он увидел в руке молодого степняка кнут и содрогнулся. Плеть была изготовлена из серой и черной кожи, она была похожа на большую песчаную гадюку. Тхар улыбался, слегка покачивая рукой, и плеть извивалась в пыли, как живая. Первой мыслью Синги было: «Беги! Беги, не останавливайся, не оглядывайся назад! Это смерть твоя стоит перед тобой, улыбается, играет кнутом». Но холодные глаза пригвоздили его к месту.

— Ты чего, черная голова? Испугался? — губы тхара сложились в насмешливую улыбку. — Ты нас не бойся. Ты того шакала бойся, а нас — нет.

— Спасибо тебе, добрый господин! — произнес наконец Синга.

Рыжий только усмехнулся.

— Никакой я тебе не господин, — сказал он. — Я рысь в собачьей своре.

— Будь по-твоему… но, пожалуйста, скажи мне свое имя, и я помолюсь за тебя Отцу.

— Как меня зовут? — мальчик прикусил губу, изображая раздумье. — Нэмай зовут, вот как! А скажи, разве твой отец — бог? Ему молятся?

Черноволосый мальчишка фыркнул и громко цокнул языком. Уши Синги запылали.

— Я говорю об Отце Вечности, — сказал он быстро. — Я буду молиться за Нэмая...

Рыжий ощерился, а черноволосый засмеялся. Его смех был высоким и резким, в нем слышалось что-то знакомое. Синга вдруг почувствовал обиду, словно мальчишка, которого сверстники подняли на смех. В конце концов, эти люди были от дурного семени, он не должен был терпеть их дикарские выходки.

— Ну, чего смеетесь? Разве я пошутил?

— Конечно сказал! — черноволосый раскраснелся, он был весь во власти своего злого веселья. — Нэмай — это никакое не имя. Нэмай — значит «никто».

— Это ничего. — Синга собрал всю свою смелость и шагнул к степнякам. — Я все равно буду называть тебя Нэмай, ты ведь сам так назвался.

Рыжий радостно кивнул. Его, похоже, очень забавлял разговор. Сингу охватило радостное волнение. Он вот так запросто разговаривает с тхарами, с этими необыкновенными людьми из дальних земель.

— Ты пришел с тхарами? — спросил Синга. Нэмай хмыкнул.

— А где твои отец и мать? — так следовало начать разговор, подумал Синга.

К его удивлению, Нэмай вместо ответа свистнул и сотворил какой-то неопределенный жест.

— Могу я чем-то вам помочь, добрые путники? — Синга совсем растерялся. Черноволосый, по-видимому, с трудом сдерживал смех, а на физиономии Нэмая проявилась скука.

— Где можно напоить моего зверя? — произнес он как можно более праздно. — Да и самому выпить чего-нибудь?

— Есть прихожий дом, — воскликнул Синга радостно. — Хозяина зовут старик Куси. Он пускает к себе путников и наемных рабочих.

— Ладно. Значит, и воинов пускает тоже.

— Вы воины? — от удивления Синга открыл рот. — Но у вас нет ни копий, ни щитов. Вы не похожи на редумов.

— А зачем мне копья? — насупился Нэмай. — Я сражаюсь верхом, мое оружие — лук и чекан. Мне столько же лет, сколько и тебе, но мои лоб и щеки уже перемазаны кровью, — добавил он свирепо.

— У тебя на щеках не кровь... это, кажется, охра, — поправил его Синга.

— Много ты понимаешь!

— Извини, добрый путник. Так вы бирумы?

— Мы всадники, — подал голос черноволосый. — Мы налетаем словно ветер и берем свое.

Синга смолчал, но сердце его забилось часто, как будто это его обожгли плетью.

— Ну, что же… — заключил Нэмай важно. — Пойду наведаюсь к твоему Куси.

Сказав так, он кивнул черноволосому, и оба они, не сказав больше ни слова, двинулись прочь, ведя в поводу своих скакунов — черного верблюда и огненно-рыжего коня. Синга остался один — изумленный, растрепанный, радостный. Звуки музыки и пение голодных стихли вдали, люди проходили мимо, погруженные в свои заботы. Синга все стоял и смотрел туда, где исчезли удивительные чужеземцы. Про себя он твердо решил во что бы то ни стало снова увидеть этих двоих…

Появление тхаров, их шествие по главной дороге города ненадолго взбудоражили жителей. Все беспокойство, связанное с ними, смыло в ту же ночь долгожданным и благословенным дождем. На другой день вади уже гремели от мутных холодных потоков, вода хлынула в каналы, оросив наконец поля. Темные тучи закрыли горизонт, и прохладный северный ветер остудил раскаленный город. Вода бежала по канавам, стояла на крышах там, где еще вчера женщины жарили чечевицу и полоски мяса. Тень дождя изгнала Злое Солнце с неба и вымыла дурные помыслы из человеческих душ. Самые набожные связывали приход дождя с благословением богов, другие говорили о том, что дождь принесли тхары, третьи не видели в этом ни промысла, ни знамения, они были рады тому, что можно вернуться на поля и снова жить прежней жизнью.

3

Прошло несколько дней, и Синга снова ускользнул в Нижний город. Он не был честен с собой, в уме он повторял, что просто хочет прогуляться и выпить холодного пива, но все же ноги сами принесли его на двор старого Куси.

Возле «захожего» дома висел странный фонарь — Куси запускал светлячков в надутый бычий пузырь. Светлячки обычно умирали к утру, и фонарь приходилось менять, но каждую ночь чародейский свет завлекал в дом новых посетителей. У входа стояли две кибитки — за оградой и в пристройке курились паром рослые лошадиные фигуры. Над ними сонной громадой возвышался черный верблюд. Синга ощутил на себе печальный взгляд из-под колючих бровей. Верблюд наклонился к мальчику, и тот почувствовал его горячее дыхание. У Синги за пазухой было припасено лакомство — травяная жвачка. Он положил ее на ладонь, и верблюд тут же смахнул угощение своей широкой губой.

В дому было людно — к Куси зачастили тхары. Каждый день здесь был большой пир. По обычаю своего племени, степняки пили крепленое пиво и неразбавленное вино. От них всегда было много шума и сора, старый Куси раз за разом выкатывал из подпола громадные сырные головы, на дворе что ни день резали овец и забивали птицу. Над каждым очагом стояла курильница с желтым дурманом, воздух был такой густой, что голова шла кругом. От тхарских одежд пахло песком и пылью, этот запах примешивался к густому духу. На стол подавали мальчишки-рабы с разукрашенными лицами — щеки побелены известью, лоб покрашен охрой, на губах желтые и красные пятна. Рабы улыбались, показывая зубы, покрытые голубой глазурью, игриво подмигивали посетителям и иногда устраивали между собой непристойные проказы. Синга всегда отворачивался от этих игрищ, но обычные посетители — инородцы и вольноотпущенники — радовались этим низким забавам, смеялись, хлопали себя по щекам, бросали на пол медь. В парах желтого дурмана размалеванные мальчишки превращались в злых духов — оборотней. Посетители звали их «светлячками», но Синга знал много других названий для их ремесла. Тхаров, впрочем, мальчишки не интересовали, свистом и щелчками они прогоняли от себя юных развратников. У стены в клубах желтого дыма виднелись недвижимые тени — это сидели за большим столом игроки в скарну. По очереди они бросали четырехгранные кости и двигали глиняные фишки по круглой дощечке. Над их столом висел особый знак — овечья лытка на красном шерстяном шнуре, в скарну разрешалось играть только в местах, отмеченных этим знаком.

— Эй, черная голова! — услышал Синга знакомый голос.

Нэмай и черноволосый мальчишка сидели в дальнем углу. Рядом с ними была свободная скамья, и Синга, недолго думая, сел на нее.

— Я не знал, что встречу вас снова, — соврал он.

— Да чего там… Я бы тебя и в степи не потерял, а город — это ведь не степь. Вот, выпей это, — сказав так, тхар протянул Синге плошку. В ней крепкий напиток из кислого молока. В Аттаре оно было известно как сикера.

— Спасибо, я не... — замялся Синга, но тхар посмотрел на него так пристально, что рука сама поднесла ко рту плошку, и дурное обожгло его горло.

— Кха-кха...

— Ничего, — усмехнулся Нэмай. — Привыкнешь!

— А тебя как зовут? — спросил осмелевший Синга черноволосого степняка.

— Ты зови меня Спако, — просто отозвался тот. Синга взглянул на него и вздрогнул... У молодого степняка было лицо Сато. В груди растеклось странное чувство, давнее, но знакомое и теплое. Вспомнился дом в Эшзи, глинобитная ограда, садик, рябая тень от тамарисков, чернявая девочка, тонкая, как лучина… Нет, быть такого не может!

— Спако, — Синга наморщил лоб. — Я немного знаю тхари. Это значит, это значит...

— Это значит «сука», — произнес черноволосый на хорошем аттари.

— Странное имя!

— Так уж вышло, — вздохнул черноволосый. — Мне его дали боги, и тут уж ничего не поделаешь. Вот как дело было: я от своего хозяина сбежала, ушла в горы. На мой след напали серые собаки, два дня шли за мной. На третий день матерая сука осмелела и набросилась на меня. У меня не было никакого оружия, я даже не успела поднять с земли камень, а сука уже вцепилась… — Черноволосый поднял левую руку. На ней не хватало мизинца, с обеих сторон ладонь покрывали бледные росчерки шрамов.

— Я не растерялась, — продолжал черноволосый. — Стала засовывать руку все глубже в пасть собаке, навалилась боком ей на грудь. Она испугалась, стала задыхаться, но я продолжала запихивать руку ей в глотку, пока она не сдохла. Остальные псы испугались и разбежались кто куда. Мясо той матерой суки спасло мне жизнь.

— Это удивительная история! — пробормотал Синга. — Ты просто как Ашваттдэва!

— Кто? — черноволосый подозрительно прищурился. — Это кто еще такой?

— Да неважно. Ты... ты хорошо говоришь на аттари, вот только... — Синга растерянно улыбнулся. — Ты называешь себя женщиной.

— Так ведь я — девушка! — прыснул темноволосый.

От выпитой машуллы в животе у Синги потеплело, а в голове поселилась веселая легкость. Сразу захотелось говорить о вещах значительных и важных. Ему захотелось впечатлить Спако и Нэмая.

— Я знаю Тайного Бога, скрытого в словах, — произнес он громким шепотом и почувствовал, как от этой сладкой лжи по спине пробежал липкий холодок.

— Так ты колдун? — в глазах Нэмая загорелись веселые искорки.

— Да! — похвастался Синга. — В ваших диких краях я звался бы колдуном.

— А что ты можешь?

— Все! Я могу приказать Солнцу взойти на Западе! По одному только моему слову все звезды посыплются с небосклона и море смешается с сушей!

Он говорил эти глупые слова против воли, он уже не мог остановиться и ждал, что его поднимут на смех, но Нэмай слушал с интересом, чуть прикрыв глаза. Это придавало Синге смелости, и ему казалось, что он и вправду способен на все эти удивительные и дерзкие вещи.

— Я умею ходить по облакам, как по земле, я знаю язык, на котором говорит ветер, мне ведомы тайны птиц и убежища рыб, я… — тут Синга осекся. — Только… не заставляй меня показывать тебе мою власть. Великие

слова могут разрушить наш мир в мгновение ока. Произносить их нам запрещено.

Нэмай был разочарован.

— Какой же в них толк, — протянул он, — если их нельзя произносить?

— Я... — Синга замялся. Ему вдруг стало очень стыдно за то, что он хвастался тайным знанием, и в то же время досадно, что Нэмай все же раскусил его.

— Тхарам не понять, — произнес он, стараясь придать своему голосу больше уверенности.

— Слушай... — шепотом произнесла Спако. — А это правда... Ну, что вы… ТАМ себе все отрезаете?

Услышав это, Нэмай скривился и начал вращать глазами так, что Синга не выдержал и захохотал.

— Нет! Глупости! То есть... Я хотел сказать... — он попытался придать себе серьезный вид, но заметил, что Спако покраснела, и снова засмеялся.

— Нет, — сказал он, наконец совладав с собой. — Это особое служение. Некоторые считают, что жить в нашем мире — это большое несчастье, а умножение людей ведет к умножению горя. Поэтому они отказываются от своего... детородного естества и всю жизнь посвящают себя служению.

— Ты тоже так считаешь? — громким шепотом спросила Спако. — Тоже думаешь, что эта жизнь — несчастье?

— Я не знаю, — признался Синга.

К столу, где они сидели, подошел мальчишка-раб. Отчего-то он пристал к Нэмаю. В носу у раба было большое медное кольцо, и он, хитро щурясь, теребил его и улыбался. Нэмай протянул к нему руку, раб замурлыкал и подался навстречу. Нэмай засунул палец в медное кольцо и с силой дернул его. Из носа хлынула кровь, раб завизжал и попытался упасть на колени, — у него не получилось, Нэмай все еще держал кольцо, и колени несчастного зависли над полом и мелко задрожали. Из своей комнаты выглянул Куси. Увидев, что случилось, он побледнел и начал осыпать Нэмая проклятьями на разных языках. Спако коснулась кончиками пальцев рукоятки чекана, и все тхары разом замолчали. Куси еще больше испугался. Он сделал унизительный жест — вытянул вперед обе руки ладонями вверх. Он не был смельчаком, этот Куси, как не был и большим силачом. Про него говорили, что в юности он и сам красил зубы голубым цветом и приставал к посетителям. Теперь же это был насмерть перепуганный старик с жидкой бородой и дряблыми щеками. Он дрожал, он боялся пошевелиться и смотрел на молодого тхара с ненавистью. Вдруг за спиной его возникла фигура лохага. Даже будучи пьян, он держался как настоящий копейщик — спина прямая, как просмоленное древко, руки расставлены так, будто он сейчас бросится в бой. В правой руке — дубинка с кремниевым бойком, на левую намотан кусок дубленой кожи. Лохаг сделал несколько шагов вперед, окинув собравшихся свирепым взглядом. Лицо его сделалось темно-красным.

Нэмай не сказал ни слова. Он отпустил «светлячка» и молча встал. Вслед за ним поднялись остальные тхары, а с ними и Спако. Не говоря ни слова, они все направились к выходу, и каждый из них плюнул на порог, прежде чем переступить его. На столах остались недопитые кубки и объедки. Когда последний из тхаров плюнул на порог, Синга встал тоже. Словно во сне, он двинулся к выходу и, прежде чем шагнуть в сизую тьму, наклонился и плюнул себе под ноги.

Холодный свежий воздух наполнил его грудь и прояснил голову. Возле кибитки в луже жидкого света дремал огромный пес с густой рыжей шерстью. На загривке и морде шерсть была красной, словно кровь. Никогда прежде Синга не видел таких собак. Облик этого степного зверя вселил в него страх. Тхары исчезли, лошадей на дворе не было. На земле остались следы от копыт, но и они, кажется, уже остыли в этих горклых сумерках. Синге стало страшно.



— Нэмай! — позвал он. — Ты где, Нэмай? Спако!

Ответа не было, зато из темноты навстречу Синге двинулась долговязая тень. Она шла, слегка сутулясь, оглядываясь по сторонам. Башлык прикрывал глаза, но Синга увидел знакомое лицо: презрительный взгляд, опущенные уголки рта, крючковатый нос. Укрепив себя, стараясь ровно стоять на ногах, он вытянул шею и пискнул:

— Тиглат! Брат!

— Иди за мной, только молчи, — отозвался Тиглат бесцветным голосом. — Ты уже порядком натворил бед.

— Я... — тут у Синги совсем пропал голос.

— Пил с чужаками? Ну-ну... — Тиглат усмехнулся. — Ладно, я проведу тебя в Храм, пока тебя еще не хватились...

Впервые Синга посмотрел на него с трепетом. Тиглат никогда не пил пива и никогда не пробовал сладостей — он ел только мясо и хлеб, которые запивал сырой водой. «Я бедняк, — говорил он, — И мне нужна грубая и сытная пища».

Это его поведение не нравилось другим ученикам. За глаза его называли гордецом, рабским отродьем, живым наказанием. В глаза никто не смел сказать ему дурного слова, — встретив его холодный взгляд, старшие ученики отворачивались, а младшие трусливо втягивали головы.

И теперь его фигура казалась Синге очень значительной, облеченной какой-то страшной властью.

— Пойдем, — повторил Тиглат.

И они двинулись по ночной улице как две невесомые тени. Дома смотрели на них пустыми глазницами, из их раззявленных дверей выглядывали привидения. В некоторых горели очаги, другие зияли черной пустотой. Синге было не по себе, опьянение прошло само собой. Он даже вздрогнул, когда Тиглат вдруг остановился.

— Здесь человек, — сказал он вполголоса. — Он очень болен.

То, что Синга издали принял за груду тряпья, при ближайшем рассмотрении оказалось человеческой фигурой. Худой блеклый человек сидел, прислонившись к каменной ограде, и, кажется, бредил. Тиглат, несмотря на все протесты Синги, склонился над несчастным.

— На его правой руке ужасная рана, — сообщил он. — Она вся черная и дурно пахнет.

— На правой руке? — Синга почувствовал, как к горлу снова подступает острый комок. — Постой-ка, я знаю его. Это дурной человек, лишенный духа. Несколько дней назад он напал на меня и пытался ограбить…

— Ну, что же… теперь он умирает. Ты отмщен, — Тиглат покачал головой. — Оставь его.

— Нет.

— Что ты собираешься делать? — У Синги зуб на зуб не попадал.

— Не твое дело. Отойди.

Синга почувствовал обиду. Что за дело Тиглату, его спасителю, до этого грязного зверя? Но спорить не стал и отошел в сторону на несколько шагов. Краем глаза он заметил, как Тиглат коснулся больной руки страдальца и что-то неслышно произнес. Синга понял, что это были Слова Духа, и ему стало совсем жутко. Тиглат снял с себя бурнус и укрыл им умирающего. Тот не открыл глаз, не произнес ни слова, но Тиглат и не ждал ничего. Он уже шел дальше таким размашистым шагом, что Синга с трудом поспевал за ним…

Уже потом, много лет спустя, когда о Тиглате говорили и в Та-Кеме, и в Увегу, стали рассказывать, будто разбойник наутро проснулся полностью исцеленным, в тот же час покинул Бэл-Ахар и отправился в странствие, всюду рассказывая о случившемся с ним чуде. О его просвещенности ходили легенды. Он бывал во дворах чужеземных владык и вел беседы с великими мудрецами. Говорили еще, будто к старости он воздвиг обитель, где находили

приют и утешение нищие и скитальцы со всех концов земли. Но все это были только слухи — людям вообще свойственно преувеличивать. На самом деле к утру молодой нищий умер. Перед самым концом он открыл глаза и увидел солнце, восходящее над храмовой горой, а еще выше — что-то неведомое, прекрасное, сотканное из солнца и невесомой небесной влаги. Никогда за всю свою жизнь он не видел такой красоты, потому как редко поднимал взгляд от земли. И тогда жестокие черты на его лице наконец изгладились, холодный рассветный воздух остудил его лихорадку и прогнал прочь злые тени. Он закрыл глаза и покинул свою измученную плоть. На челе его не осталось и тени страдания, напротив, нищий улыбался так, будто ему снился самый дивный сон в его жизни.

4

— Слушай, старик... — Синга заморгал. — Я давно хочу тебя спросить: ты служишь моей семье много лет, ты давно мог бы выкупить себя, стать свободным. Почему ты этого еще не сделал?

Наас выпучил глаза и взвыл пронзительным, совсем женским голосом.

— Кто я? — причитал он. — Я старик, один под злым солнцем! Что я буду делать, когда придет свобода? Из раба я превращусь в бедняка!

— Ты лжешь, старый кот. Ты всегда лжешь.

Наас не сказал больше ни слова, он поклонился и вышел прочь. Вскоре его причитания стихли вдали, и Синга, совершив омовение, с большой неохотой принялся за работу. Задание было несложное — вывести на костяных пластинах расписки на пять, десять и пятнадцать гуров ячменя. Это было настоящее богатство — таким количеством зерна можно было целый год кормить небольшой поселок. Писец должен был проявлять огромную осторожность в составлении таких документов, иначе его ждало наказание. Однако рука Синги дрожала, а мысли уносили его за Внешнее кольцо. Он представлял себе бескрайние степи, вольные равнины без высоких стен и мутных канав, землю, по которой текла, извиваясь, змея-река Дасу. Очнувшись от этих грез, он понял, что вместо пометки о числе гуров машинально вывел на лопатке слово «Марруша». «Что оно значит? — сам себя спросил Синга. — Наверное, оно значит, что я испортил лопатку, и нужно идти просить новую у наставника Уту». Сингу ждало долгое и пространное поучение о расточительности, хотя он мог отделаться и простой затрещиной.

В последнее время Синга почти все время пребывал во власти грез. Шли дни, тхары приходили и уходили — они не задерживались подолгу в Бэл-Ахаре, словно чувствовали, что само их присутствие может осквернить его священную землю. Они останавливались лишь затем, чтобы набрать солоноватой воды из колодцев и подкрепить свои стада чахлой травой, что росла на склонах Кикейский гор. Проходила неделя-другая, и их шерстяные шатры отделялись от земли, как засохшая короста. Тхары разбирали их, укладывали в седельные сумки и уносили с собой на Юг, к Белой реке. Только отряд Нэмая курился горклым дымом на своем прежнем месте под Вечными стенами. Синга не видел его с той тревожной ночи в доме старого Куси. Но видения вольной, бесприютной жизни все так же следовали за ним по пятам.

В одну из ночей Синге приснился странный сон. В этом сне все было дико и огромно, маленьким и ничтожным был только сам Синга. В небе на месте солнца зиял огромный, налитый кровью глаз. По горной дороге мчалась колесница, сколоченная из костей великанов. Кости эти гремели словно гром. Правил ею возница, одетый в золото. Длинные волосы цвета крови выбивались из-под его шлема, развеваясь на ветру. Синга встал на пути колесницы, в руках у него была праща и черный камень с острыми краями. Во сне он знал, что состоит в бесчестном сговоре против возницы. Когда колесница прибли-

зилась, он размахнулся что было силы и запустил камень в голову, пылающую золотом и кровью. От удара шлем слетел прочь, возница пал на землю, испустив протяжный крик. От этого крика небо раскололось пополам, и Синга сам в страхе упал на землю. Колесницу уже нельзя было остановить, она мчалась вперед, разрушая горы, и Синга знал, что будет растоптан. Копыта лошадей обрушились на него, и в этот миг он проснулся. Все утро после пробуждения он был темнее тучи. Он все же не пошел к толкователю грез — какой-то внутренний голос подсказал ему, что этот сон нужно сохранить в тайне.

Тхары уже не появлялись в Нижнем городе, только иногда, поднявшись на стены, можно было различить вдали колючие силуэты всадников в высоких колпаках. Говорили, что по утрам их шумные разъезды проносились по равнине, сотрясая землю и поднимая пыль. Один из учеников, Волит, однажды сбежал за городские ворота, чтобы посмотреть, чем заняты страшные степняки. Он вернулся живой и невредимый, но страшно растрепанный и взволнованный. Из его путаных рассказов ничего нельзя было понять, но по всему выходило, что он видел что-то удивительное и запретное. Нэмай страшно завидовал Волиту, однако под присмотром Тиглата нечего было и думать о том, чтобы последовать за ним.

Наставника Уту на месте не было. Келья Кааса тоже пустовала. На полу лежали обработанные костяные плашки, и Синга мог умыкнуть одну из них, не выслушивая поучений Уту и не получая подзатыльников от Кааса. Недолго думая, он схватил большую лопатку и спрятал ее под рубашку.

— Если ты испортишь и эту кость, тебя высекут, — услышал он знакомый голос. Тиглат... Синга подавил вздох. Проклятый северянин опять нашел его. За прошедшие дни тайный труд утратил всю свою прелесть. Ощущение тайны притуплялось постоянными понуканиями и придирками Тиглата, одна за другой исписанные дощечки превращались в груды осколков. От этой работы невозможно было улизнуть или спрятаться — всякий раз Тиглат чудесным образом находил его.

— Послушай, брат… — произнес Синга с надеждой в голосе. — А что, если я сегодня схожу за красной глиной? К тому же извести у нас совсем не осталось…

— Главный евнух освободил тебя от подобной работы, — сухо отозвался Тиглат. — Идем, мы должны закончить до обедни.

Ничего не поделаешь — Синга послушно встал и последовал за старшим. Они вышли во двор и уже направились было к Адидону, когда Сингу настигло неожиданное спасение. Их окликнули. Это был толстяк Каас. Он сидел в тени ветхой храмовой стены рядом с большим тюком льняной ткани.

— Эй вы, бездельники! — крикнул он своим дребезжащим высоким голосом. — Подите-ка сюда!

В ответ Тиглат что-то неопределенно хмыкнул, но Каас одарил их таким свирепым взглядом, что ничего не оставалось, кроме как повиноваться.

— Чего тебе, о благомудрый?

— Произнеси слова из Желтой скрижали, — велел учитель.

— Слушай меня, человек: истина есть отсутствие лжи, — ответил Синга с готовностью. — Все сущее проистекает от Единого и Предвечного. Свойства любого сущего есть отражения бесконечных свойств Единого Отца, Целого и Совершенного.

— Хорошо, очень хорошо, — произнес Каас без видимого удовольствия. — Синга, сын мой, я бы хотел, чтобы ты выполнил одно мое поручение. Отнеси эти ткани красильщику. Тиглат, помоги наставнику Дулусси с младшими учениками. Дулусси стал плохо видеть, ему нужны помощники.

— Ткани? Отнести? — сердце Синги бешено заколотилось. — С удовольствием, о благомудрый!

— Учитель, — надтреснутым голосом произнес Тиглат. — У нас с Сингой особое поручение. Главный евнух приказал...

— Старого скопца здесь нет, — ответил Каас с презрением в голосе. — Я старший, значит, слушайтесь меня.

И он с ненавистью уставился на Тиглата. Северянин лишь бессильно стиснул зубы.

— После обедни жду тебя возле Адидона, — бросил он Синге и удалился. Мальчик взвалил на себя тюк с тканями и быстрым шагом, почти бегом, направился за ворота. От радости у него перехватывало дыхание. Он не появится на обедне, никто не заметит его отсутствия, разве что Тиглат, но Тиглату он соврет, конечно, соврет, и это будет правильно! А завтра он нарочно найдет Кааса, чтобы тот дал ему еще какое-нибудь поручение, и тогда снова можно будет улизнуть из города и, может быть, увидеться с Нэмаем и Спако. Синга уже почти бежал — тюк своим весом словно бы подгонял его.

Отнести тюки было делом нескольких минут. Красильщик сказал, что ткани можно будет забрать через три дня, но Синга уже не слышал его слов, он бежал к городским воротам, вернее, к узкому проему, через который канал выходил в городскую клоаку. Мальчишки из нижнего города уже давно расширили этот проем, чтобы можно было, минуя стражу, попадать во внешний мир.

Выбравшись из тесного прохода, Синга обогнул дозорную башню, прошел мимо чечевичного поля и поднялся на отвесную дюну. Темный песок оплывал под его ногами, один раз он почти упал, но, уцепившись за жалкий фисташковый кустик, устоял на ногах. Наконец, чертыхаясь, он поднялся на ноги и впервые увидел стойбище тхаров. Поначалу ему показалось, что рядом с Бэл-Ахаром, вечным и недвижимым, раскинулся другой город, готовый вот-вот сдвинуться с места, превратиться в бурный поток и смести древние стены из глины и песчаника. Стойбище тхаров было огромно, оно раскинулось на равнине от гор до горизонта, словно тень от тучи. Пестрое, изменчивое, нечистое, шумное, оно внушало Синге почти животный страх. Тхары стояли на берегу вади, по которой теперь бежала мутная холодная вода. Их шатры и повозки подпирали небо черными дымными столбами. Казалось, что это темное, низко нависшее небо держится на одних только этих дымах. Все они были воины и носили с собой все свое имущество, их жены и дети сопровождали их в вечных странствиях. Никогда не расставались тхары с оружием, а потому каждый пастух в их орде был шершнем о множестве жал.

«Неужели это не все войско Аттара? — подумал Синга. — Какой же оно величины?» Уже три года прошло с тех пор, как Хатор и Камиш отказались платить Аттару дань. Все говорили, что придет день и Руса превратит эти города в пыль. Глядя на тхарское стойбище, Синга поверил в эти пророчества. Огромная сила была у Аттара, и эта сила была готова прийти в движение.

Сердце Синги замерло, когда он увидел невдалеке отряд всадников — все мальчишки, только-только отрастили жиденькие усы. Угловатые, злые — русые, рыжие, белобрысые, — в жизни Синга не видел столько светловолосых людей. Они ухали, перекрикиваясь между собой, обмениваясь бранными словечками и сальными шутками на разных языках. Синга слышал легенду о том, как произошел язык тхарру, — когда-то давно злой Южный ветер забавы ради смешал самые дурные слова из всех языков и придал им гортанное звучание. Долгое время на этом языке никто не говорил, так гадко он звучал, и он был как бы сам по себе. И тогда Южный ветер собрал степной сор, острые камни и темный песок — из него он слепил людей, свирепых и грубых, которым пришелся впору выдуманный им язык. Так появились тхары. И сейчас Синга слушал степняцкий говор с удовольствием — ему нравились сила и ярость, скрытые в этих словах. Голоса мальчиков звучали как Южный ветер, и Синга чувствовал себя тонкой тростинкой, раскачивающейся под этим ветром.

В этой веселой своре Синга, к свой радости, увидел Нэмая. Синга упал на живот так, что только его глаза и лоб поднимались над чахлой травой. Ему хотелось понаблюдать издали, что же такое будут делать тхары. Ждать пришлось недолго: мальчишки добыли где-то живого барана и устроили игру, ко-

торая звалась у тхаров «бал-кхаши». Всадники собрались на вытоптанной поляне, разделились на две команды, а стреноженного барана бросили на землю. По краям поляны установили два больших стога из скошенной травы. Нэмай сделал круг по поляне, осыпая соперников грязными ругательствами. Те кричали в ответ что-то не менее гнусное. Неподалеку на круглом горячем камне сидел Духарья. Когда звучали особо смачные ругательства, тучный вождь посвистывал и звонко хлопал ладонями по тугому животу.

Наконец мальчишки немного утомились, и началась игра, больше похожая на сражение. Всадники вырывали барана друг у друга из рук, щелкали плети, кулаки обрушивались на головы, кони сталкивались с разгону. Рев, крики, свист, блеянье — все смешалось в один страшный гул. Плеть Нэмая била всех без разбора — товарищи сторонились его, соперники в страхе бежали. Баран был уже мертв, да игроки и забыли про него — игра превратилась в настоящую драку. В этой сваре не было ни ярости, ни вражды — молодые звери радовались ранам и ссадинам, они выли и улюлюкали, когда кто-нибудь, изрыгая проклятья, падал на землю.

Острый кулак врезался в спину Синги, угодив точно между лопаток.

— Ты чего это здесь вынюхиваешь, черная голова? — прошипела Спако так зло, что Синга, к стыду своему, сжался от страха.

— Разве нельзя смотреть? — простонал он, хватая ртом воздух.

— Нельзя! — рыкнула Спако. — Ты пришел без приглашения. Знаешь, что с тобой здесь сделают?

Синга похолодел. Жуткие мысли толпились в его голове. Он оказался в логове львов, и тхары теперь точно используют его в своей игре заместо барана.

— Ну, все, — вздохнула Спако. — Тебя заметили. Ты, главное, молчи, я все поправлю.

И действительно — молодые тхары оставили игру и направили коней туда, где лежал еле живой от страха Синга. Их руки и лица были покрыты кровью, и сами они были похожи на горных духов.

— Посмотрите на эту глупую ящерицу! — подал голос один из них. — Она любит ползать по камням и смотреть на ястребов.

— Это не ящерица, — перебил другой. — Я вижу четыре лапы, но не вижу хвоста. Значит, это соломенная мышь…

Негодование охватило Сингу.

— Я вольный человек из высокого дома! — крикнул он, хоть Спако еще прижимала его к земле. — Я знаю тайны птиц и звериные логова…

— Ишь как кричит, — засмеялся Нэмай. — Только я тебя знаю. Ты пьянеешь от машуллы — совсем как старая женщина. Я видел тебя. Ты стоишь на ногах как новорожденный жеребенок, а речи твои похожи на вопли горного духа.

— Ты знаешь его? Кто он? — на лицах молодых тхаров было недоверие.

— Ученый колдун из города, — хмыкнул Нэмай. — Его зовут «Черная голова». Что ты здесь делаешь, заклинатель мышей?

Тхары одобрительно закивали, обмениваясь ехидными взглядами. Синга понял, что нужно что-то сказать, но не нашел слов. Его только что подняли на смех эти степные звери, ему хотелось провалиться под землю или улететь далеко-далеко отсюда, лишь бы не видеть эти улыбающиеся рожи.

— Я его привела, — сказала вдруг Спако. — Он мой гость и будет сидеть рядом со мной.

— Гость? — Нэмай смерил взглядом неподвижно лежащего Сингу. — Хорошо, тогда мы будем пить с ним кислое молоко.

— Эй-эй, — возмутился кто-то из тхаров. — Зачем ты привечаешь его? Он слухач-соглядатай, разве он у нас в гостях?

— Это мы у него в гостях, Урусмей, — ответил Нэмай резко. — Разве стоим мы не под стенами его города? Вот он, как добрый хозяин, пришел посмотреть, хорошо ли нам отдыхается. — С этими словами он подъехал к лежав-

шей на земле бараньей туше, свесился с коня, быстро схватил ее и поднял над головой. Синга не понял, что означает этот жест, но на остальных тхаров он произвел приятное впечатление, — они засмеялись и заулюлюкали. Спако хихикнула, и у Синги наконец отлегло от сердца. Кажется, ему повезло, и степняки не злятся на него. Спако уже не прижимала его к земле, так что он мог встать и отряхнуться. Тхары потеряли к нему интерес, Синга мог спокойно развернуться и уйти в город. Но в эту минуту он понял, что должен остаться…

5

— Архонты не настоящие боги, — поучал Синга. — Они — великое множество заблуждений на пути к Отцу Вечности. Я слышал истории о том, как изваяния архонтов творили чудеса, как бы являя людям божественную волю. Но изваяния — это не Бог, это его мучительное подобие. Изобразив божество, смертные в своем неведении начинают молиться и поклоняться ему, наделяя его особой силой. В конце концов в изваянии заводится нечистый дух, который искушает людей через ложные чудеса.

— Постой! — перебил его Нэмай. — Почему же вы не запретите народу молиться архонтам, раз в них так много лжи?

Синга вздохнул, изобразив на лице выражение, которое сам много раз видел на лицах учителей:

— Люди сильны в своих заблуждениях. Многие из них не могут поверить в Непостижимого Царя. Язычник ходит кругами, как слепой без поводыря, растрачивая свою душу в пустоту.

— Не понимаю, — прищурился Нэмай. — Ты говорил об Отце Вечности. Кто же тогда этот Непостижимый Царь?

— Он… — Синга смешался. — У него много имен. Прежде чем я перечислю их все, мы оба умрем от старости…

— Странные речи говоришь, заклинатель мышей, — Нэмай так пристально уставился на Сингу, что тому на миг показалось, будто зрачки тхара сузились, как у кошки.

— Люди в этом городе любят рассказывать, — продолжал Нэмай. — Говорят вот, будто ваш верховный колдун живет тысячи лет. — Студеные глаза Нэмая вдруг вспыхнули золотом. — Это правда?

Синга молчал. Можно ли говорить о таких вещах с чужеземцем? Сам он за последние дни очень много узнал о тхарах. Уже в пятый раз он приходил в тхарское стойбище, выбрав момент, когда Тиглат был занят. С приходом дождей у него прибавилось работы — целыми днями он пропадал в поле по разным поручениям, которые давал ему Каас. Синга теперь почти не бывал в Адидоне, его работа затянулась, но теперь у него появилось время, чтобы видеться с новыми друзьями. Друзьями? Да, кажется, он мог их так называть...

Они сидели друг против друга перед шатром Нэмая на пыльном ковре, скрестив ноги на степняцкий манер. Синге была непривычна такая поза, но он боялся обидеть Нэмая, выставив ноги. Между ними лежало блюдо с тушеным мясом и фисташками, в сторонке дымилась курильница. Так у тхаров полагалось вести праздную беседу. Праздным считался всякий разговор, который не касался войны и лошадей. Спако из глубины шатра молча смотрела на юношей. Синга не видел ее лица, но почувствовал кожей колючий взгляд.

— Я вот что знаю... — произнес Синга наконец. — Как-то ночью я вышел во двор и увидел процессию — это были учителя, они несли на плечах большой льняной сверток. Так у нас хоронят мертвецов. Я спрятался в кустах и проследил за тем, как учителя вынесли сверток за пределы храмового двора. На следующий день, придя на Большую молитву, я заметил, что Великий Наставник стал ниже ростом. Голос у него тоже изменился. За обедней нам сказали, что учитель Эну отбыл в Чертоги Вечности. За столом все говорили

только об этом, и лишь я молчал. В тот день я понял, что умер не учитель Эну, а Великий Наставник, и Эну теперь выходит на Большую молитву в маске из белого гипса.

Услышав этот рассказ, Нэмай захохотал. Он даже громко хлопнул себя по колену, и это показалось Синге особенно обидным.

— Все рассказывают, что Бэл-Ахар полон богатств и разных чудес, — говорил молодой степняк. — Но теперь-то я вижу, что все это выдумки.

На сей раз Синга рассердился не на шутку. Он изобразил на своем лице праведный гнев, какой сам часто видел у наставника Уту, и протяжно, нараспев произнес:

— Знания, Истина, Поучения Мудрости — вот величайшие из богатств.

Нэмай не ожидал ничего такого — он так и замер с открытым ртом. Смысл слов Синги медленно доходил до его грубого ума, казалось, еще немного, и его виски загудят медью.

— И куда мне приторочить твои Знания и Поучения? — спросил он наконец.

— Как это куда? Вложи их в голову, храни и приумножай.

— Эээ… — Нэмай вдруг перешел на ломанный аттару, — мне не нужна тяжелая голова! Я степняк. В моей голове гуляет ветер, в моей груди горит солнце. Все мое богатство — пониже пояса.

На сей раз смешался Синга. Он сразу же растерял всю свою строгость и даже слегка покраснел. Нэмай это заметил.

— Мое богатство — это конь, лук и колчан, полный стрел, — хохотнул он. — Эх ты, черная голова! Смотреть на тебя смешно.

Увидев, что его слова задели Сингу, Нэмай смягчился. Он улыбнулся другу, подмигнул ему и достал из-за кушака наперсток из зеленой меди. Такие наперстки носили при себе лучники, чтобы тетива не резала большой палец.

— Вот, возьми, — сказал он. — Я научу тебя хорошо стрелять, и ты станешь бирумом.

— Спасибо тебе, дурной человек от дурного семени, — ответил Синга церемонно. — Теперь я должен подарить что-нибудь тебе…

— Правда? — просиял Нэмай. — И что же? Нож? Чекан?

— У меня нет ни того, ни другого…

— Нуу… — Нэмай был разочарован. — Тогда верни наперсток…

— Нет, подожди! Дай подумать… — наперсток отдавать не хотелось, и Синга стал лихорадочно придумывать, чем же ему теперь откупиться от жадного тхара. Спиной он почувствовал в мешке что-то твердое и вспомнил про игральную доску. — Знаешь что? Я научу тебя играть в скарну!

— Скарна? — Нэмай нахмурился. — Игра такая? Как бал-кхаши?

— Нет-нет! — Синга поморщился. — На бал-кхаши совсем не похоже. Скарна — великая игра. Цари проигрывают в скарну города, а бедняки — последние одежды. На кон ставят имя, кровь и жизнь, землю и лошадей, рабов и собственный разум. Еще в скарну играют, чтобы просто занять свое время... Но послушай, мало кто знает ее тайный смысл. Я тебе расскажу, а ты держи язык за зубами.

Нэмай между тем заскучал. Пышные речи оседали в его ушах бледным пеплом. Синга не выдержал и отвесил своему другу затрещину. Тхар засопел, но сдачи не дал. Синга покопался в заплечной сумке и извлек дощечку, имеющую вид круглой цветочной розетки с двенадцатью лепестками. Он положил дощечку на землю, рядом рассыпал фишки, кости, опасливо огляделся и шепотом стал объяснять:

— Играют вдвоем. Есть две стороны — сторона Дня и сторона Ночи. Это, — он указал на красные фишки, — пять священных звезд, их еще называют Светильниками Отца Вечности. А это, — он указал на голубые фишки, — пять блудных звезд, пять Духов Тьмы. Круг разделен на двенадцать

лепестков — в нем пять домов Благости и пять домов Тьмы, есть еще два дома — Дом Песен — здесь начинают свой путь красные фишки, и Чертоги Тьмы — с этого лепестка начинается путь синих. Игроки ходят посолонь, понимаешь?

Прикусив губу, Нэмай скользил студеным взглядом по дощечке, по костяшкам, поглядывая с недоверием на Сингу. Наконец он взял красную фишку и попробовал на зуб.

— Ты говоришь, цари в это играют? — спросил он с некоторым сомнением.

— Да, Аттар Руса выиграл мой родной Эшзи в скарну. Когда это случилось, отец вызвал меня к себе. До этого он все время твердил, что я, когда вырасту, стану редумом и буду защищать свой город со щитом в руке. Но в тот день, когда стало известно, что Руса выиграл Эшзи в скарну, отец призвал меня к себе и сказал, что я стану писцом. Затем он отвесил мне такую затрещину, что у меня помутилось в глазах. Как будто я виноват, что не уберег его родные стены.

— А что — разве ты не виноват? — глаза Нэмая вспыхнули недобрым светом. — Вы могли взять в руки оружие, запереть ворота своего города и поднять над стенами кровавые знамена. Вы могли сжечь дворец своего глупого правителя и проклясть имя Русы!

— Нет, что ты! Что ты! — Синга сажал уши и закачал головой. — Нельзя даже думать о таком. Воля царей нисходит с Небес! Мы, смертные, на земле и думать не должны о том, чтобы восставать против нее.

Услышав это, Нэмай нахмурился и надолго замолчал. Синга смотрел на него со страхом. В эту минуту степняк казался ему какой-то значительной, грозной фигурой сродни Тиглату. Какие-то тревожные думы горели в его рыжей голове. Молчание длилось так долго, что ноги Синги, сидевшего в неудобной позе, затекли, однако он не осмеливался изменить свое положение, чтобы не нарушить этой зловещей тишины.

— А почему эта ходит прежде других? — спросил наконец Нэмай, указывая на фишку с тремя засечками.

— О, это особая фишка, — произнес Синга. — Она называется Сатевис, Звезда царей. Она идет впереди и приносит победу. На стороне Ночи ей противостоит Варахн, Звезда Войны. Варахн может обратить Ум в Дым, а Знание во Тьму.

Нэмай слушал очень внимательно и уже не перебивал Сингу. Когда тот закончил объяснять, он взял из тарелки кусок мяса, — этот жест означал, что теперь хочет говорить он.

— Расскажи, откуда ты родом, — попросил Синга.

— Не знаю… — Нэмай смешался. — Ветер гонял меня по степи, как сухое былье. Кто мои родные — не знаю, я рос прикормышем…

— Это как? — спросил Синга. Спако тихонько чертыхнулась, завозилась в шатре, но Нэмай не обратил на нее внимания.

— Я родился в большой голод, — сказал он. — Табуны полегли из-за зимних ливней. Два дня шел теплый дождь, а потом наступил страшный холод. Лошади замерзали в полный рост вместе с наездниками. Падали было столько, что волки и серые псы подыхали от обжорства. Травы умирали, всюду была грязь и гниль. Мать положила меня в снег и оставила на верную смерть. Но меня нашла рысь, потерявшая свой приплод. Она приняла меня как родного котенка, выкормила своим молоком. Когда спустя много дней меня нашли люди, рысь не подпустила их ко мне, и ее пришлось убить. Так я потерял и вторую свою мать. Люди, подобравшие меня, не знали, из какого я племени, и назвали поэтому просто Нэмай — «безымянный».

Нэмай рассказывал просто, без особого выражения, чуть растягивая слова. В его блеклых глазах не было ни тени, ни дыма, как говорили в Эшзи. Но Синга почему-то сразу поверил в эту его историю.

— Скажи-ка, — он даже слегка растерялся, стоит ли степняка расспрашивать о таких вещах. — Ты ездишь на верблюде, но я думал, все тхары — лошадники.

— Мало ты о нас знаешь, тут нечего сказать, — физиономия Нэмая прямо пылала от самодовольства. — Верблюды водятся у нас. Мекату я отбил у одного жадного пастуха. О, что это за зверь! Быстрый, свирепый как злой дух. Я вот что скажу: он не знает усталости.

— Нэмай состязался с лучшими всадниками, — подала голос Спако. — Против него бежал сам Каруш. Они бежали всю ночь вдоль пограничных курганов. На каждом их встречали с горящими кострами и теплой машуллой. На рассвете конь Каруша пал, а Меката даже не взмылился.

Нэмай недобро зыркнул в ее сторону, и Спако умолкла. Нэмай сделал ход.

— Нельзя ставить в один дом больше трех фишек, — сказал Синга.

— А почему?

— Почему? Ну... тогда игра просто потеряет смысл!

— Не понимаю! Так ведь веселее!

— Тхарам не понять!

Нэмай выиграл с пятого раза. Затем Синге с большим трудом удалось отыграться, но после удача окончательно перешла на сторону Ночи. Наконец Синга объявил, что на сегодня хватит игр. Нэмай нехотя согласился.

— Теперь я буду учить тебя стрельбе! — весело сказал он.

Полог отодвинулся, и Спако протянула ему горит и колчан со стрелами. Нэмай положил горит перед собой, расстегнул и вытащил изогнутый тхарский лук. «Вот оно — оружие рыси», — произнес он гордо.

Синга взял одну стрелу осторожно, так, будто это была великая драгоценность. Стрела была легче тех, что использовали бирумы аттара. В кремневое жало, в самое основание, были вживлены длинные и прочные шипы акации. Вытащить такую стрелу можно было, только вырвав кусок плоти.

Нэмай схватил стрелу, натянул тетиву до уха и выстрелил, почти не целясь. Стрела вонзилась в коновязь, лошадь встряхнула гривой и заржала. Синга присвистнул.

— Ты стреляешь, как Ашваттдэва! — крикнул он.

— Да кто такой этот Ашваттдэва?!

Синга сделал серьезное лицо, выдержал паузу, как делал это учитель Куту, и начал свой вдохновенный рассказ:

— Ашваттдэва был великим героем, сыном бессмертных архонтов. Он первым среди смертных сочетал медь с мышьяком и получив бронзу. Голыми руками он убил льва и одной палицей сокрушил целое войско. Рассказывают, что, когда на склоне лет он отдыхал в своих чертогах, неподалеку от его жилища разразилась страшная битва. Потерям не было числа, воздух гудел от звона меди. Разгневанный Ашваттдэва выглянул за порог и громко окликнул сражающихся. Воины, оглушенные его голосом, попадали на землю да так и пролежали до рассвета, пока Ашваттдэва не велел им подняться и уйти восвояси.

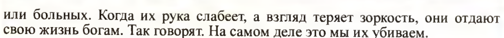
— Интересное рассказывают, — зевнул Нэмай. — А что значит, на склоне лет?

— Это значит, что ему было много лет, — ответил Синга. — Он сделался стар и немощен. Царь на вершине своей славы подобен солнцу в зените, покоренные, слабые народы греются в лучах его благодати. Низкие и недостойные люди, люди преступных намерений, сгорают в этих лучах. Но следует помнить, что, достигнув зенита, солнце начинает свое движение к закату, и в могуществе царя таятся зерна будущего упадка.

— Ну вот, — устало протянул Нэмай. — Я хотел обучить тебя стрельбе, а вместо этого ты снова поучаешь меня…

Затем он на время замолчал, что-то прикидывая в уме.

— Царь приходит в упадок оттого, что стареет, — произнес он наконец. — Старики слабые и жалкие. Среди наших вождей ты не встретишь немощных



или больных. Когда их рука слабеет, а взгляд теряет зоркость, они отдают свою жизнь богам. Так говорят. На самом деле это мы их убиваем.

Сказав так, он выпустил еще одну стрелу в коновязь, она вонзилась в дерево чуть повыше, и старая кобыла испустила жалобный храп. Она забила копытом, взрывая землю, заворочала глазом, высматривая своего обидчика. У Синги екнуло сердце. Кобыла закричала снова, теперь пронзительно и тоскливо. Вчера забили ее жеребенка, ногу отдали Богу Меча, шкуру растянули возле жертвенника, будто это был полог шатра, а все остальное сварили в котле и съели. Сингу угостили тоже, и он ел вместе со всеми, поджав под себя ноги, хоть и жалел жеребенка. Лошадь сама была старой, и Нэмай знал, что скоро с нее спустят шкуру.

Нэмай понял, куда смотрит Синга, и сам изменился в лице. Он смахнул с доски все оставшиеся фишки, вскочил со своего места и быстрым шагом направился к коновязи, подошел к кобыле и цокнул языком. Синга затаил дыхание, правая рука Нэмая коснулась грязной гривы, левая легла на рукоять чекана. Он уже видел, как тхары забивают своих скакунов — одним ударом клевца в висок. Увидев что-то в глазах Синги, Нэмай зло усмехнулся, хлопнул кобылу по шее, накинул на голову колпак и пошел прочь, туда, где был привязан его Меката. Синга не сводил взгляда с его заостренной фигуры. Кто-то коснулся его плеча, и юноша вздрогнул.

— Не сердись на него, ученик колдуна! — Спако была рядом, зардевшаяся, удивительно знакомая... Синга чуть не подался к ней, но вовремя себя одернул. — Нэмай совсем дикий, — смущенно сказала Спако. — Иногда я... ну, про него всякое рассказывают. Я не знаю, что из этого правда. Я вот что слышала: однажды река выбросила на камни огромную снулую рыбину. Когда на берег пришли люди, собаки уже успели обглодать ее с одного бока. Все увидели, что рыбьи потроха похожи на человечка — ноги согнуты, руки скрещены на груди. Глаза — два темных кровяных сгустка. Носа нет, нет губ — только вены и жилы, перепутанные, как комок шерсти. Испугались люди, зароптали, но сведущие старики объяснили: «Нельзя обижать этого человечка. Он пришел из другого мира».

Долго спорили люди, как им быть с этим чудищем. Его вытащили из рыбы и положили возле огня. Мало-помалу человечек обсох, согрелся и начал шевелиться. У него появился рот, стало видно глаза. Люди не оставили его, согревали, выкармливали козьим молоком. Он был мал, не больше ребенка, и ползал по земле, но скоро окреп и подрос. Его научили говорить и дали имя — Нэмай. Уж не знаю, правда ли это. Про рысь тоже не знаю. А Нэмая спросить боюсь...

— Ты говоришь странное. Я тебя не понимаю.

Спако хмыкнула, рывком поставила Сингу на ноги и потащила за собой к большой коновязи, где стоял шатер из белой шерсти. Полог был откинут, у самого входа стояли несколько мужчин в пестрых одеждах, глаза их были опущены долу. Приблизившись к шатру на некоторое расстояние, Спако велела Синге остановиться. Юноша одарил ее удивленным взглядом, но не сказал ни слова.

В глубине шатра на большом деревянном брусе, подбоченясь, сидел Духарья. Подогнув ноги на степняцкий манер, он уставил взгляд вдаль, лицо его было словно высечено из песчаника, брови, нос и губы рисовали зловещий знак. По правую руку от вождя лежала плеть из колючей шерсти, по левую — чекан с хищно изогнутым медным клювом.

У поскотины появился бледный человек, босой и голый, едва прикрывший худобу куском чепрака. Он полз по земле на четвереньках, склонив голову, едва шевеля руками и ногами. Ему пришлось перелезть через поскотину, чтобы добраться до порога юрты, он раскровил лодыжку и ушиб локоть, но не издал ни звука. Собравшись с силами, он очень осторожно переступил через порог и, оказавшись у ног Духарьи, сотворил умоляющий жест — выставил

перед собой руки, обращенные ладонями кверху. Вождь не опустил глаз, как если бы к его ногам подполз клоп. Среди тхаров послышался ропот, даже Спако не утерпела — отвернула лицо и сплюнула грязное слово: «Лжец». Нэмая не было видно. Он, наверное стоял где-то в толпе, прикрыв лицо капюшоном.

Провинившийся не дышал, чепрак сполз на землю, оголив зубчатый хребет и впалые бока. Вождь прищурился и одним только глазом взглянул на его мозолистые руки. Минуту он раздумывал, затем одним резким движением ухватил плеть и трижды с силой ударил виновного. Каждый удар оставил на коже свежий след. Синга отвел взгляд — он не мог смотреть на эту розовую мякоть.

Провинившийся смолчал. Лицо его вытянулось и еще больше побледнело. Не поднимая головы, он попятился назад, все так же на четвереньках. Когда пришла пора перебраться через порог, силы оставили его, и левой пяткой он задел резную жердь. Двое молодчиков, стороживших выход, тут же встряхнули его, вытащили наружу и швырнули на коновязь. Голова провинившегося с глухим стуком ударилась о дерево, на лбу выступила кровь, и он наконец со стоном упал на землю.

— Простил, — сказала Спако опять куда-то в сторону. Голос ее был похож на глухое рычание. Синга попятился, упал на зад, как ребенок, заморгал. Оглядевшись, он понял, что остался один. Видимо, прошло некоторое время. Спако исчезла, никого не было и возле коновязи, даже полог белого шатра был опущен. Там, где еще недавно лежал человек, теперь валялся один лишь кусок чепрака. С трудом Синга поднялся на ноги и нетвердой походкой, словно пьяный, подошел к этому обрывку серой ткани. На земле он приметил несколько темных пятен и сказал себе: «Это — сливовое вино».

Позже, шагая по дороге в город, он то и дело оборачивался — не видать ли остроконечной тени. У городских стен он наткнулся на Тиглата. Северянин сидел на куске глинобитной стены, скрестив руки на груди, словно покойник. Синга подошел к нему с опаской — он и не знал, чего ждать сейчас от этого страшного человека.

Тиглат не смотрел на него, и это было хуже всего. В руках северянин держал глиняную табличку, которую вчера утром изготовил Синга. Табличка дурно высохла и пришла в негодность, на ней появились изъяны и трещины. Некоторые знаки невозможно было разобрать. Синга втянул голову в плечи, ожидая, что северянин будет кричать и, может быть, даже побьет его, но Тиглат молчал.

— Брат... — позвал Синга тихо.

Молчание.

— Брат, я сделаю новую табличку. Сегодня же

— Зачем ты учишь дикого человека? — спросил Тиглат. — Он ведь как волк. Ты учишь его разным трюкам, а он норовит укусить тебя!

Синга смешался. Он и сам не знал, зачем учит этого волка. Ему казалось забавным, что дикого зверя, хищника, можно приучить брать еду с руки, можно научить разным трюкам и ужимкам, но он не думал, что случится с диким зверем, когда уйдет дрессировщик.

— Ты разве забыл, что тебе не дозволено поучать дикарей? — произнес Тиглат резко.

Синга содрогнулся: «Я погиб! Я в логове львов! Что, если Тиглат расскажет наставникам?» Он заглянул в глаза Тиглату. В них не было ни прежней скуки, ни презрения, только тихая печаль.

— Я никому не скажу, — глухо произнес северянин. — Но ты больше никогда не будешь ходить к тхарам.

Синга кивнул. В эту минуту ему показалось, что он и сам ни за что на свете не навестит больше Нэмая и Спако...

6

Несколько дней Синга не находил себе места, он не спал и не ел, не выходил из своей кельи и не смотрел в окно. В конце концов он страшно заболел. В разгар болезни в самом страшном бреду он увидел огромное войско, рыкающее, словно стая львов. Вместо редумов и бирумов в нем были все знания и мудрости, полученные им за те годы, что он провел в Бэл-Ахаре. Синга в этом бреду стоял на краю грязевого потока, — мутный, удушливый, мчался он вниз по склону храмовой горы. «Этот поток омывает земли иного царства», — услышал Синга в своей голове. Голос, произнесший эти слова, принадлежал Тиглату. Синга смотрел вдаль, куда утекали мутные воды. «Стой, не иди туда! — произнес невидимый Тиглат. — Там львиное логово, там ты найдешь свою смерть». Синга сделал несколько шагов, оступился и кубарем полетел вниз, разбивая плоть и ломая кости об острые камни. В конце своего падения он увидел со стороны свое тело — скрюченное, суставчатое, страшное. На самом деле он в беспамятстве возился на своем тюфяке так, что разорвал его в клочья. К утру Синга разметался на полу, крича что-то несусветное. Старый богохульник Наас склонился над ним, заплакал и взмолился богам.

Прошло несколько дней. Перестали идти дожди, и недуг оставил юношу. По ночам он больше не кричал и не метался и внешне был здоров. Синга уже не появлялся в стойбище, в Храме его тоже видели редко: он сделался молчалив и задумчив и теперь уже не общался ни с кем, кроме Тиглата. Дни и ночи свои он проводил в Адидоне, доводя до совершенства свое писчее искусство. Дурные мысли, однако, не оставляли его — в своих мыслях Синга снова и снова возвращался к рассказу Спако...

— Что это за слова? — спросил однажды Синга.

— Что? — Тиглат словно очнулся от дремы. — Какие слова?

— Три слова в конце Скрижали Дня. Веллех, Шавва, Марруша...

— Этими словами заканчивается Великая молитва...

— Нет, что они значат? — не унимался Синга.

— На этом языке не говорят, — голос Тиглата дрогнул, глаза подернулись тенью. — Ты не жрец, тебе незачем знать эти слова. Не спрашивай об этом учителей.

Синга потупился. Он никак не мог взять в разумение слова, которыми заканчивалась Скрижаль Ночи: «За Пределом пребывает Хаал — материя, имеющая бесконечное множество форм. В этих формах нет смысла, ведь в самом Хаал нет Души, а Душа есть Смысл. У Хаал есть лишь Дух, не имеющий облика, злобный и жадный, его мы не называем. Он стремится обрести смысл, он алкает Души, он рвется ей навстречу, но перед ним навеки возведен Предел, и этот Предел — Марруша». Синга закрыл глаза: в его голове тут же возник образ — что-то неопределенное, безобразное, кипящее, похожее на месиво из рыбьих потрохов. А потом из этого месива возникло налитое кровью око... оно глядело на Сингу своим неподвижным взглядом, и множество невидимых рук тянулось к нему, чтобы схватить, стяжать, поглотить... Юноша вздрогнул и открыл глаза. Его взгляд упал на Скрижаль Ночи, где виден был полустертый знак — человеческий глаз, окруженный короной из солнечный лучей. Нет, это были не лучи, это были руки, великое множество рук, обращенных во все стороны. Знак внушал тревогу, хоть Синга и не знал его значения. Он не спрашивал о нем ни Тиглата, ни кого-либо из учителей.

В полдень Наас подошел к своему юному господину и низко поклонился. Синга заметил костяной нож, привязанный к поясу раба, и спросил, зачем он нужен. «Я чую тревогу, хозяин — прошептал Наас. — Я слышу беду, она прячется за порогом». Сказав так, он прикрыл лицо рукавом. Синга кивнул, стараясь не выдавать своего смущения. Он еще раз взглянул на оружие своего воспитателя. Нож был выточен из коровьей челюсти. Рабам дозволялось пользоваться только таким оружием. Наас мог за себя постоять. Сингу трево-

жило другое. Что мог знать этот старый раб? Откуда? Неужели они с Тиглатом состоят в сговоре? «Беда идет, беда. По всем дорогам рыщет, ищет тебя, молодой господин, уж поверь мне», — шепнул Наас, но Синга сделал вид, что не слышит его. В эту минуту им овладело полное безразличие. Что будет, то и будет...

За вечерей Синга услышал, что последние тхары снялись с места и отправились на Восток. С ними следом увязался городской базар и добрая сотня нищих. Сингу эта весть не опечалила и не взволновала. В последние дни он не думал о Нэмае и Спако. Что-то тревожное и темное переполнило его душу и источало дух. Утро он встречал проклятьями, перед сном пел плачи. Еда утратила вкус, вино потеряло силу, Синга все больше чувствовал свою нечистоту.

Пока ученики ели, евнухи, неслышные, невидимые в своих серых одеяниях, вынесли из обеденной залы все светильники, не оставив никакого света, кроме того, что проникал в келью сквозь круглое окно. Закончив, евнухи столпились у выхода. Их лица, непроницаемые, серые, хранили печать молчания и скорби.

Во главе стола появились наставники, облаченные в темные бурнусы. Каждый из них занял подобающее ему место — наставник гимнопевцев встал по правую руку от учителя письма, воспитатель благодетелей встал слева от прорицателя Судеб. Синга хорошо заучил этот порядок, каждой из десяти благодетелей предписывался свой учитель, совершенномудрый, чадолюбивый и строгий. Лишь Великий Наставник сочетал в себе все десять благодетелей, но его в обеденной зале не было. Мало-помалу воспитанники притихли, смущенные молчанием своих учителей. Даже самые бойкие и нахальные из них уставились на свои миски, ожидая, какую новость сообщат им Мудрейшие. Молчание длилось слишком долго, Синга успел перебрать в памяти множество молитв и проклятий, но ни один заговор не мог избавить его от удушливого чувства страха.

— Случилось святотатство! — возвестил наставник Дулусси, и голос его звенел от гнева. — Кто-то бросил скрижали в грязь! Кто-то погасил Чистый огонь!

— Кто? — тут же подхватил Старший евнух. — Кто произнес дурные слова? Кто проповедовал Истину дурным людям дурной крови?!

Конечно же, все они заранее условились, что говорить и что делать, если виновный не захочет себя раскрыть. Каждое слово было заучено и произнесено заранее, каждый гневный взгляд был направлен куда нужно. Но Синга в эту минуту ничего этого не понимал — от страха он вжал голову в плечи. Если бы его в эту минуту спросили, не он ли совершил святотатство, Синга, конечно, немедленно бы сознался.

— Великий Наставник видит все! — важно произнес Каас. — Ему ведомы все ваши помыслы и страсти. Один из воспитанников Храма, не достигнув чина наставника, не имея ни должной мудрости, ни опыта, передал Священные Слова нечестивцам, этим диким степным волкам!

В глазах у Синги потемнело. Он погиб, погиб наверняка. Виски стиснул раскаленный обруч, руки предательски задрожали. Синга попытался взять себя в руки… Ничего еще не кончено. Быть может, его не найдут, быть может, подумают на другого. Синга сам ужаснулся от этой мысли. В эту минуту он увидел Нааса — старый раб стоял возле стены словно полуденный призрак. Когда прозвучали слова о святотатстве, лицо Нааса страшно исказилось. «Он знал, что так случится, — понял Синга. — И знает, что ему делать… Меня убьют, а он отвезет в Эшзи мои кости, покажет отцу». А следом его осенила другая догадка... костяной нож! Жест Нааса! Раб предложил своему хозяину смерть. Наас умертвит господина, а следом — себя.

— Если преступник не сознается, — прокричал Уту. — Мы изобличим его сами!

Синга замер, прекратил дышать, спрятал взгляд, зная, что Уту смотрит прямо на него. Все кончено — его сейчас разоблачат! Преступление его состояло в том, что он, всего лишь ученик, проповедовал дурным людям от дурного семени сокрытое знание, говорил с ними об Отце Вечности, и это был большой грех. От него не было другого избавления, кроме изгнания или смерти.

Слово взял учитель Каас. С трудом втянув свой огромный живот, он вышел вперед, по обыкновению, погладил свою окладистую бороду и произнес:

— Я вижу для виновного три возможных исхода. Первый и наилучший исход в том, что он немедленно примет смерть. Второй — навсегда удалится в изгнание, утратив печать и палетку. Третий выход — самый тяжкий. Провинившийся останется в Храме Светильников, сделается евнухом, пресечет свой род и упорным трудом постарается искупить бесчестье.

Синга опустил глаза долу. «Я погиб, — сказал он себе. — Моя мать точно умрет от стыда, отец острижет свои волосы и покроет лицо сажей, мой дом разорит ветер, и мое имя пропадет из мира. Я приму изгнание... Кем я стану? Светлячком в бычьем пузыре Куси? Падальщиком? Вором?» Перед его глазами сразу возник образ голодного грабителя, покачивающегося на ходу, спящего с открытыми широко глазами. «Так вот в чем провидение Отца! Я превращусь в этого, голодного... Ну конечно! Теперь все ясно: я уже был им, когда пытался ограбить холеного и сытого ученика Сингу. Теперь я вновь стану тем другим, голодным и страшным, и сам на себя начну охоту!» Синге хотелось упасть на землю, заплакать, попросить пощады, но в это мгновение он почувствовал на себе взгляд Тиглата — не скучающий и снисходительный, как прежде. Нет — пронзительный и яростный.

— Я виновен в этом преступлении! — Тиглат встал во весь свой огромный рост, и среди учеников прокатился удивленный вздох. Учителя замолчали, кто-то отвернулся. Фигура Тиглата, освещенная закатным солнцем, отбросила на них огромную тень. Тиглат смотрел прямо перед собой так, словно он взглядом пытался сразить невидимого врага.

Это был момент его наибольшего величия. Всем было ясно, что слова его — ложь, но никто не смел говорить слова против.

— Я сам иноземец, — произнес Тиглат. — Я — дурной человек от дурного семени. Но я познал Скрытого Бога и мудрость Отца Вечности так, как может познать его любой другой человек. Поэтому только я хотел передать свои знания другим дурным людям от дурного семени.

Синга заметил, как исказилось лицо Главного евнуха, — так, будто кто-то вонзил нож в его необъятный живот.

— Я думал, — медленно произнес евнух, — что это вина Синги.

Тиглат усмехнулся:

— Синге недостает ума на то, чтобы обучать диких тхаров.

Синга было вспыхнул, но тут же одернул себя: «Он меня спасает. Почему?!»

— Ну что же... — произнес Главный евнух. — Если ты виновен — выбери свою участь.

Эти слова, сказанные вполголоса, услышали все. Уту и Каас переглянулись. Они, похоже, были довольны таким исходом, но старались не выдавать своей радости. Краем глаза Синга заметил, как Наас осел на пол, схватившись за сердце. Его губы беззвучно шевелились — старый богохульник славил богов.

— Я выбираю изгнание! — сказал Тиглат, и от голоса его задрожали темные своды залы.

— Да будет так! — произнес наставник Каас. — Отныне ты один под злым солнцем! Нигде не найдешь ты себе приюта. Твоим братом будет ветер пустынь, пищей твоей — скорбь и лишения. Если ты захочешь утолить жажду — река повернет вспять, если будешь искать тени — листва на деревьях

опадет. На земле не останется твоих следов, жилище твое разорит ветер, а имя твое пропадет из мира.

Тиглат молча выслушал страшные слова. Не оглядываясь, он вышел из обеденной залы во двор. В правой руке он держал глиняную миску, из которой едят послушники, — в одночасье она превратилась в чашу для подаяний. Наставники и ученики последовали за ним. Всех охватило какое-то смятение. Синга ступал вместе с другими, боясь в эту минуту остаться в одиночестве. Внезапно он почувствовал, что вышел далеко вперед и оказался рядом с Тиглатом. Солнце уже зашло, и над Хараамскими горами стали видны первые звезды. Забыв все свои страхи, Синга подошел поближе к Тиглату и шепотом спросил:

— Зачем ты это сделал, брат? Ты принял мой позор на себя.

— Зачем? — лицо Тиглата прояснилось. В нем не было больше ни скуки, ни презрения. — Я просто хотел уйти из Храма. Я уже давно собирался с духом, но все как-то… Это — тюрьма, в которой слепые сторожат глухих. Знания умирают без света, мудрость чахнет без свежего воздуха.

Синга почувствовал спиной пристальный взгляд Главного евнуха.

— Я, я не понимаю, — пробормотал он.

— Когда-нибудь поймешь, не так уж ты и глуп. Скажи лучше вот что… Ты помнишь того несчастного человека, что умирал на улице от страшной раны?

Синга не ответил. Он только что вспоминал о нем, как вспоминал много раз до того. Не дождавшись ответа, Тиглат продолжил:

— Когда я склонился над ним, чтобы прочесть молитву, он шепотом поведал мне о своем несчастье. Он был пастухом, этот нищий. Пас коров своего хозяина на восточных холмах. В ту пору стояла самая страшная жара. Луга без дождя совсем высохли, трава пала, показались мышиные норы. В один жаркий день он, отчаявшись, выгнал коров на поле какого-то редума. Об этом узнали, пастуха схватили и притащили на суд. Его признали виновным и велели выплатить шестьдесят гуров зерна. Пастух жил с младшим братом в жалкой лачуге и не смог бы за целый год собрать и трех гуров. Пастух пошел к своему хозяину, чтобы попросить о помощи, — ведь он попал в беду, спасая хозяйских коров. Но хозяин прогнал его прочь. Тогда пастух обратился к старейшине общины, но и тот дал ему всего пять гуров. Несчастный пошел к тамкару, который давал зерно в рост, и заложил у него хижину, серп и мотыгу. Все свои одежды он отдал за бесценок. Целыми днями он лежал на земле, как покойник, и шепотом молил богов об избавлении. Тогда его младший брат, который едва подвязал свои бедра, сказал ему, что сделается рабом и уйдет из Бэл-Ахара вместе с хозяином. Оказалось, что какой-то проезжий человек уже предложил ему медь за свободу. Горе пало на пастуха как тень, и он решился на кражу. Так получилось, что он, соблюдая один закон, преступил иной, более тяжкий. Он воровал зерно, а это карается смертью. Вскоре он расплатился с редумом и остался ни с чем. Теперь ему было уже все равно, что и у кого отбирать. Правда, он еще никого не убивал, но, думаю, со временем дошло бы и до этого...

Синга не верил собственному слуху. Он ведь был там и все видел. Нищий не сказал ни слова и не поднял головы. Выходит, Тиглат врет... нет! Синга чувствовал, что каждое сказанное им слово — правда, и это вгоняло в трепет. Выждав немного, он облизал пересохшие губы и произнес:

— Я не понимаю, к чему ты это вспомнил.

Губы Тиглата тронула горькая улыбка:

— Все, о чем я рассказал, случилось здесь, под стенами Священного города и в стенах его. Отец Вечности взирал на это с вершины храмовой горы и молчал. Он смотрел на него из каждого окна, с каждой крыши, из каждого переулка — человечьими глазами, кошачьими, птичьими. Но он не приблизился, он не подошел, не коснулся его руки. В мире много городов, но ни один из них не свят. Я долго думал об этом… Я хочу отправиться в путь, узнать, чем

живет мир людей, как можно помочь их невзгодам. А ты заверши свою работу, перепиши Скрижали Рассвета. Это очень важно.

Сказав это, он пошел прочь, как был, налегке. Все ученики, служки и евнухи видели, как ушел Тиглат, как он вышел за ворота и как спустился по дороге, ведущей в нижний город. Он замедлил шаг у сухого фисташкового дерева, протянул к нему руку и коснулся кончиками пальцев тонких веток. Сделав так, он продолжил свой путь и вскоре скрылся за поворотом. Тогда никто не придал этому большого значения, а наутро почти все забыли этот странный прощальный жест, но через три дня случилось небывалое: дерево покрылось зеленью и расцвело кровавым цветом. И уже не было дождя в ту пору, и не было даже самой малой тени. Дерево просто распустилось красными кровяными гроздьями, и все обрадовались этим цветам. Простые люди принесли жертву архонтам, и кровь снова побежала по керамическим желобам. Так много было цветов, и так много было затем орешков, что все послушники в тот год насытились, и осталось еще для продажи. Никто не говорил об этом вслух, но ученики были уверены, что это случилось по вине Тиглата.

Сергей Бирюков

Хлебниковиана

На протяжении N-лет — непредумышленно — наряду с эссе и исследовательскими текстами о Велимире Хлебникове появлялись тексты другого рода, из которых сложилась своеобразная Хлебниковиана. Может быть,она не случайно вызрела в год 130-летия поэта... Нужно было вчитаться, вслушаться в эти глубокие касания в области языка, когда извилины мозга, сосуды сердца воплощались в слово... Звук отзвучивал палиндромически.
Слова образовывали тени, как будто слова были живые существа, порождения внутренних импульсов.

Мирооси данник звездный
Я омчусь как колесо, —
Пролетая в миг над бездной,
Задевая краем бездны,
Я учусь словесо.

(1907)

Рождалось необыкновенное «словесо» — колесослово, словоптица. Словно виды и роды обменивались признаками. И дерево становилось птицей, и птица вырастала деревом. И пространство озера становилось мерилом времени. Наложение неба на озеро и озера на небо было решением богов задачи преодоления разрыва между временем и пространством.
Пифагор и Леонардо, Евклид и Лобачевский, Ка и Эйнштейн, хаос и космос, логос и голос...
...Ветка вербы как продолжение руки. Тело как трансляция космических энергий. «Органопроекция» — по чудесно обретенному слову Павла Флоренского, возведенного Велимиром в ранг Председателя Земного Шара.
Размах крыльев совы и прыжок пумы. Так разворачивалось слово пружиной часов, превращая пространство во время.
И небо, плывущее в озере, и озеро, плывущее в небе.
Арифметика становилась грамматикой.
Голос кукушки преобразовывался в цвет волны.

С.Б.

Окликание

что Хлебников птицей нахохлился
что Хлебников шелестящим орешником
что бобэоби
что малыш Хлебников
что Хлебников в солдатской фуражке
что Велимир в мордовской шапке

Сергей Бирюков (1950) — поэт, литературовед, исследователь теории и истории русского авангарда. Окончил филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Как поэт и критик дебютировал в начале 1970-х гг. Автор множества поэтических книг. Основатель и президент Международной Академии Зауми. Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине и Международной премии им. А. Крученых.

что Зангези
что шелест и шепот
что речь речи речики речики
что зинзивер
зиив чуив челять чул
чу-у-у-у

(последние звуки произносятся
с медленным затиханием)

***

Нам непривычен
облик-Хлебников.
Не угадали — это он ли?
Деревьев выстывшие комли
давным-давно
не ждут посредников.
Но до столицы и до Вятки
вы чуете дрожанье ветки.

***

рисунок роли
вечер моря
квадрат заученного полдня
где приблизительно
и точно
замирное безмерным полня
все также
но уже иначе
препостигая Велимира
путями родовыми
начат
где полнится
и плачет лира

Перформанс одиночества в память о Велимире
(описание)

в полном одиночестве
в пустой комнате
плеснуть немного спирта
на дно стакана
встать посредине комнаты
повороты на четыре стороны
острая влага брошенная
в глотку
тихое произнесение имени
— проступает портрет Велимира
на стене

Еще раз... о В.Х.

о Хлебников,
о ночь густая
о волглая трава
с надрывом
когда страницы книг листая
мы смотрим в очи с перерывом

нам полагается надменно
судьбе своей противоречить
и вилку вытянуть из речи
не каждому дано наверно

а ночь насквозь уже проволгла
и съежилась трава к рассвету
и внемля дикому навету
Улыба хохотала долго...

***

ткачики — это птичики
рисования велимирово
ткачики гнездышки ткут
ткачики летут

Теорема Хлебникова

еще не решена

Теорема Хлебникова

словно ископаемое
прячется в песках астраханских
или персидских

Теорема Хлебникова

возможно всплывет
в Каспии
в калмыцкой степи
водах Волги
Ганга
Янцзы
Амазонки

Теорема Хлебникова

крепкий узел
числа 317

Время Велимира
(встреча в Риме)

Alessandre Moretti

открываю дверь в рим
открываю дверь в мир

а за дверью велимир

время велимира
время велимира
в риме велимир
в мире велимир

если верно что дороги
все ведут в рим
или до рима
то есть в мир
до самого мира
значит верно
время велимира

тик так время
тик так время
время велимира

ноги сбиты о рим
мы идем говорим
время велимира
время велимира
время велимира

В облаке

хлебников пишет письмо двум японцам
он призывает открыть оконца
он призывает расширить околицу
он призывает построить дом
состоящий из волокон
он призывает
открыть новую эру
великий азийский союз
он росчерком пера
прекращает войны
он времени ловит волны
и ему откликаются японцы
из страны солнца
он читает на облаке
их письмена
где пересекаются времена
как параллельные лобачевского
ему пишут — велимир-сан
ты приходишь сам

ты открываешь пути
по которым нам вместе идти
ты созидатель тенекниг
ты словно тигр тих
перед прыжком
ты аум
переходящий в ОМ
АУМ----ОММММММММММММ

Иранская песня

(Хлебников в Персии)

Персам я сказал, что я русский пророк.
Велимир Хлебников

в Персию тянет Велимира
в Персию
песней слышится
Персия
туда к Востоку
все-таки
он верит
начало песни
там
в Персии
и белыми песками
босой
поэт
и тихо поет
и в хате хана
учит детей
исчислению времени
отринув?
Нет! Приняв
тайну лебединого крыла
цапельной поступью
берегом Каспия
с детства родного
погружением
или отплытием
обретением невесомости
парением
и назван Гуль-муллой
священником цветов
находящийся одновременно
в параллельных мирах
в пробуждении огня
где персы пели
ему слышимое им
и в песках зеркально
отражено письмо
письма сестре
теплый ветер
овевает
овевает
овевает

***

о времышах говорил Велимир
как будто время вошло в мышь
и побежало зигзагами — не уловить
нет шалишь
время все-таки надо лить
из кувшина в таз
как будто мыть
год день и час

Реконструкция

(вариационный метод)

О достоевскиймо
Велимир Хлебников

о достоевский мо
о достоевский ло
о достоевский но
о достоевский ро
о достоевский со
о достоевский до!

о достоевский зо
о достоевский во
о достоевский то

о достоевский ре
о достоевский ми
о достоевский си
о достоевский соль!

о достоевский ты
о достоевский вы
о достоевский ды
о достоевский зы
о достоевский ры
о достоевский бы
о достоевский мы!

о достоевский э
о достоевский ю
о достоевский я!

о достоевский хо
о достоевский че
о достоевский шо

о достоевский бо!

В музее Хлебникова

А.А.Мамаеву

когда бы вы сказали Велимиру
что будет здесь музей
он может быть спросил бы
крошку сыру иль ложку щей

но есть музей и облик Велимира
в кругу друзей
и оживает и лепечет лира
и зинзиверы вторят-творят
ей

ты зинзивер ты грозная синица
кузнечик лепестков и солнцевер
возьми и это слово
пригодится в твоем пути
на поиск числоэр

о озари сияньем лебедиво
и да пребудет присно
Ладомир
да сбудется сим победиво
божественный твой мозг
о Велимир

Анна Кирьянова

Опыты жизни

О правителях

Страшно, наверное, было жить при правлении Хуанны Безумной. Или вот — Филиппа Одержимого. Карл Жестокий и Иван Грозный тоже внушают тревогу. Николай Кровавый тоже звучит неприятно. А мне нравится испанский король Филипп Добросовестный. Его так за добросовестность прозвали. Присущую всем олигофренам. И это ничего, что он был олигофрен. Зато никого не мучил и ничего плохого не делал лично. Гранды — те да, воровали, грабили народ, бесчинствовали... А Филипп как начнет с утра одеваться — так до вечера добросовестно одевается. Аккуратно, размеренно. Или указ добросовестно по складам читает и печатными буквами подписывает. Неделю. Цветочек нарисует в углу... Милый человек. И скончался мирно. В кресле. Задохнулся от дыма из камина. Пока искали гранда, который отвечал за то, как кресло передвигать...

Когда тяжело на душе

и кажется, что энергия куда-то делась; и интуиция может обмануть, и психологические способности иссякли, и все горести пациентов обрушились на меня, и злые люди пишут и говорят всякие гадости, я не начинаю работать с чакрами или делать какие-нибудь упражнения. На голове стоять или твердить заклинания. Я вспоминаю о радостном и веселом. О тех, кто меня любит. И понимает. О детях. Дети безошибочно чувствуют душу человека. Их трудно обмануть. Можно, конечно, заманить конфетами или обещаниями. Как всех нас. Но в основном они все чувствуют и понимают. Что еще раз доказывает, что душа — она врожденная, мы с ней приходим и уходим. И души всегда узнают друг друга. Как один маленький мальчик в кафе-мороженом. Он там справлял свой день рождения; наверное, третий. Родители его привели, а с ним — двух таких же крошечных мальчиков. Колпачки такие на них надели. На столик пирожное поставили, мороженое. Большие стаканы с колой. И мальчик довольно скучливо сидел и глядел на других мальчиков. А они — на него. Вообще никакого веселья и очень натянутая атмосфера. Как у нас, у взрослых. И вот

Анна Кирьянова — родилась в Свердловске. Окончила философский факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы и поэзии, романа «Охота Сорни-Най». Рассказы и стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», альманахах и сборниках, в том числе в антологии Макса Фрая, отдельным сборником стихи издавались «ЮНЕСКО». В течение 25 лет работает частнопрактикующим психологом. Вела авторские психологические программы на телеканалах «АТН», «ОблТВ», «4 канал», «АСВ», «41 канал» и др.

мальчик посмотрел на меня. Улыбнулся. Робко сначала, а потом залихватски. Начал хлопать ладошками по столу. Сильнее и сильнее. Так, что кола стала выливаться. Колпачок на ухо сдвинул. Захохотал. От меня просто глаз не отрывает. Разошелся не на шутку. И, глядя на меня, схватил другого мальчика за грудки и отвесил ему такую шутливую, но ощутимую оплеуху. Тут родители закричали, вмешались, я тихонько ретировалась. Но на прощанье мальчику помахала... Другая девочка на курорте вообще еще разговаривать не умела. И родители ее были турки. Но при виде меня этот младенец срывал с себя кружевной чепчик и махал им, зажав в кулачке. Это был привет ангелов звездам, как писал Гюго. А недавно одна женщина пришла на прием и привела с собой маленького сына. Его оставить не с кем было. И он тихонько сидел на стульчике, воспитанно молчал и слушал, как я страстно и уверенно настраивала женщину на победу в борьбе с врагами. Включив всю свою силу, энергию и волю. И в конце приема мальчик мне задал вопрос. Который, признаюсь, поставил меня в тупик, хотя и польстил. Он с восхищением спросил: «Тетя, вы можете переплыть Визовский пруд?» И даже сейчас я об этом вспомнила, и силы появились. И настроение поднялось. И думаю, если буду тренироваться и верить в себя, может, и смогу пруд переплыть. И дальше успешно работать и помогать людям.

О потерянной любви

Настоящая любовь не имеет никакого отношения ни к возрасту, ни к полу. Ни к физиологии вообще. Она просто есть — и все. Это я давно поняла. Это такое невероятное чувство притяжения, понимания, радости от присутствия человека, что ни с чем даже сравнить нельзя. Просто — восторг и радость души, когда даже мурашки по коже. И это хорошо понимают дети, которые далеки и от возраста, и от физиологии. Они просто любят восторженно — и все. И меня так любил один мальчик семи лет, Сережа. Просто безумно. И я его тоже любила, конечно. Он бежал по двору и бросался мне в объятия. И повисал на шее, и крепко обнимал. И глаза у него так и сияли. От любви. Но, поскольку я уже была подростком, страстные чувства этого мальчика вызывали смех у других детей. Все потешались. Наверное, со стороны это нелепо выглядело, когда маленький мальчик виснет на шее у почти взрослой девушки. И я при встрече как-то стала его осторожно отодвигать. И ласково здороваться, но уже без объятий. И он, как все истинно любящие, все понял. И, конечно, продолжал ко мне подбегать, но уже не так пылко. А вполне сдержанно. В такой, знаете, шапке с мысиком на лбу, вроде конькобежной. И варежки на резинках болтались. А потом он упал на катке, повредил ножку коньками и умер от заражения крови. И больше уж никто не подбегал ко мне, визжа от невероятной любви и радости. За последние тридцать лет. И совершенно душу переворачивает мне стихотворение Некрасова, который был великий лирик. «Еду ли ночью по улице темной, бури заслушаюсь в пасмурный день — друг беззащитный, больной и бездомный, — вновь предо мной проплывет твоя тень»... И я поэтому очень не люблю, когда меня обнимают чужие люди. Просто есть с чем сравнивать. А своих я сразу узнаю. Какими бы удивительными и странными они ни были. В них есть что-то такое Сережино, искреннее. И я их тоже всегда обнимаю.

О бедности

В биографиях великих писателей часто пишут о нищете и бедности гениев. О трудных, так сказать, бытовых условиях. И мне в детстве было очень жалко этих бедных писателей. Но потом я стала вдумчиво читать. И сочув-

ствия поубавилось. Достоевский в Швейцарии дошел до настоящей нищеты. Он в рулетку играл. И проиграл все деньги. Дьявольски не везло. И он стал таким бедным, что вынужден был отказаться от кухарки. И заложить семейные драгоценности. Хорошо, что мне не грозит такая нищета. Кухарки никогда не было. Семейных драгоценностей тоже. Марина Цветаева в Париже жила в бедности. Даже в нищете. Каждое лето на четыре месяца надо было ехать на море. А денег не хватало. Добрые люди помогали, чем могли. Саломея Адронникова-Гальперн отдавала треть своего жалованья. И некоторые другие так поступали. Но делали это не очень регулярно. Что отражалось на семье поэтессы. За стихи платили очень мало. Муж не работал. Потом уже стал работать. На НКВД. Бедность довела. И очень трудно было платить за трехкомнатную квартиру в центре Парижа с ванной и двумя комнатами для прислуги. Хорошо, что у меня двухкомнатная на Эльмаше... И бедность до того дошла, что в центре комнаты стоял мусорный ящик. И прыгали блохи. Как результат мучительной бедности. И багаж этой нищей поэтической семьи, который они привезли в Советский Союз, вернувшись обратно, не входил в комнату. Если собрать все мои вещи, не считая мебели, выйдет три чемодана. Примерно. Мусорный ящик, наверное, занимал много места... А Эдгар По был беднее всех. Он от бедности, как пишет биограф, пил неразбавленный джин. Я всегда полагала, что от бедности старушки продают ненужную утварь и жалкие герани. И плохо кушают. И роются, извините, в мусорных ящиках. Которые у по-настоящему бедных поэтов гордо стоят посреди комнаты. В Париже.

О мужских решительных поступках

От мужчин всегда ждут решительных поступков. Масса конфликтов происходит из-за того, что мужчина не принимает решения. Не совершает мужского поступка. Уклоняется от ответственности. Это всегда раздражает женщину и вызывает чувство обиды. Поэтому я вам расскажу о решительном поступке трех свирепых и смелых горцев, черкесов по национальности. Это были два брата и один их друг. Даже имена их уже намекали на свирепость и смелость. Их звали Амир, Фарух и Джафар. Я вылечила их маму, которая к ним приезжала. И в знак глубокого уважения и признательности эти черкесы пригласили меня на праздник в мою, так сказать, честь. Они на Вторчермете дом снимали, где и жили со своими женами и детьми. И я поехала, потому что тоже решила проявить уважение. Да и, честно сказать, много читала об обидчивости свирепых горцев и кровной мести... И праздник начался и проходил вполне хорошо и пышно. Кроме того, Амир, Фарух и Джафар решили в мою честь зарезать барашка. Так полагается из уважения. Дикий и жестокий обычай. Они привели барашка. Принялись очень решительно расхаживать вокруг него с ножиком. Говорить между собой на своем языке. Сверкать черными глазами. Готовиться к убийству. Я лепетала, что не надо никого резать. Но суровые и жестокие горцы не слушали меня. Они между собой спорили и даже принялись ругаться и, видимо, говорить друг другу разные обидности. Страшные, дикие люди. С ножиком. Они ругались очень долго и наконец пришли к согласию. Ко мне очень решительно подошел Джафар. Протянул ножик. И заявил: «Аня у нас — девушка-джигит. Пусть Аня и режет барашка». И видно было, что все трое испытывают глубокое облегчение. Никто из них не хотел резать бедного барашка. И они нашли отличный выход — свалили все на меня. И ножик дали... В итоге барашка мне подарили и даже привезли его ко мне домой. Где этот барашек пробыл почти сутки и чуть с ума меня не свел. Потом друзья на машине его в деревню отвезли и подарили местным жителям. А ковер выбросить пришлось. А ножик на память остался. Чтобы я не забывала о важном уроке. И тогда, двадцать

лет назад, я все поняла о мужской решительности. Почему они решение принять не могут и на девушек-джигитов сваливают. Им просто жалко барашка. Даже таким вот свирепым горцам...

Об отличных оценках

Моя бабушка была учительницей русского языка. А во время войны она служила в военной контрразведке. И поэтому тетради учеников проверяла очень строго. Сурово, я бы сказала. Вечером сядет перед горой тетрадей и проверяет. И ставит очень строго оценки. То кол, то двойку, то тройку. А я, маленькая, играла рядом. И внимательно слушала бабушку, которая мне разъясняла, какие ошибки делают ученики из-за неграмотности и невнимательности. Поэтому я уже в четыре года была довольно грамотной. Но еще я была очень жалостливой и доброй. И я прямо всю ночь не могла уснуть, представляя, как ученики получают свои тетрадки, а там — колы да двойки... Я все думала, как они заплачут. Огорчатся. Может, даже заболеют от горя. И я тихонечко ленинградской белой ночью встала и взяла бабушкину ручку красную. И терпеливо во всех тетрадках вывела цифру «5». Довольно кривобокую, но вполне ясную. А плохие оценки зачеркнула. Потому что не надо никого огорчать. Ребята старались, писали письменными буквами. Которые я еще не умела даже читать. Пусть им за это будет пятерка. Пусть улыбаются и еще лучше учатся. Вот такой мелкий случай из моей жизни. И я думаю, что невидимые ангелы тоже очень добрые. Как некоторые дети. И, может, они тоже тихонечко смотрят, что мы написали. Что сделали. Как старались. И в последний момент они тоже могут перечеркнуть плохие оценки, которые нам суровая жизнь выставила, и поставить «отлично». За старание. И чтобы мы не огорчались...

Воспоминания о прошлом

Однажды на телекомпании, где я работала, устроили вечеринку. И пригласили рекламодателей, которые приносили доход. Чтобы сделать им приятное и укрепить сотрудничество. Я не люблю вечеринки. И вынужденное общение — особенно. Недаром считается, что в тюрьме люди больше страдают не от лишения свободы, а от вынужденного общения с сокамерниками. И я тихо сидела в уголке и размышляла. Особенно меня раздражала такая крупная высокая женщина, которая громко кричала и хохотала, простите, как гиена, собственным шуткам. И выражалась. И была разряжена, как трансвестит... И ко мне обращалась на «ты», рассказывая о своих проблемах «с мужиками». Я пошла одеваться в гардероб, а она — за мной. Кричит, шумит, задает личные вопросы... Я раздражилась донельзя, но терплю. Приличия соблюдаю. И вдруг эта вульгарная тетка пристально смотрит на меня и спрашивает: «А у тебя случайно не было в детстве собачки Белочки?» А у меня была собачка Белочка. Когда я еще маленькой девочкой жила у родственников в чужой семье. И была не очень счастливой маленькой девочкой. И пелена упала с моих глаз; вот все встало на свои места. Я узнала девочку Люсю, с которой гуляла во дворе вместе с собачкой Белочкой. И Люся была сирота и жила с дедушкой. И мы с Люсей прятали собак дворовых от собачников, которые на специальной машине ездили по дворам с крюками и веревками. А мы прятали щенков внутрь деревянной горки и кормили их. И вместе побили мальчишку-садиста, который мучил котенка. И Люся была такой бледной и худенькой девочкой с косичками. Как и я. И мы узнали друг друга и даже прослезились. И Люся перестала орать и выражаться, и мы тихо и нежно поговорили обо всем. И я вспомнила слова Платона о том, что любовь и дружба — это просто узнава-

ние тех людей, которых мы знали еще до рождения. Мы их просто узнаем, вспоминаем и начинаем любить с такой же силой и нежностью, как прежде. Хотя сами не знаем почему. Самое трудное — это узнать, вспомнить. Увидеть сердцем...

О бездарности

Император Нерон был страшным человеком. Его кровавые злодеяния просто ужасны. Мучил и убивал людей, предавался разврату, наслаждался чужими страданиями, отбирал имущество... До самоубийства доводил. Даже Рим поджег. И все как-то сходило ему с рук. Как многим кровавым тиранам. И свергли его из-за сущей ерунды. Нерон повадился петь и танцевать в театре. Пел и танцевал он бездарно. Плохо. Зрителей насильно удерживал и принуждал аплодировать. И вот этот пустяк вывел людей из себя. Народ и сенаторы возроптали и свергли Нерона. И в летописях описываются его чудовищные преступления. Но даже великие историки все время сбиваются на упоминание о бездарных песнях и стихах тирана. Понятно становится, как он всех достал и разгневал именно своим так называемым творчеством. И, сидя в театре или на поэтическом вечере, иногда чувствуешь такую же неловкость и злость, как зрители на концертах тирана. Мне лично становится невыносимо стыдно, как будто я сама выступаю на сцене с бездарными виршами или танцами. Просто не знаешь, куда глаза девать. Телевизор сразу переключаешь, когда бездарные актеры играют в бездарном фильме. Потому что очень стыдно за них. Или вот один писатель хорошо написал о выступлении психолога: «Как тяжело, как стыдно слушать, как он говорит, словно лопатой скребет по асфальту...» Чехову вообще физически плохо становилось, когда приехавшие к нему литераторы читали свои пьесы и рассказы. Он деликатный был человек. Может быть, оттого и скончался рано. И странно, что так на нас действуют неопасные и вполне обычные вещи. Ну, играет человек плохо. Ну, написал галиматью. Ну, читает вслух или публикует. Ну, потерпи, послушай, похлопай. Ведь ничего плохого он не делает. Никого не убивает, не мучает... В том-то и дело, что мучает. Как вот пенопластом водят по стеклу, и звук такой невыносимый получается. И становится тошнотворно плохо. И начинаешь понимать, почему в Риме и Древней Иудее предусматривались физические наказания для бездарных актеров. Наказывают же бездарных врачей. Полководцев. Строителей. Потому что они причиняют вред. Мне большой вред нанесли строчки одного поэта: «Следы остались на дороге: здесь пробежали чьи-то ноги». Меня буквально преследуют теперь эти страшные, отдельно от туловища бегущие ноги. А слушать пришлось. Как-никак литературный вечер. И даже пришлось аплодировать, как Нерону. И хочется мне повторить слова Аверченко, которые он сказал молодому писателю: «Вы милый, добрый человек! У вас вся жизнь впереди! Пожалуйста, не пишите!»... А бездарным актерам и поэтам пусть попадется такой же бездарный психолог. Который говорит, как лопатой скребет по асфальту...

О комплексе спасителя

В последнее время читаю советы психологов. Раньше в основном так американские коллеги рассуждали. А теперь и наши соотечественники принялись внушать: не надо ничем жертвовать. Если вам захочется помочь человеку пьющему, больному, несчастному, — это вы сами больной. Психически. Это у вас комплекс спасителя. Или — спасительницы. Надо в любых отношениях в первую очередь заботиться о своих интересах. Чтобы вам лично было хорошо и удобно. Сразу, так сказать, определить границы в отношениях с мужчиной,

например. Это — мое. А это — твое. Это — мои проблемы. А это — твои. И, если что не так, отношения следует рвать. А лучше всего — и не начинать их вовсе. А то вдруг человек окажется недостойный. Или пить примется. Или заболеет. И, конечно, помешает вам жить. Делать карьеру. Деньги придется тратить, усилия прилагать. Вот зачем вам это надо? Живите для себя. Разумный эгоизм. В 19 веке доктора Гааза, который даром лечил тех, кто сидел в тюрьме, вымаливал для них прощение у властей, на каторгу провожал и делился деньгами, называли святым доктором Гаазом. А нынче психиатры пишут, что он страдал мазохизмом и комплексом спасителя. И, если женщина спасла алкоголика или наркомана, как жена Булгакова, если вышла замуж за инвалида или бедняка, — она попросту ненормальная. С комплексом спасительницы. Надо было поискать нормального, обеспеченного человека. А калеку немедленно бросить. И жить для себя. Делать карьеру, вкусно кушать, сладко спать и заниматься духовным развитием. Посещать тренинги и другие интересные мероприятия для духовного роста. И мне вспомнились показания одного юноши из уголовного дела столетней давности. Была такая секта — скопцы. Они добровольно лишали себя, извините, органов воспроизводства. Из высоких духовных соображений. И один скопец, одинокий богатый человек, начал заманивать юношу в эту секту. Предлагая отрезать некоторые части тела. И привел паренька в подвал. И показал ему полный сундучок золотых монет. Видишь, говорит, как я богат! Сколько у меня золота скоплено! А все потому, что у меня нет жены-транжиры. Детей-спиногрызов. Я один. И все тебе оставлю. Да и ты немало скопишь, если последуешь моему вдохновляющему примеру. Юноша в ужасе убежал и дал показания в полицейском участке. И я бы убежала. И даже показания бы дала. Потому что любовь и совместная жизнь невозможны без жертв и спасения. И никакой сундучок с золотыми монетами не заменит милосердия и сострадания. А комплекс спасителя — мне нравится это название. Потому что я знаю, кого Спасителем называли.

О славе и Пушкине

В Екатеринбурге меня многие знают. А в Санкт-Петербурге — немногие. Но и там я стала знаменитостью однажды. Среди китайцев. Мы с ними ждали «Метеор», чтобы плыть в Петергоф. И я с одной китайской туристкой разговорилась. По-английски. Милая такая китайская женщина. И я ей рассказала, что мой дедушка воевал на финской, на Отечественной, а потом — в Китае. Сбил десять американских самолетов. И Мао Цзедун подарил ему на личной аудиенции свой портрет. Дедушка живет в Пушкине. И китаянка стала очень оживленно и громко что-то кричать по-китайски. И меня окружила целая толпа китайцев. Они показывали на меня пальцами, и качали головами, и восхищенно переглядывались. Я даже покраснела от удовольствия. Что так им пришлись по душе подвиги дедушки. А китаянка говорила громко, уже по-английски: «Смотрите, это внучка Пушкина!»

О шахматах

Давным-давно я была совсем маленькой девочкой. Такой маленькой, что, когда меня спрашивали, сколько мне лет, я показывала три пальчика. Хотя мама меня уже ругала за это. Надо было голосом отвечать: три годика. И я преотлично помню все, что происходило. И одну странную историю помню. Про шахматы. Папа играл на гитаре, мама — на рояле. Шахмат дома не было, и они мне очень понравились, когда я их впервые увидела. В гостях. Мы с мамой пришли в гости к ее пациентке, Бэлле Соломоновне. Тогда это было нормально — доктор мог подружиться с пациентом и пойти в гости. Чаю по-

пить, поговорить об искусстве. Тогда врачи и пациенты разговаривали об искусстве. Бэлла Соломоновна была очень старая. Лет сорока с лишним. Седые волосы. Очень добрая. Она мне подарила замечательные карандаши. И даже дала бумагу, усадила за стол в другой комнате и разрешила рисовать. И все трогать, что я хочу, а не только глазками смотреть. И они с мамой пошли пить чай. А на столе стояли шахматы, в коробке. Я коробку открыла и стала удивительные фигурки рассматривать. И в комнате как-то появился большой мальчик. Он мне стал все объяснять. Как фигурки расставлять. Как они называются. И даже успел объяснить, как пешка ходит по доске, на другую клеточку. Мальчика звали Павлик. Он был очень взрослый, но ласковый и добрый. Я улыбалась и фигурки расставляла. И мне было совсем не скучно. Потом в комнату зашли мама и ее пациентка. Мама изумилась, как я фигурки расставила. Вас разве в садике учили? — спросила. А я плечами пожала. Потому что прекрасно поняла, что про большого мальчика говорить нельзя. На прощанье Бэлла Соломоновна меня поцеловала, погладила по головке. Она была очень грустная. И мы с мамой пошли домой. И по дороге мама мне рассказала, что Бэлла Соломоновна оттого грустная, что у нее год назад умер сын, Павлик. В пятнадцать лет. Сердце остановилось. А он был подающий надежды юный шахматист, очень добрый и хороший мальчик. И это его шахматы были. И было мне так грустно на душе и радостно. И потом, уже во взрослой жизни, теряя самых любимых и близких, я имела силы не отчаиваться до предела. Меня очень шахматы утешали. Не сами, конечно, шахматы — я в них так и не выучилась играть. А вот эта давняя история. Из которой я не вывожу никакой морали и не делаю выводов. Просто искренне рассказываю о том, что было. Взаправду, как мы в детстве говорили.

О Юпитере

Я часто погружаюсь в свои мысли. Почти всегда. Все размышляю и размышляю. О связи событий окружающего мира и внутреннего состояния человека. Думала: как прекрасно было в греческих пьесах устроено. Попал человек в безвыходное положение. Спереди — засада, сзади — западня. Выхода нет. Враги одолевают. Молнии сверкают. Земля горит под ногами. Полное отчаяние. Или, как говорил пациент-уголовник, амба. И тут человек взывает к богам. Предположим, к великому Юпитеру. И вызывает его на подмогу. И сверху на сцену спускают при помощи такого приспособления, машины, этого бога на веревочке. И он решает все проблемы несчастного героя, все улаживает, приводит к счастливому избавлению. Здорово вызвать Юпитера! Взять бы и вызвать! И в этих размышлениях я, конечно, забыла снять квартиру с сигнализации. У подъезда машина затормозила. В дверь позвонили. Сотрудники охранного предприятия. Один такой крупный красивый мужчина. Величественный. С ним два спутника. Помельче. Прошли в квартиру, все проверили, меня немного поругали за невнимательность. Дали бумажку расписаться. Один экземпляр себе, один — мне. И так же величественно удалились в свою машину. Я посмотрела на бумажку в расстроенных чувствах. А там написано крупными буквами: «Вызов ложный. Старший смены Юпитер Гиздуллин...»

Об утешениях

Есть дежурные утешения. Бессмысленные и беспощадные. Потому что только подчеркивают безразличие человека к вашей беде. Даже писать их не хочу. А есть утешения нелепые. Глупые. Бесполезные по сути. Но очень действенные. Как по столу стукнуть за то, что ребенок об угол ушибся. Или подуть на царапину. Или сказать: «Ничего страшного! Мы с тобой еще горы

свернем!» — хотя какие горы? И зачем их сворачивать? Но утешает почему-то. Меня редко утешали во взрослой жизни — как и всех, наверное. Поэтому и запомнилось. Недавно паспорт меняла. Очередь, все злятся, присесть негде. Страшные лампочки под потолком, люди ругаются и кричат. Ужасно. Обычная история. Я огорчилась, конечно. Опаздываю. Вслух говорю об ужасной организации дела и плохом отношении к людям. И сосед по очереди, очень колоритный мужчина с железными зубами и кольцами на пальцах — к сожалению, нарисованными, — меня утешал. «Не расстраивайтесь, говорит, дама! Я двенадцать лет без паспорта жил. В смысле, сидел. И сейчас у меня только справка об освобождении. И ничего. Я вас вперед пропущу. Потому что вы инженер и можете на симпозиум опоздать. Это по вам сразу видно. Вам паспорт нужнее. Дорогу ученым, граждане!» Утешительно думать, что производишь приятное впечатление на людей. Благодаря очкам и пальто. А в другом случае, в Эрмитаже, тоже внешность помогла. Я с маленькой дочкой стояла в громадной очереди. И вдруг вижу: объявление. Мол, гражданам России — билет сто рублей. А иностранцам — сто долларов. Нужно предъявить паспорт. Я распереживалась, что паспорт дома оставила. Говорю: вот примут нас, Сонечка, за иностранцев. И заставят билет за такую огромную сумму покупать. Мужчина впереди обернулся и утешил меня ласково: что вы, говорит, женщина, с ума сошли? Кто нас за иностранцев примет с нашими рязанскими мордами? Не стоит переживать! Сейчас приобщимся к культуре! Это меня здорово успокоило. И билет продали дешевый. Прав оказался добрый мужчина. А недавно в магазине купила персики. Кассир такой интересный юноша, с волнистыми волосами, элегантный. На пальце кольцо. Настоящее, с камушком зеленым. Рубашечка розовая. А персики не пробиваются на кассе почему-то. Я огорчилась. А кассир так элегантно меня утешил: «Это ужасно гадкие персики, уверяю вас! Скажу по секрету, тет-а-тет, кислые и жесткие. Некоторые — гнилые. Вы их скушаете, и живот заболит. Как нехорошо могло бы выйти! Тьфу, пакость, а не персики!» Я сразу повеселела и сказала кассиру, что он красивый. Это святая правда. Ну их, эти персики. Потому что был такой философ, Лейбниц. Про него все забыли давно. Ну, кому нужен древний философ? Но одну его фразу мы часто повторяем. Она утешительная. «Все к лучшему в этом лучшем из миров!» А если коротко: «Все к лучшему!»...

Душевная глухота —

неумение и нежелание понимать и слышать других людей. И душевную глухоту зачастую проявляют люди, считающие себя чувствительными, эмоциональными, ранимыми... Очень тяжело и горько читать переписку поэтессы Цветаевой с молодым поэтом Штейгером. Все начиналось очень хорошо и романтично. Она написала поэту, который лежал в госпитале тяжело больной. Ему легкое вырезали. Поэт ответил искренне и лирично, как и положено поэту. О поэзии, о своей судьбе и внутреннем мире. Это письмо произвело большое впечатление на Цветаеву. Ей захотелось поближе пообщаться со Штейгером. Она стала писать ему многостраничные письма. Звать к себе. Предлагать приехать. Задавать вопросы. Цитировать стихи. Напрасно бедный больной поэт робко и деликатно намекал, что он болен. Что он даже ходить не может. Только, извините, под себя. Что ему не всегда удается ответить на излияния великой поэтессы... По понятным причинам. Она просто остановиться не могла. Искренне сочувствовала его болезни, рассказывала, что у нее в семье тоже были больные туберкулезом. Некоторые скончались. Куртку прислала в подарок. И начала страшно обижаться, что поэт как-то не очень активно ей отвечает. И не рвется к встрече сквозь все преграды. Она словно не понимала, что пишет тяжелобольному человеку, который думает о смерти. И, возможно, ему не до писем. Ну, напиши ему открыточку. Вышли денег на лекарства. По-

желай выздоровления. И подожди ответа. Если, конечно, он будет. Кончилось все печально. Великую поэтессу опять не поняли. Гадом оказался этот самый молодой поэт. Так что она написала ему язвительное письмо: вы, мол, гораздо больнее, чем я думала. На голову, так сказать. И куртку потребовала обратно. И такие ситуации возникали в ее жизни постоянно. То умирающему поэту Рильке пишет, то еще кому... И сначала людям приятно получать письма от великой поэтессы. А потом они уже не знают, куда от нее деваться, потому что она утрачивает всякое представление о границах, а на деликатные намеки и жалобы вообще не обращает внимания. Как назойливый гость, которому робко намекаешь, что тебе утром вставать рано. А он в ответ подхватывает, что вставать рано очень тяжело. И для здоровья вредно. И такие люди очень обидчивы, когда дело касается лично их. То есть они вполне адекватны и восприимчивы. И не страдают эмоциональной тупостью, как шизофреники, которые ни чужих эмоций не понимают, ни своих не испытывают. Это обычные эгоисты, которым по большому счету нет никакого дела до других людей. И на месте умирающего поэта я бы все-таки доползла до чернильницы. И хладеющей рукой вывела бы: «Что вы в меня впились, как клещ? Что вы меня мучаете? Заберите свою куртку. Не пишите мне больше писем. И вообще их никому не пишите, раз не можете себя контролировать. Пишите лучше стихи, а меня оставьте в покое! Дайте умереть спокойно!» Хотя сомневаюсь, что это подействовало бы...

О старухах

Скоро мне самой переходить в эту категорию. Если повезет дожить, конечно. Невольно к старухам приглядываешься. Многие хорошо так выглядят, загляденье просто. Макияж, прическа, всякие подтяжки и процедуры. Утешительно видеть такую моложавую старушку. Даму преклонных лет. А некоторые старухи, видимо, живут вечно. Они такие же, как в моем детстве. Платок. Боты. Приталенное пальто с воротником из умершего от бешенства животного. Или даже вечный плюшевый жакет. И суровое морщинистое лицо. Эти старухи мне очень нравятся. В них сила, воля, разум и некоторая загадочность. Сказочные старухи. Решительные и сильные. Такую Раскольников вряд ли зарубил бы топором. Я видела недавно по пути в Башкирию съехавшую в кювет фуру. Никто не пострадал. Фура перевернулась, и из нее помидоры рассыпались. Очень много. И целый отряд таких старух решительно грабил помидоры. Вся деревня — одни старухи. Молодые разъехались, мужики спились. Остались одни старухи. Они как пираты действовали. И у каждой был сотовый телефон, по которому она вызывала других знакомых старух. Грабить. Водитель стоял, бессильно опустив руки. В небе кружила стая страшных птиц. А другая такая старуха сидела у метро и продавала жалкие герани и салфетки вязаные. А потом вообще какой-то унылый домашний скарб. Сурово и героически. Я всегда что-нибудь покупала, но вещь не брала, конечно. Пусть, говорю, у вас полежит... Чтобы не унижать милостыней. Трагическая картина. Если не знать, что потом эта старуха в «пальте» и платке шла в метро, где стоял такой игровой автомат. И азартно бросала в него разменянные пятирублевики. Иногда ей везло, и сыпалась мелочь. Старуха хохотала и опасливо прятала деньги. Иногда — не везло, и старуха бранила автомат и его владельцев. Она разрумянивалась, глаза сверкали. Жизнь продолжалась! Как и у другой старухи, которая смирно сидела на крылечке магазина. Я ей подала денежку. Старуха спрятала денежку в кармане бывшего малинового пальто. И рассказала мне, как в 1956 году поймала диверсанта на территории завода. В темных очках и кожаном черном плаще. Он имел при себе чертежи и гранату. А на крылечке она сидит не для того, чтобы побираться. А чтобы рассказывать про диверсанта. За которого ей дали орден. А на мою денежку она купит свое-

му дедке пива. В утешение, что у него не было такой увлекательной и полной опасностей жизни. И такая же старуха, суровая, в той же униформе, работала консьержем в моем подъезде. Смотрела на всех жильцов пронизывающим взглядом. Как древняя Сивилла, которой ведомы людские сердца. Конечно, ведомы. Недаром почти каждый день у лифта висело объявление, написанное паучьим почерком: «Кто потерял деньги, обратитесь к консьержу», или: «Кто потерял золотое кольцо с драгоценным камнем, обратитесь к консьержу». Видимо, некоторые жильцы покупались на уловку. Потому что здоровалась она выборочно. А некоторых обливала холодным презрением. Которые, видимо, хотели получить кольцо с драгоценным камнем. Или другую ценную вещь. Так что ничего страшного в том, чтобы стать старухой, — нет. Но не моложавой, с кудерьками и разглаженным лицом. А такой вот — загадочной старухой. А униформу, видимо, им где-то выдают. Об этом не стоит беспокоиться...

Идиотское положение

Каждый из нас может в такое положение попасть, поэтому я не сержусь и не обижаюсь, когда человек что-то скажет или напишет. А потом — извиняется. Переживает, конечно. Мучительная неловкость. Тягостное чувство. Не знаешь просто, что делать. Извинениями только усугубляешь ситуацию. Молчать — тоже нехорошо... Ох, по себе знаю. Утешает только одна история про художника Репина, который очень любил психиатрию. Горячо увлекался. Приглашал в дом светил-психиатров, вел беседы, впитывал знания. И одно светило, уходя, страшно заинтересовалось портретом мальчика на стене. «Какой изумительный дегенерат! — в восхищении заявил ученый-психиатр. — Истинный, настоящий дегенерат! Вы гений, господин Репин. И видно, что дегенерат — потомственный. То есть его родители тоже были дегенераты. Прошу пояснить, что это за мальчик и где вы такой замечательный образчик дегенерата встретили?» Репин скромно ответил: «Это мой сын Юра». И, наверное, повисла неловкая пауза. И красный как рак профессор поспешил, что-то бормоча, прочь из гостеприимного дома... Лепеча что-то невнятное. Как я недавно. На одной конференции я разговорилась с женщиной-психиатром. Увлекательная профессиональная беседа. Солидная дама-доктор в очках, с проницательным взглядом. Слушала внимательно. А я малоразговорчива, но внимание меня просто подкупило. Видно было, что очень интересно новой знакомой меня слушать. А я рассказывала о шапках. Про то, что шапка многое символизирует. Указывает на принадлежность человека к социальной группе, а также — на его психическую нормальность. Шапка царя — признак величия. В высшем смысле — корона, символ власти. Шапка церковного иерарха — то же самое. Намек на связь с высшими силами. Шапками награждали и подчеркивали статус. Или наоборот — на еретиков надевали колпак безобразный, шутовской, чтобы унизить. И шут носил тоже такую дурацкую шапку — с бубенчиками, нелепую и странную. Что означало его полную ненормальность. Оторванность от законов общества. Подчеркивало уродство и тела, и психики. Давало возможность говорить все, что вздумается. И особенно я отметила, что психически ненормальные люди с вычурной, причудливой психикой тяготеют к таким же странным и манерным головным уборам. Своеобразным и несколько диким. Как говорится, что в голове, то и на голове. Дама просто глаз с меня не сводила. В раздевалке я платок завязала. Продолжая интересную тему. А доктор достала из рукава шубы очень странный головной убор. С такими меховыми колбасками кругленькую шапку, расшитую бусинами. А на кончиках колбасок — металлические шарики. Вроде бубенчиков... И мрачно надела ее на свою голову. И я скомканно попрощалась. Покраснела от стыда. И мне до сих пор стыдно, когда вспоминаю. Идиотское положение...

О вранье

Вранье отвратительно. Вранье отталкивает. Ржа ест железо, а лжа — душу, — как говаривал Горький. Когда человек врет, он проявляет неуважение — считает окружающих доверчивыми глупцами. И о таком вранье мы еще напишем и поговорим. Но есть такое вранье, которое у меня лично вызывает умиление. И разоблачать не хочется. Век бы слушала... Трогательное вранье. Как у писателя Карла Мая, который врал, что знает девяносто три языка. Финский, норвежский и диалект апачей при этом он не считает. Таких успехов он достиг, потому что спит всего три часа в неделю: скажем, со вторника на среду — час и потом еще в выходные — два. А остальное время изучает языки. И пишет свои приключенческие романы из жизни индейцев. Это Карл Май рассказывал своим читателям, отвечая на письма, в которых читатели интересовались, как ему удалось стать таким умным и гениальным. Письма читателей он тоже сочинял сам. Очень восторженные, хвалебные письма. Ровным счетом ничего страшного нет в таком вранье. Или вот седой генерал в отставке очень любил со мной гулять вечерами. Во дворе. Он меня был старше на сорок пять лет. И был участником войны, награжденным многочисленными орденами за храбрость и мужество. Но мне он рассказывал, как его захватили гестаповцы. И у них в гестапо работала очень красивая дама-психолог. Чем-то похожая на меня. Я понимала, что в гестапо никаких психологов не было. А были палачи и убийцы. Но с удовольствием слушала увлекательную историю про то, как эта дама-психолог раздобыла такие «кошки» — ну, знаете, как раньше у электриков были. И, подчинившись влиянию речей генерала — тогда еще лейтенанта, помогла ему организовать побег. Он слез по отвесной скале, держа в зубах парашютно-десантный нож. А потом помог этой даме порвать с фашистами и начать новую жизнь. И даже подарил ей столик на колесиках и огромный букет алых роз. Так мы гуляли во дворе вечерами. Он был очень старенький, хромал, но держался с военной выправкой. Я очень его любила. И его дикие истории — тоже. Особенно — историю про дирижабль, на котором над фронтом пролетал товарищ Сталин. И вот этак вот помахал рукой лично моему другу. Я знала, отчего сочинял свои истории генерал. Он был очень одинокий. Совсем один. И очень старенький и больной. И он боялся, что, если он будет рассказывать правду о кровавых боях и потерях, я не стану с ним гулять. Правда — она жестокая и не слишком интересная. Вот он и придумывал истории, как дряхлая Шахерезада. Чтобы мы ходили по двору под ручку и я ему поправляла шарф. Который всегда сбивался оттого, что генерал бурно жестикулировал, изображая товарища Сталина на дирижабле. А потом он умер. И я горько плакала. И когда кто-то вот так вот врет — или фантазирует, — я никогда не разоблачаю и не спорю. Это от одиночества. От такого одиночества, когда сам себе готов письма писать, как автор приключенческих романов Карл Май...

О перекрестках

Один автор собирает истории о перекрестках Екатеринбурга. Памятные истории и важные факты. Я тоже про перекресток написала. Который произвел на меня давным-давно большое впечатление... Можно, конечно, много о перекрестках написать. Например, что издревле перекресток считался особенным, мистическим местом. Там, где дороги пересекались, возникала и существовала особенная энергия. Там ставились магические столбы и жертвенные камни. Там закапывали вампиров, не забыв вбить осиновый кол в сердце. Там творили любовную магию и оставляли вещи больного человека, чтобы доверчивый путник взял одежду себе, а вместе с ней — и болезнь... Я другое расскажу. Когда я была маленькой девочкой с ключом от квартиры на шее (так

тогда ходили маленькие девочки), я самостоятельно шла в садик. Тогда это было нормально и естественно. И сама переходила дорогу. А на перекрестке всегда стоял такой мужчина-мальчик с синдромом Дауна, с такими круглыми коричневыми глазками. Бог знает, сколько ему было лет. В клетчатом пальто и шапочке с помпоном. И с велосипедиком. Он не катался, конечно, на велосипедике — не умел. Но всегда его катил рядом с собой. Ему очень велосипедик нравился. И вот этот мужчина-мальчик всех переводил через дорогу. На зеленый сигнал светофора. Его, наверное, мама научила правильно переходить дорогу. И он очень ответственно к этому отнесся и всех стал переводить. Он каждое утро дежурил на перекрестке и всех переводил. Многие, конечно, пугались. И даже грубо отказывались. А я соглашалась. Он меня брал за руку такой короткопалой рукой и, катя свой велосипедик, переводил через дорогу. Исключительно на зеленый свет. И я всю жизнь его вспоминаю. Когда трудно и тяжело. И думаю, что, когда придет пора переходить на ту сторону, в другой мир, он снова появится. В пальто, в шапочке с помпоном, с велосипедиком. И меня ответственно и добродушно переведет, куда надо. Абсолютно молча. Потому что о чем, собственно, можно разговаривать с ангелом?

О женском идеале

У каждого мужчины есть идеал. Это красавицы. Брюнетки и блондинки. Очень изящные и элегантные. Иногда — известные актрисы, просто ослепительно прекрасные и ухоженные. Не обращайте внимания. Я училась в художественной школе в детстве. И там был один преподаватель-художник. Такой типичный художник: с длинными волосами. В мятом берете. С бородой, в которой что-то вкусное осталось с завтрака. В тяжелых разбитых ботинках. Но с очень возвышенной душой. Он писал восхитительные картины с женскими образами. Фантастически красивыми и утонченными. В реальной жизни таких не встретишь. Это просто ангелы какие-то были, а не женщины. И потому он жил один. Мне по секрету учительница сказала, что он ищет свой идеал. И, конечно, найти такого утонченного ангела непросто. Поэтому он выпивает. Проще говоря, пьет запоями и пропускает занятия. Но его можно понять. Тоска по идеалу мучает. И, как следствие, одиночество. И алкоголизм. И вот однажды я стояла и во все глаза глядела на романтического страдальца. Страшно сочувствуя. А он во все глаза глядел на довольно дикую сцену: два хулиганистых мальчика как-то обидели девочку Альбину. То ли палитру отобрали, то ли мольбертом стукнули. То ли кисточкой мазнули по лицу. Альбина тоже была похожа на знаменитость. На актера Жерара Депардье. Даже прическа такая же. И фигура. Крупная, коренастая девочка. И она себя защитила: схватила одного хулигана за волосы, а другого — за ухо. И планомерно стала колотить их о подставку с натюрмортом. Приговаривая хрипло и грубо: дескать, я вам покажу, как должны себя вести юные художники! Я вас отучу пакостить! Вы у меня станете примерными пионерами, гады! А мальчишки так визжали, помните: «Уй-я! Уй-я!»... Я просто похолодела от такой грубой сцены. На глазах у утонченного преподавателя-идеалиста. Но он посмотрел на меня растроганно и сказал: «Вот, Аня, кому-то повезет... Кому-то такая жена достанется! Но не мне, не мне...» И ушел в учительскую, шаркая разбитыми ботинками. Воплощать очередной творческий замысел в тоске по идеалу...

Добрые и светлые силы

постоянно предлагают нам помощь и посылают знаки. Их просто нужно увидеть и понять. А мы в рутине жизни, в раздражении и суете просто не видим мосты и дороги, которые приведут нас к счастью. Или хотя бы к реше-

нию насущных проблем. Вот звонил и звонил мне старик. И властным дребезжащим голосом говорил: «Это Эдуард? Эдуард, ты смотрел новости? Ты надел шапку? На улице холодно!» Иногда старик звонил почти в полночь. Будил меня. И напрасно я отвечала, что я — не Эдуард. Хотя имя красивое. И объясняла, что он не туда попал. Старичок очень упорно звонил снова и снова. Это было как назойливый звон сигнализации. И можно было просто ее отключить. Чтобы не тревожиться и спать. Но я не стала отключать телефон или блокировать старичка. Я все же выспросила у него про таинственного Эдуарда. Старичок плохо слышал и предпочитал говорить сам, но я поняла, что Эдуард — его внук. Доктор. И живет в Ленинграде. И все стало понятно. Мой телефон 8-912 и так далее. А код Санкт-Петербурга 8-812. И старичок вместо восьмерки набирал девятку. Так что я запросто дозвонилась до Эдуарда из Санкт-Петербурга. И сообщила, что мне звонит его дедушка. И, может, дедушке нужна помощь или просто внимание. Эдуард познакомился со мной. Сообщил, что дедушка живет в Екатеринбурге. И да, часто звонит, но плохо видит и слышит, потому что ему уже за девяносто. Он полковник в отставке. Живет на Уралмаше. Один. Не хочет ни с кем жить или в приют отправляться. Его навещают родственники, а доктор Эдуард приезжает раза четыре в год. А сам Эдуард живет в Санкт-Петербурге. Точнее — в Пушкине, бывшем Царском Селе. На улице Школьной. И в Пушкине, на улице Школьной, живет мой дедушка. Которому тоже за девяносто. И он тоже не желает никуда уезжать. Он участник трех войн и полковник в отставке. И я за него все время переживаю и тревожусь... И мы с доктором договорились, что я буду навещать его дедушку. Если что. А он — моего. Если будет нужно. Тем более телефоны друг друга знаем... И адреса. Так что дедушки теперь под присмотром. И спать я стала гораздо лучше. Только иногда меня будит дедушка из Екатеринбурга. Про политику говорит. Про Украину. Велит надеть шапку. И, хотя он называет меня Эдуардом, все равно на душе спокойнее. Потому что добрые силы присматривают за нами. Надо всего лишь быть внимательнее. И добрее.

Об индульгенции

Индульгенцией в Средние века называлась такая специальная бумага, в которой черным по белому было написано: обладателю сего прощаются все грехи. Некоторые — даже вперед, авансом, так сказать. Католические церковники вполне бойко торговали индульгенциями, приумножая доход церкви. Заплатил деньги — получил индульгенцию. Лет на десять вперед, если хорошо заплатил. И мне сама идея очень нравится. Только не за деньги, а за добрые поступки можно давать индульгенцию. И прощать ошибки и неправильные поступки. Вот был поэт Брюсов. Довольно неприятный персонаж; изображал демоническую личность, писал вполне искусственные стихи, какая-то психопатическая поэтесса из-за любви к нему застрелилась. После революции примкнул к большевикам. Распределял пайки между поэтами и писателями. И многие его ненавидели. Считали предателем. И, наверное, обижались из-за маленьких пайков. А этот Брюсов в голодные годы взял к себе жить маленького сироту, мальчика четырех лет. Кормил его и воспитывал. И даже учил различать архитектурные стили и отличать ямб от амфибрахия. Главное — жить к себе взял и кормил... Ахматову вот обвиняют, что она имела много связей с мужчинами и небрежно относилась к воспитанию сына. Но когда люди умирали с голоду, она отдавала молоко Чуковскому, для его ребенка. А в войну отдавала хлебные карточки сыну Цветаевой. Хотя у него свои были. И своему сыну отправляла посылки в лагерь, выстаивая дикие очереди в тюрьмах. И уже совершенно неважно для меня, насколько морально она себя вела в личной жизни. Маяковский как поэт мне не очень

нравится. Но он тайно отправлял деньги одиноким старикам. А Мандельшам был слабовольным человеком, брал в долг, не отдавал, мог приврать. Но в страшные годы вырвал у чекиста из рук расстрельный список с фамилиями. И порвал. И вот один мрачный и угрюмый мужчина, бизнесмен, который уделял жене мало внимания, когда она заболела, продал свой дом. Две машины. Бизнес. Стал донором костного мозга. И вылечил ее, просидев в реанимации тридцать суток рядом с ней. И потом два года выхаживал, кормил с ложечки. Он стал бедным и еще более угрюмым. И совершенно седым. И, если бы в моей власти было выдавать индульгенции, я бы обязательно ему выдала отпущение грехов. И сегодня, проезжая по ямам, едва не прикусив язык, я не ругала мэра. Потому что помню, как лет двенадцать назад, когда он разбирался с наркоторговцами, я ему в передаче прямо сказала: «Считаю, что вам надо выдать индульгенцию. За прошлые грехи и за будущие. За то, что вы сегодня делаете». И, наверное, смысл жизни не в том, чтобы вообще не грешить. А в том, чтобы совершить хотя бы один поступок, за который нам многое простится...

Об умягчении сердец

Не надо войны. Не надо распрей. Не надо злобы, и даже дискуссий не надо. И политики не надо тоже. Люди гордятся своей мужественностью, жесткостью, прямотой. Иногда эти качества превращаются в жестокость и свирепость. И сами люди непоправимо меняются. Бабушка у меня была жесткая и решительная женщина. Секретарь парткома. Единственным справедливым наказанием считала расстрел. Лучше — на месте. Главным ругательством было — «аполитичность». Жизнь такая была у этого поколения. И только в парке Дворца пионеров, гуляя со мной и вспоминая, она смягчалась и становилась доброй. Потому что она тоже была маленькой девочкой когда-то. В начале тридцатых. И в этом парке гуляла с другими детьми; там пеликаны были. Лодочки на пруду. В беседке шахматисты играли. И здесь бабушка-девочка Георгина познакомилась с тихой рыженькой девочкой. Имя унесли годы. Девочка была бледненькая, рыженькая, ровесница Геры. А жила она в подвале полуразрушенной церкви со своим папашей. Папаша тоже был рыжий и бледный. И девочку никуда не отпускал от себя. Потому что он был поп, а с попами разговор у советской власти был короткий. Враг народа. И как-то девочки подружились между собой. И даже папапоп стал отпускать свою дочку поглядеть на пеликанов или на шахматный турнир. И девочки вместе смеялись и бегали по дорожкам, как положено девочкам. А потом Гера пришла в парк, заглянула в подвал — а там никого. Все смято, разбросано, пусто. Ни рыженькой девочки, ни попа. Никого. А потом умер мой прадедушка, Герин папа, — от кровоизлияния в мозг. Его заставили ехать на раскулачивание, по партийной линии. Он увидел ужас и горе — и не выдержал. Ничего не мог сделать. Пришел домой, сказал: я ничего не могу сделать. И умер. Вот так решительно отказался участвовать. И в последний раз осиротевшая бабушка-девочка увидела свою рыженькую подружку уже осенью. Только она была наголо бритая. Ее здоровенная воспитательница запихивала в автобус вместе с другими детдомовцами. И куда ее увезли — неизвестно. И девочки только помахать друг другу успели. А дальше — репрессии, война, другие события. Жизнь великой страны. Не до сантиментов. И вот в этом парке сердце бабушки смягчалось. Она помнила рыжую девочку и тосковала по ней. И по себе, по тому времени, когда она была доброй, как все дети. Аполитичной, так сказать. Как я.

О метафизике

Писательница Гиппиус любила подшутить и образованность свою показать. И к одной даме она все приставала с вопросом: «Какая у вас метафизика? У вашей души?» И хихикала, когда растерянная дама побежала искать в словаре это слово. Сложное такое философское понятие, которое означает основу основ. Первопричину, управляющую всеми физическими процессами, о которой писал Аристотель и другие мудрые философы. Я очень просто расскажу, какая у меня метафизика. Когда я училась в шестом классе, умер Брежнев. Всех детей отпустили на каникулы, на один день. А двух пионеров решили поставить в почетный караул у портрета умершего. И я согласилась. Потому что мне было жалко Брежнева. Он был старенький. Сильно болел. Воевал. Над ним все смеялись и передразнивали его. И согласился еще один пионер, школьный хулиган, потому что его хотели исключить из школы. А за участие в почетном карауле обещали оставить. И в свободный день в пустой школе мы с этим хулиганом несли почетный караул у портрета. Час я стояла с рукой, поднятой в салюте. Час — этот плохой мальчишка. Учителя и ученики разошлись по своим делам, день-то выходной, траурный. А мы так и стояли до двух часов дня, пока нас не отпустил военрук. И я пошла домой, утирая слезы. И это была моя метафизика. А честно сменявший меня хулиган потом пал смертью храбрых в Афганистане. И это была его метафизика. Его души. Так что я бы ответила писательнице Гиппиус. Потому что в сложных философских понятиях нет ничего сложного. Они очень простые.

Любовь облагораживает человека,

об этом говорят многочисленные примеры из жизни знаменитых людей. И истории из жизни моих пациентов. И один мелкий случай, который я наблюдала лично, когда отдыхала на юге. Утром по пляжу шел ужасный тип в костюме собаки. То есть голову он держал в руке. Вернее, в такой лапе. Его собственная голова торчала из грязного костюма, облепленного окурками и грязными бумажками. Он, видимо, ночью где-то валялся. Волосы были всклокочены, небритое лицо опухло. Он еле шел, шатаясь. Он скрипел зубами и ругался плохими словами. Перегаром разило за несколько метров. Это было крайне неприятное зрелище. А навстречу шли родители с маленькой девочкой в панамке и розовом платьице. И эта крошечная девочка вдруг побежала к этому чудовищу своими толстенькими ножками. Родители даже среагировать не успели. А девочка восторженно и радостно кричала: «О, Гуффи! Милый мой Гуффинька! Моя любимая собачка!» — и, протянув ручки, обняла страшного мужика за собачью ногу. Ее лицо просто пылало восторгом и любовью, искренней и сильной. И этот похмельный дядька как-то выпрямился. Нахлобучил на всклокоченную голову — голову собаки. И начал танцевать и делать всякие смешные и добрые движения, забавляя девочку, которая просто светилась от умиления и любви, выкрикивая: «Мой Гуффинька! Моя собачка танцует!» И это и правда уже был не похмельный мужик, а добрая собачка. Родители кое-как забрали свою девочку, а Гуффи пошел дальше. Выпрямив по-военному спину, гордо подняв собачью морду к солнцу. Иногда он оборачивался и махал девочке рукой. То есть лапой. И это история про любовь.

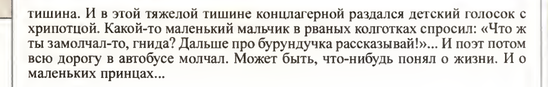
О понимании

Главное в жизни — понимание. Понимание другого человека и обстоятельств его жизни. Понимание рождает прощение, любовь и милосердие. На философском факультете преподавали высшую математику. До сих пор

не понимаю — зачем на философском факультете высшая математика? Которую я, к сожалению, не понимала абсолютно. Напрочь. Какая-то часть мозга, которая отвечает за образное мышление, перекрывала все мои математические способности. А высшую математику преподавал такой высокий худой профессор. Лысый. В очках, как донышки от бутылок. О котором было известно, что он очень сурово принимает экзамен, поскольку считает математику царицей всех наук. А мне было восемнадцать лет. Я была замужем. В положении. На сносях, проще говоря. Мужа в армию забрали. Жила я у его родственников. И уходить в декрет не собиралась — жить было не на что. Только на стипендию. А ее давали на дневном отделении. И я все экзамены сдала на «отлично», а с математикой решила поступить так: выучила наизусть весь учебник. Все формулы и графики. Ничего не поняв. И пришла на экзамен, дрожа от ужаса. Ответила на билет. Написала формулы. И гениальный профессор понял, что я ничего не понимаю. А просто заучила все наизусть. И начал задавать вопросы, и ловить меня, и уличать. И, злорадно улыбаясь, сказал: «Вы все выучили, но ничего не поняли в высшей математике. И поэтому...» И тут взгляд его упал на мой живот. И он посмотрел сквозь свои ужасные очки на мое бледное лицо. И на лице его отразилось понимание. Он как-то засуетился. Очки снял. Кое-как вывел в зачетке хорошую оценку. Рукой махнул. Закашлял. Спросил, как я себя чувствую. А потом, когда родился ребенок, я с младенцем иногда приходила на лекции. Меня понимали и пускали. И я училась и получала повышенную стипендию. А профессор в столовой, когда мы сталкивались, неумело улыбался младенцу. И покупал булочку. И неловко совал ее ребенку. Не понимая, что таким крошечным младенцам нельзя есть булочки. В младенцах он понимал столько же, сколько я в высшей математике. Потому что он жил совсем один и не имел ни жены, ни детей. Но имел доброе сердце. И умел понимать…

О жизненных историях

Все, что я вам рассказываю — было на самом деле. Это жизненные истории. Искренние и правдивые. Поэтому они помогают. Утешают. Заставляют плакать или улыбаться. А философские притчи и поэтические образы я не очень люблю. Хотя красиво, конечно. Буддийский монах встречает красавицу. Белый единорог спускается с небес. Три слона между собой беседуют. Или маленький принц встречает маленькую принцессу. Романтично. Только я знаю жизнь. И люди, которые приходят, — тоже знают жизнь. Причем не с самой романтической и приятной стороны. Кого-то обманули. Бросили. Дали надежду — и отобрали. Хотя, возможно, вели беседы о тонких энергиях и даже притворялись принцем. Истории должны быть жизненными, иначе они ничем не помогут. А только могут разозлить и расстроить еще больше. На заре девяностых писатели и поэты решили детский дом посетить. Времена были тяжелые. Мягко говоря. С продуктами было плохо. Инфляция дикая. На улицах стреляли. И в детских домах обстановка была тоже тяжелая. И писатели приехали к сиротам. Ужасно. Нищета и все остальное. Описывать тяжело. Дети угрюмые и молчаливые. Их собрали, чтобы перед ними выступили писатели. И поэты. И тяжелым, много что повидавшим взглядом смотрели дети на одного поэта, который никак остановиться не мог. Все рассказывал притчи и читал совершенно оторванные от жизни стихи. С кухни пахло пригоревшей кашей. И сорокалетний поэт, живший с родителями-академиками, рассказывал в этой мрачной тишине про бурундучка. Который то ли ангела встретил. То ли фею. И научился быть добрее. Или сильнее. Я уже плохо помню. Мне очень стыдно было слушать. И, видимо, поэта тоже как-то эта тишина обеспокоила. Показалась ненормальной. Ни улыбок. Ни одобрительных возгласов. Ни аплодисментов. И он выдохся и замолчал. Повисла мертвая



тишина. И в этой тяжелой тишине концлагерной раздался детский голосок с хрипотцой. Какой-то маленький мальчик в рваных колготках спросил: «Что ж ты замолчал-то, гнида? Дальше про бурундучка рассказывай!»... И поэт потом всю дорогу в автобусе молчал. Может быть, что-нибудь понял о жизни. И о маленьких принцах...

О скрипочке

Когда я была совсем юной, один друг моего папы, очень пожилой и очень умный профессор-психиатр, спросил, куда я буду поступать. Я ответила, что на философский факультет. И этот мудрый человек сказал: знаешь, девочка, я еврей. И я тебе расскажу, почему еврейского мальчика учат играть на скрипочке. Конечно, хорошо, когда он умеет играть на рояле. На виолончели. Или вот на арфе. Это замечательно. Но когда начинались погромы, выселение и войны, мальчик брал свою скрипочку под мышку. И ехал, плыл, бежал и карабкался с нею. Вставал и падал. А потом, в хорошее время, он снова играл на своей скрипочке и имел свой кусок хлеба. Так вот: рояль, арфа или вот громоздкий тромбон — это образование. Профессия. А скрипочка — это ремесло, которое будет тебя кормить. Где бы ты ни был и что бы ни случилось. Поэтому кроме образования надо иметь ремесло. Практические, так сказать, навыки. Свою скрипочку. На которой надо виртуозно играть. Лучше всех. И она тебя прокормит и поддержит в самые трудные времена. И я запомнила эту мудрость. И вот — делюсь с вами. Играю опять на своей скрипочке. Хотя я, конечно, не еврейский мальчик...

О политике

Я не принимаю участия в митингах, пикетах и шествиях. Плохо вижу, да и побаиваюсь — толкнут, уронят, схватят и поволокут. Очки сломают, воротник оторвут. Я видела по телевизору. А я должна буду сопротивляться и кричать: «Сатрапы! Палачи!» Ужасное зрелище. Я сохраняю свои убеждения и статьи пишу. Правдивые и искренние. Но благодаря политическому заговору я оказалась в Башкирии. Приняла участие в тайном собрании свободолюбивых политиков. Совершенно случайно. Я поехала по совету знаменитого башкирского писателя посмотреть славную Уфу. 540 километров. И поздно вечером мы приехали в этот чудесный город. Зашли в гостиницу. А мест нет. Все занято делегатами. А я уже просто падаю от усталости, и мне нехорошо. И добрый портье сжалился и все-таки дал номер, чтобы я отдохнула. Какой-то запасной. И еще в лифте я обратила внимание на доброжелательность и дружелюбие. Все улыбались мне. Пожимали руку со значением. Мужчина с красивой татуировкой другого мужчины, в лисьей шапке и на коне, попросил не опаздывать на заседание. Двое постояльцев приехали тоже из Екатеринбурга — они моментально меня узнали и окружили вниманием. Все спрашивали: «Неужели вы тоже с нами! Похвально!» На душе потеплело. Потом меня на заседание повели. Я думала, в Башкирии так принято — ночью в гостинице проводить заседание. Называется — курултай. И хотя выступали на башкирском языке, мне одна дама все переводила. Есть дурной человек у власти. Фамилию не помню. Ворует, врет, подвергает преследованиям. Есть хороший человек. Жертвует всем, борется за правду, всем помогает. Вот вы бы за кого проголосовали? Понятное дело, за хорошего. И второй вопрос обсудили: Башкирия должна быть свободной. Независимой. Сильной. Это тоже не вызвало у меня никаких возражений. Я проголосовала и расписалась. Потом пели песни и танцевали. И было угощение. Сказочный вечер, вернее, ночь. А с утра мы посмотрели город и поехали дальше, в Казань. Где я из прессы узнала, что

приняла участие в тайном собрании националистов. По крайней мере, так их неодобрительно назвали в газете и по телевидению. И их цели объяснили как не слишком мирные. Мягко говоря. Хотя мне они показались милыми людьми. Я голосовала честно, по совести. За хорошего человека и за свободу. Эта история произвела на меня большое впечатление. И я теперь наполовину живу в Башкортостане. Он мне стал родным. А тот, за кого я голосовала, сейчас занимает высокое положение. Победил. Может быть, и мое скромное участие повлияло...

Имя и характер

Наука подтверждает связь имени, характера и судьбы. И мы еще про это поговорим. А я поделюсь мелким случаем из жизни. Я его в турецком отеле наблюдала. Там был такой удивительный мальчик. Упитанный, плотненький, с брюшком. На прямой пробор причесанный. В жилетке поверх футболки. Он очень степенно кушал. Долго и помногу, покряхтывая от наслаждения. Вытирал губы салфеткой, откидывался на стуле, а потом принимался чай пить. Помногу, с удовольствием. Отдуваясь и пыхтя. Вспотеет, бывало, но еще наливает. С сахаром и сластями. Потом прогуливается неспешно. Купается — войдет в море, присядет, окунется с аханьем — и на берег. Он мне ужасно нравился, этот степенный мальчик. Лет шести. Как-то мы с ним смотрели на дельтаплан, на котором туристов поднимают в небо. Мальчик улыбался так иронично, подбородок поглаживал. «Придумают же, черти полосатые, забаву!» — ко мне обратился баском. Я спросила, как его зовут. «Платон, — солидно представился мальчик. — Фамилия наша — Дормидонтовы!»

Об элегантности

Я один раз видела настоящую утонченную элегантность. Восхитительные одежды и манеры. Просто галантный век. Это я у отделения милиции стояла, чтобы продлить лицензию на оружие. К несчастью, в те годы это было нормально — иметь оружие. Потому что попросту могли убить. Особенно — на Эльмаше. Неэлегантная ситуация была в те годы. И милиция — страшное, обшарпанное здание. Кого-то волокут. Кто-то сам мрачно шагает. Машины грязные стоят, и люди в некрасивой форме ходят туда-сюда. И я вся выпачкалась. И стою, жду, слушаю грубые речи. И тут появился элегантный человек. Такая прическа волнистая. Усики тонкие. Очки. Белая накрахмаленная рубашечка. Лаковые ботиночки остороносые. Костюмчик с искоркой. Галстук, конечно. И изысканное пальто. Он меня узнал и подошел поздороваться. Представился: «Вольдемар. Свободный художник». Поцеловал мне руку, как дворянин из фильма. И заговорил об искусстве. Чтобы скоротать время. Ему еще рано было к следователю. Он, как воспитанный человек, пришел пораньше. И вот сюрприз — меня встретил. Как это мило и вообще — какой шарман! Я с обычной прямотой спросила, по какому он вопросу сюда пришел. Вольдемар махнул светски ухоженной рукой и говорит: «Не стоит вашего внимания. Бытовая мелочь. Избил жену».

Воспитание вежливости

Это очень важно — воспитывать вежливость. Я часто о вежливости пишу. И о ее воспитании. А о чем я пишу — тут же и происходит. Сегодня в подъезд заходила. Передо мной — папа с сыном. И этот сын-подросток хотел вперед меня шмыгнуть в подъезд. И папа схватил его за воротник. Отшвырнул в

сторону. И заорал громко: «Куда лезешь, гаденыш! Куда прешь?! Разуй зенки — пропусти даму!» И мне вежливо предложил: «Проходите, дама!» Я испугалась и спрашиваю, не подвох ли это. Не схватит ли он меня за воротник? Может быть, по правилам этикета я должна его сначала пропустить? Он мне вежливо разъяснил, что я могу пройти. Без страха и боязни. Потому что вежливость — это его главное правило воспитания. Надо, чтобы все были вежливыми. С детства. А он просто следит за всеми. Воспитывает у людей это прекрасное качество. Я пешком на пятнадцатый этаж поднялась. Чтобы в лифте не получить оплеуху за какую-нибудь невежливость...

Катание на собаке

Они говорят: мы, мол, уже переживали трудные времена и кризисы. Переживали, да. Помню. Как раз на Новый год дело было. Дочке было два, мне — двадцать один. Сапоги, конечно, осенние. И молния сломана. Потому что — трудные времена. На ребенке — пуховичок страшненький, китайский. И на мне, понятное дело, тоже. Стипендию выдали за три месяца — долго не выдавали. Зима и снег. И елка. И под елкой — такая совершенно замерзшая интеллигентная старушка в очках. И такая же замерзшая интеллигентная собака-дворняжка. И санки. И на санках — лист бумаги. Объявление. «Катание на собаке». И цена. Сколько — я не помню. С тех пор прошли сотни, тысячи и миллионы рублей. Примерно одна стипендия. И в эти жалкие санки уже какая-то мамаша пытается усадить своего крупного мальчика. Довольно взрослого. Он в санки почти не помещается. И как его будет собачка катать — совершенно непонятно. На что я немедленно указала с присущей мне прямотой. А старушка пояснила, что, собственно, санки будет везти она. Она еще довольно быстро бегает. А собачке не придется ничего тащить. Она просто будет бежать впереди. Для виду. Это старушка мне шепотом пояснила, чтобы не спугнуть возможного клиента. Но клиенты все равно ушли — они хотели катиться не вокруг елки — это мало. А вокруг всего ледового городка. И мальчик выпадывал из санок и канючил. Действительно, так себе развлечение. А Соня зарыдала. Собственно говоря, и я тоже как-то начала взглатывать и шмыгать носом. И старушка тоже утирала глаза. И я отдала часть своих денег, конечно. Хотя старушка отказывалась. И мы вместе покатили санки с моей дочкой. Небыстро. А собачка бежала впереди, налегке. Но все равно казалось, что она тоже участвует. И теперь, когда мне говорят о том, что кризис уже был, а трудные времена мы пережили, мне вспоминаются эта старушка и собачка. Я не знаю, пережили ли они трудные времена. Старушки и собачки не так уж долго живут. Особенно — в кризис. И мне хочется, извините, схватить за горло того, кто так говорит. Я не буду этого делать, конечно. Или вот — привязать к нему санки с упитанным крупным мальчиком. И пустить вокруг елки. Извините за грустную историю.

Люди и звери

В давние времена художники очень любили рисовать картины-аллегории, на которых определенные животные символизировали те или иные человеческие пороки. Осел — глупость. Свинья — нечистоплотность. Жаба — зависть. Это, конечно, большое упрощение. Но то, что животные могут быть носителями вполне человеческих качеств, — правда. Я это лично наблюдала летом на даче, в детстве. У деревенского магазина ходил такой мрачный грязноватый баран. Он подходил к выходившим из магазина покупателям и выпрашивал хлеб или пранички. Если давали кусочек — кушал, шевеля губами. А когда добрый человек поворачивался спиной, баран разбегался и с разбегу

очень больно бил рогами пониже спины. Благодетель падал. Баран стоял и смотрел, дожевывая. Воплощенная неблагодарность. Коза объедала посаженную дедушкой черемуху. Дедушка прогнал ее веточкой. Вечером мстительная коза вернулась с козлом и двумя козлятами, которым принялась показывать, как правильно объедать кору с дедушкиной черемухи. Как копытами упираться в ствол и подцеплять зубами нежную кору. А у одной изящной кошечки родился котенок. Она его любила, кормила, играла с ним. Котенок вырос в такого крупного, лобастого кота с головой размером с телевизор «Фотон». И в этой голове, видимо, был какой-то дефект, потому что он по-прежнему продолжал пить кошечкино молоко. В смысле, сосать грудь. Измученная кошечка бегала от своего здоровенного отпрыска. Но он был сильным, зорким. Истинный охотник. Только он выслеживал не мышей и птиц. Он выслеживал свою маму. Двумя быстрыми хищными прыжками догонял ее. Валил наземь и пил из нее. Будем надеяться, молоко... И поэтому я животных не то чтобы страстно люблю. А просто понимаю, что, в сущности, это те же люди. С теми же достоинствами и недостатками...

О нормальности

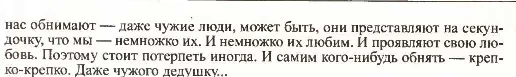
Это очень растяжимое понятие. Но я психически нормальна. У меня и справка есть, где это написано. Вернее, я надеюсь, что там это написано, — потому что разобрать можно только большие восклицательные знаки. Их много. После каждого слова. Эту справку мне выдал один доктор. Когда я лицензию на оружие получала, очень давно. Доктор был похож на Ленина. И жестикулировал так же. И очень энергично качался на стуле. Даже упал один раз. Но встал самостоятельно. Он задал мне проверочный вопрос: «Надо ли клонировать людей? Добиваясь полного бессмертия?» Это он меня на предмет метафизической интоксикации проверял. Я-то знаю. Я ответила отрицательно. Доктор рассердился и упрекнул меня в бездушии и черствости. Клонирование необходимо. Человек умер, а другой — про запас! Как будто ничего и не случилось. Жизнь продолжается! Потом спросил, пью ли я. Я сказала, что очень редко. Раз в полгода. Он уточнил: «То есть запоями». Но успокоил меня. Запои — это пустяки. Самый страшный вид алкоголизма — когда вообще не пьют. Потому что боятся спиртного. Трусы. Чувствуют, что не способны справиться с алкоголем. Начнут пить — и остановиться уже не смогут. Это алкоголизм. Потом спросил, слышу ли я голоса. Я ответила отрицательно. «А у Орлеанской Девы были голоса, — многозначительно сказал доктор. — И ничего. Наголову разбила англичан в битве при Пусси». Я ответила, что сожалею об отсутствии голосов. Но надеюсь на их появление. Ответ успокоил доктора. Он спросил, бывает ли у меня плохое настроение. Которое сменяется хорошим. Намекая на циклотимию. Я ответила, что настроение всегда одно — ровное. Никаких перепадов. Бодрость и спокойствие. Видно было, что он очень не хочет давать мне справку. И коньяка еще полбутылки осталось. Который я, к стыду своему, ему подарила. Он его пил из стаканчика для карандашей. Очень полезно для сосудов. Ему было одиноко. Осень, вечер, дикий ветер и дождь. Пациенты. А тут — интеллигентный нормальный человек. Приятная беседа. Коньяк. И он еще много задал мне вопросов. Чем карандаш похож на ботинок? Как грифель в карандаш вставляют? А потом написал справку. Пригласил еще приходить. И грустно сказал, что меня он бы клонировал. Про запас. А то он всегда один. Жена умерла, а коту уже восемнадцать лет, и у него ножка отнимается... И хотя справку пришлось потом брать у врача с более разборчивым почерком, все равно хорошо поговорили. Хотя и грустно. А справка — на память осталась...

О лечении алкоголизма

Сейчас много методов существует. А в американском учебнике наркологии описан вообще замечательный способ. Следует алкоголика усадить за имитацию барной стойки. На высокий стульчик. Налить ему мартини — общеизвестно, что алкоголики предпочитают мартини. Любимый напиток. Предложить выпить. И сильно ударить током через присоединенные электроды. И каждый бокал сопровождать таким ударом. И алкоголик отвыкнет от мартини. Выработается условный рефлекс. Или перейдет на другие напитки. В домашних условиях, без стульчика и доктора. Или привыкнет сопровождать возлияния электрошоком. Добавлять перчику... Сомнительный способ, по-моему. А я расскажу о семейном опыте. Когда не было ни кодирования, ни блокирования, ни мартини. А был год этак пятидесятый. Дедушка прошел финскую, Отечественную и еще в Корее повоевал. Стал полковником ПВО и посещал заседания Генштаба. И, скажу откровенно, иногда эти заседания сопровождались выпивкой. Что, безусловно, не нравилось бабушке, которая часть войны прослужила в СМЕРШе. Она ругала дедушку. Угрожала. Не бессвязными истерическими угрозами, а трофейным пистолетом и парашютно-десантным ножом. Она им капусту рубила для пирогов. Писать жалобу в партком она не собиралась. На собственного мужа не пишут жалобы. А самостоятельно помогают ему встать на верный путь. На то и жена. И однажды дедушка совсем сильно выпил. И его притащил денщик. И молодой дедушка уснул и захрапел, даже не сняв сапог. И тогда бабушка приняла решительные меры. Обмакнула пальцы дедушки в чернильницу. А потом теми же чернилами вывела на свежепобеленной стене ужасные слова. «Сталин — сволочь! Долой Сталина!» Крупными кривыми буквами. И утром дедушка проснулся под звуки привычного гимна и речи правителя. И посмотрел на свои пальцы. И прочел ужасную надпись. И увидел жену и сына, глядящих на него с укором и страхом. И больше никогда не пил. Вообще. Даже пиво. А мой папа стал известным наркологом. Видимо, метод произвел на него громадное впечатление. Дедушка прожил с бабушкой в любви и согласии семьдесят лет. Он, кстати, и курить тогда же бросил. Бабушка не любила курение.

О чужом дедушке

Я не очень люблю обниматься, особенно — с чужими людьми. Точнее, совсем не люблю. Но терплю: руки по швам, стоишь как деревянный, смотришь вдаль и уклоняешься деликатно от поцелуев. И я всегда вспоминаю про Гришу Израиля. Такой был унылый, неинтересный мальчик. И все заходил ко мне домой, классе в четвертом. То уроки узнать, то про сбор макулатуры уточнить, то насчет стенгазеты поговорить. И говорил таким шмелиным гудением. Кудрявые волосы, большой нос, нескладное сложение. Зайдет и сидит часами. Утомительно. Скучно. Дедушка его обо всем расспрашивает. Ведет беседу. Про математику, про шахматы, про маму. Гриша так уныло и скучно гудит в ответ. Ужасно надоедает. Потом кое-как удастся его выпроводить. Так он еще на пороге топчется. И говорит: «Дедушка, дайте мне три копейки для трамвая!» Он далеко жил и всегда отдавал потом денежку. Но потом снова просил: «Дедушка, дайте мне три копейки для трамвая!» Очень мне этот Гриша надоел. Он и в школе никому не нравился. Скучный такой мальчик. Но однажды Гриша все топтался на пороге. Ботинки зашнуровывал полчаса, курточку застегивал, очки протирал. И вдруг обнял моего дедушку. Так сильно-сильно. И прогудел в нос: «Я хочу, чтобы вы были мой дедушка. Моих на войне убили». И убежал, стуча ботинками. И я только тогда догадалась, что он «три копейки для трамвая» просил, чтобы сказать: «дедушка». Он вовсе не ко мне ходил. А к дедушке. И мечтал, и представлял, что это — его личный дедушка... И когда



нас обнимают — даже чужие люди, может быть, они представляют на секундочку, что мы — немножко их. И немножко их любим. И проявляют свою любовь. Поэтому стоит потерпеть иногда. И самим кого-нибудь обнять — крепко-крепко. Даже чужого дедушку...

Про плохое зрение

У меня очень плохое зрение. Но на приеме я всегда без очков. Наденешь очки — будешь хорошо видеть человека. Но другое будешь видеть плохо. Вы понимаете. Поэтому, если я с вами не поздороваюсь, — не обижайтесь. И если радостно брошусь к вам — не удивляйтесь. В целом мне довольно комфортно в моем мире размытых обликов и ясных душ. Хотя после одной истории я на улице очки не снимаю. Папа моего однокурсника был профессор. Преподавал у нас в университете на первом курсе. Лысый, в очках, небольшого роста. А стал дворником. Жизнь полна превратностей. И даже не совсем дворником, честно говоря. А в контейнерах принялся искать нужные вещи. Очень печально. Усы отрастил, чтобы его не узнали. И каждое утро шарился в контейнере у меня во дворе. Я делала вид, что не узнаю его. Из деликатности. Смотрела сочувственно только. Выносила бутерброды и аккуратно клала на бордюр. Конфетки там, пряники. Потом здороваться стала осторожно. А он — со мной. Потом потихоньку стали разговаривать. Как, мол, дела. Как погода. Много ли хороших вещей нынче в помойке. И уже утренний визит на помойку стал обязательным дружеским визитом. Беседуем. Он стал помаленьку раскрывать душу. Что сын Александр пьет горькую. Запоями. Не работает. Все философствует. Лежит пьяный и философствует. Это меня как раз не удивило — мы же на философском учились. Но то, что стал пить, — ужасно. Политолог, социолог — и так опустился. С папой стал плохо обращаться и отбирать пенсию. И вот — папа на помойке. Злой рок, удары жестокой судьбы. И мы с бывшим профессором стали друзьями. Позавтракаем у контейнера, я на метро, он — снова за работу. Улыбаемся, машем друг другу. А потом я встретила однокурсника. В метро. В костюме, при галстуке. Вышел из запоя, видимо. Надел маску приличного человека. Я с ядом в голосе спросила, как папа поживает. Он ответил, что папа во Франции, на симпозиуме. Я говорю, мол, давай ко мне зайдем на минутку. Кое-что покажу интересное. И поговорим о твоем будущем. О лечении от страшной болезни, которая разрушает и тебя, и твоих близких. Однокурсник испугался. Я могу быть убедительной. И мы вышли из метро и пришли на помойку. Где бывший профессор сортировал вещи. И закусывал. И я подвела однокурсника к контейнеру и сказала: «Вот твой папа». Очень трагично получилось. Как в индийском кино. А если бы я очки носила, ничего бы не вышло. Потому что это был не папа. То есть папа какого-то другого Александра, пьяницы и дебошира. И вовсе не профессор истории. Хотя история как наука его привлекала. Он много читал исторических книг в тюрьме. Недоразумение выяснилось, и мы даже долго беседовали об истории и политике. О беспутных сыновьях и родительском горе. И расстались друзьями, конечно. А потом я переехала в другой дом. А мнимый профессор устроился сторожем в лесопарк. А однокурсник избегает меня, наверное. Я его давно не видела. Впрочем, я вообще плохо вижу. В обычной жизни.

Дежавю

Я не люблю Кронштадт. Это прекрасный город, но с ним связана странная история. Там со мной в детстве происходило много странных историй, но об одной я помню всегда. Я приехала в этот город впервые в 11 лет. Остров. Военная крепость. Канал. Казармы. Пристани. Корабли. Старые каштаны и

клены в осенней золотой листве. Ощущение, что я знаю этот город и была здесь, было таким сильным, что мне стало нехорошо. Но я скрыла свои удивительные чувства — я до сих пор многое скрываю. И попросилась погулять. Я пошла по улице, свернула за угол, еще немного прошла по другой улице и остановилась перед старинным домом. Почти весь Кронштадт тогда состоял из старинных домов. Подняла голову и стала искать нужное окно. Нашла. И увидела того, кого и ожидала увидеть, — седоватого худого мужчину. Он просто стоял и смотрел на меня глубоко посаженными глазами. В какой-то темной одежде, похожей на халат. Мы смотрели друг на друга довольно долго. Чувство глубокого горя и печали передалось мне. Затем мужчина в окне — «старичок» — отошел в глубь комнаты и исчез из виду. Я вытерла слезы и тихонько пошла домой, ни разу не сбившись с пути. Безмерная жалость и грусть переполняли меня. Потом я много раз ходила к тому дому, но в окне никого не было. Я и не стала ходить. Происходили другие загадочные и странные истории, о которых я еще расскажу. Но эта была мучительной. Я точно знала, где дом, где окно, как должен выглядеть «старичок». Даже повторять не буду, что никогда до этого не бывала в Кронштадте. Прошло много-много лет, больше тридцати. И я решилась посетить город моего детства с экскурсией. Купили с мужем билеты и поехали на автобусе — теперь остров соединен с Санкт-Петербургом дамбой. Я хотела преодолеть свои воспоминания и спокойно посмотреть на казавшийся мне таким трагичным город детства. Экскурсовод торопливо рассказывал знакомые вещи. Показал уродливое «дерево счастья», которое специально соорудили для туристов — желания загадывать. Морской собор. Корабли и каналы. А потом мы подъехали к тому самому дому. И равнодушным голосом экскурсовод рассказал, что в этом доме жил Иоанн Кронштадтский. Проповедник и святой. И однажды жители города его сильно побили, в связи с чем больной Иоанн Кронштадтский проповедовал из окна своей квартиры. Вот из этого окна...

Я постаралась все забыть. Нельзя жить видениями детства. А дежавю — всего лишь проявления мозговой патологии. Наверное. Так психофизиологи утверждают. Ложные воспоминания. Нам просто кажется, что мы это уже видели. И как идти по незнакомой улице — нам кажется. И окно, одно из всех, — тоже кажется. И старичок в окне — кажется. И печаль, и тоска, и грусть — кажутся. Мы их воображаем расстроенным сознанием. Как и положено сумасшедшим... И сегодня мы говорили о будущей передаче про дежавю. Я вспомнила ту давнюю историю. Набрала в поисковике «Иоанн Кронштадтский». И первая же цитата из его проповеди меня утешила и успокоила. Пусть все это нам кажется. Некоторые философы считают, что и земная жизнь — она тоже нам кажется. Как сон. Каждому — свой... А вот только что прочитанные мною слова:

«...Случалось мне не раз пристально смотреть из окна своего дома на проходящих мимо дома — и они, как бы привлекаемые какою-то силою к тому самому окну, из которого я смотрел, оглядывались на это окно и искали в нем лицо человеческое; иные же приходили в какое-то замешательство, вдруг ускоряли поступь, охорашивались, поправляли галстук, шляпу и прочее. Есть тут какой-то секрет...»

Пер Гюнт

Я училась в хороших школах. В школах уделяли большое внимание нашему эстетическому развитию. Особенно — музыке. Мы не горланили песни, как подвыпившие рабочие; мы изучали историю музыки под руководством Дины Эммануиловны. Я всегда была склонна к изучению истории; это весьма поучительно и дает много пищи для размышления. Я очень внимательно слушала Дину Эммануиловну, которая была страстной поклонницей некоей

оперы. Изучению этой оперы мы посвятили целую учебную четверть. Мы слушали пластинку с неразборчивыми завываниями. И еще более неразборчивую, страстную речь учительницы. У нее был какой-то удивительный дефект речи: она говорила много, на высокой ноте, очень патетично, многословно, наверное, красочно, но выделить отдельные слова было просто невозможно. Но иногда мне это удавалось. Например, я научилась различать слова «Сольвейг», «лыжи», «Григ», несколько глаголов. В конце урока мы прилежно записывали в дневники название оперы, которую намеревались изучать и на последующих занятиях. Опера называлась неприличным именем главного героя. Просто и внятно: «Пердун». Впрочем, будучи интеллигентным и воспитанным ребенком, к тому же обратив внимание на малозаметный нюанс в произношении слова, я записывала в дневнике более приемлемую версию: «Пер-Дун».

Дом отдыха композиторов

Вся жизнь моя просто пронизана музыкой. И это при полном отсутствии музыкального слуха. Мама играла на рояле и пела. Мне нанимали учительницу музыки, с которой дело кончилось плохо: она оказалась пациенткой моего папы-нарколога. Зато я научилась плясать «камаринского» и выучила слова многих тоскливых романсов. Очень заунывных и страстных. Потом я изучала творчество Грига. А потом дедушка через Академию наук каким-то образом раздобыл путевку в Сухуми, на море. Почему-то в дом отдыха композиторов. И мы туда отправились вдвоем. О доме композиторов я просто обязана оставить мемуары. Я там видела Майю Плисецкую. Она сидела на берегу под зонтиком, всегда одна. Загорать ей было нельзя. Мои воспоминания о великой балерине очень коротки. Я подошла к Майе Плисецкой и стала в упор на нее смотреть. Чтобы запечатлеть в памяти для написания мемуаров. Майя Плисецкая тоже посмотрела на меня и хрипло сказала:

— Видишь этих жирных баб?

Действительно, в плоских волнах плескалось большое количество упитанных женщин. Факт бы налицо. Я признала его, кивнув.

— Хочешь стать такой же? — продолжила балерина.

— Нет, — твердо ответила я.

— Тогда не жри, — веско произнесла великая женщина.

Она отвернулась, а я пошла прочь, унося в сердце завет Майи Плисецкой. Он очень помог мне в борьбе с нарушением обмена веществ. Никакие диеты не помогут. Помогает только совет великой балерины. Он краток и полон смысла, как завершенный иероглиф. Я буду следовать ему всю оставшуюся жизнь.

Человек-оркестр

Музыка преследовала меня. Всю жизнь. И это святая правда. Музыка преследовала меня в физическом смысле и воплощении. В священном городе Аркаиме за мной гнался человек-оркестр. Я посетила священный город Аркаим. На самом деле это какие-то раскопки и сомнительные ямы посреди бескрайних степей. Там полно сумасшедших. Некоторые из них агрессивны. Я заплатила деньги за посещение нескольких ям и не увидела ничего достойного внимания. Мне стало скучно. Я отошла подальше от экскурсии и увидела домик. На домике была надпись, что здесь находится человек-оркестр. Пока я читала надпись, близоруко щурясь, из кустов появился сам человек-оркестр. Это был пожилой нетрезвый мужчина, в руках которого были трещотки. На груди висел бубен. К локтям крепилась гармоника. Во рту была приспособле-

на губная гармошка. Из карманов торчали еще какие-то музыкальные инструменты. Возможно, сзади была приделана дуда. В смысле, вставлена. Мужчина был страшен и дик. Он издавал звуки, которые должны были привлечь мое внимание и заставить раскошелиться. Я просто оцепенела от ужаса. Потом пошла прочь, все быстрее. Человек-оркестр не отставал. Мы уже не шли, а бежали. Бег сопровождался звуками. Особенно выделялись трещотки. Я хорошо бегаю на короткие дистанции. К тому же человек-оркестр был обременен музыкальными инструментами. Мне удалось спастись бегством и затеряться в толпе сумасшедших. В толпе мне были не рады — в паническом бегстве я наступила на чью-то персональную дорожку счастья. Сумасшедшая женщина в наряде, которому позавидовал бы Монтесума, грубо оттолкнула меня со словами: «Это моя дорожка счастья!» Я немедленно сошла с ее дорожки. У меня, слава богам, есть своя.

О воспитании детей

Есть отличная сказка в «Тысяче и одной ночи». Там все сказки отличные, но эта — еще и поучительная. Для педагогов и психологов. И любителей вмешиваться и давать советы. У султана был сын. И жена-султанша. Остальных можно не считать, жена настоящая — она одна. Сын был необычайно прекрасен: лицо, подобное луне. Тонкий стан. Прекрасные бедра. Они походили на подушки, набитые страусиными перьями. И от этого стан еще более красиво покачивался и изгибался. Так что сын еле ходил. Все сидел на прекрасных бедрах и угощался рахат-лукумом. Но однажды этот рахат-лукум ему в голову бросился. Он упился вином, встал на свои прекрасные ноги и, переваливаясь, посетил заседание государственного совета, где устроил скандал. Жениться захотел. Скандалил он стихами и песнями, а потом ударил своего папу-султана. Он не хотел ударять, но, понятное дело, в него вселился злой дух. Как объяснила султану жена. Все равно неприятно. Все плачут и читают стихи, как положено во время семейной бури. Позвали визиря. Который играл роль психолога и педагога в те далекие времена. И визирь велел наказать сына. Жестоким наказанием. Чтобы неповадно было папу ударять. Наказание придумали страшное: заточить сына на ночь в башню. Все плачут. У сына все шальвары от слез мокрые. Но визирь непреклонен. В башню. И весь вечер невольники носят в башню ковры, светильники, одеяла, подушки и припасы рахат-лукума. Музыкальные инструменты и книги. Ковры и мебель. Пока родители убиваются от горя. Потом рыдающего красавца-сына ведут в башню. И оставляют там на ночь с несколькими слугами. Красавец засыпает, а в окно башни влетает ифритка, которой юноша страшно нравится. И она даже принимает ислам. И осыпает храпящего царевича драгоценностями. И пишет у него на лбу свое имя. Так что утром все кончается очень хорошо. Царевича женят на ифритке. Теперь уже благонравной мусульманке. А визирю отрубают голову. За коварство. Это я к тому, что не стоит вмешиваться в воспитательные процессы. И склонять родителей к наказанию любимого отпрыска. Они его простят. Потому что любят. Что бы ни случилось. А вот визирю может не поздоровиться. Голову ему, кстати, отрубили по совету ифритки. Она сразу поняла, от кого надо избавиться в первую очередь...

О разговорах

Поехала я на поезде в Москву лет десять назад, на конгресс литераторов. Обсуждать вопросы культуры, искусства и творчества. Купила билет на поезд — поезд откуда-то с севера ехал. В купе — мрачный рыжий мужчина с запахом перегара. Угрюмая женщина средних лет. Лысоватый дяденька в оч-



ках, все документы какие-то штудирует. Я в окно смотрю. Усталая проводница чаю предложила. Все стали пить чай. Женщина достала копченых карасей и всех стала угощать. Хотя и угрюмо. Все отказываются. И она так, к слову, рассказала, что карасей наловил ее муж. Который ей изменил и вообще на пятнадцать лет младше. И она решила поехать в Москву, к родственникам. Поискать работу. Я задумчиво сказала, что Есенин тоже был младше Айседоры. И тоже изменял. Но вот — любовь. Сложный вопрос, трудная дилемма. «А кто такая Айседора?» — женщина спросила. Я рассказала. Мужчина в очках и с лысиной внес уточнения. Это был преподаватель университета, ехал в Москву документы для вуза оформлять. Мы плавно перешли к вопросам судьбы и любви. Примеры стали приводить. Женщина разрумянилась и тоже стала рассказывать, как у них на Севере один вернулся вот тоже, из тюрьмы. И на учительнице женился. Проводница зашла в купе за стаканами да так и осталась. Она тоже знала много историй. Потом люди из соседних купе стали заходить — сначала за проводницей, за чаем, а потом присаживались и очень интересное рассказывали. Про жизнь. Потом из других вагонов стали подтягиваться, так что в наше купе стали пускать по очереди. Рассказал историю, сорвал аплодисменты — и вышел. Уступил место следующему. Рыжий мужчина с перегаром в выгодном положении — он у окошка сидел. И как закричит: «Это что! Вот у нас на фанерном заводе!» И так всю ночь проговорили, горячо и страстно. Чай все себе сами наливали, потому что проводница боялась, что без нее самое интересное расскажут. Про ведьм, например. Про колдовство. Все, конечно, горячо спорили. Кто-то нервный кричал. Кто-то заплакал, но утешился и рассказал свою историю без очереди — в утешение. Рыжему мужчине надо было выходить, но он сказал, что поедет до Москвы. Он никогда не был в Москве. Погуляет, посмотрит на Кремль — и назад. Надоела работа и пьянство. Женщина с Севера сказала, что она тоже пару часиков погуляет, а потом купит обратный билет и домой поедет. Может, муж не такой уж пропащий человек. И, в общем, так до утра и проговорили. Почти сутки. Вышли в Москве. Бледные, усталые, но довольные. Попрощались всем поездом. Обнялись. Я поехала на конгресс. Там выступал какой-то писатель: «экзистенциальные основы творчества... духовность... смысловые семантические нагрузки текста...» И так мне стало тоскливо и пусто после поезда, что я домой уехала. У меня там муж. Друзья. Пациенты. Работа. Собачка. Мои книжки... Нехорошо, но в тот же день уехала. На самолете улетела, так что поговорить не удалось. Хотя я вспомнила еще массу интересных историй, которые не успела в поезде рассказать. И вот теперь здесь вам рассказываю...

О материнской любви

Все ругают своих матерей. Вокруг одни жертвы недолюбленности. Непонимания. Какого-то недружелюбного отношения со стороны родителей. Не родители, а чудовища. Были нормальные люди. Превратились в родителей — и пошла писать губерния. Садизм, ругань и разрушение незрелой психики ребенка. Одного только знаю человека, познавшего истинную материнскую любовь. Он мне лично рассказывал, мой друг Денис Александрович. Он же — подруга Верочка. Он, видите ли, транссексуал. Хотя даже в армии служил, в картографических войсках. А до этого жил в детдоме.

«Материнская любовь, Анна Валентиновна, — говорил мне Денис Александрович с поучением, — это святая любовь. И я знал такую любовь в своем детстве. Решили мою мамочку лишить родительских прав за алкоголизм. Хотя она не так уж часто пила и готовила суп, когда была трезвая. Когда за мной из детской комнаты милиции приехали, мамочка забросала меня тряпками, облила бензином и подожгла. «Не отдам, кричит, моего Диньку! Пусть лучше сгорит, чем без матери останется!» Вот такая она, Анна Валентиновна, святая

материнская любовь. Я потом в детдоме всем рассказывал, как мама меня не хотела отдавать. Все завидовали, дети-то. И потом она из тюрьмы один раз освободилась и ко мне приехала в детдом. Конфет привезла. И опять все завидовали. Я очень любил свою маму. Когда ее убили, я сильно плакал». И я слушала и плакала. От святой материнской любви. А потом пошла на работу слушать ужасные и душераздирающие истории о жестоких матерях, которые ни черта в психологии не понимали. А туда же — рожали и воспитывали. Без всякой святой материнской любви…

О жалобах

Ехал писатель Бунин в поезде с другим писателем. И все жаловался: плохо себя чувствует. Дела неважно идут. Возраст. И вот — нога болит. Ехали они, ехали, а потом спутник Бунина выскочил из купе и закричал: у него нога страшно заболела. И плохо стало. И это неудивительно: научно доказано, что передается депрессия. И даже программа смерти передается. И психические заболевания. Как зевота. И поэтому зря Бунин обижался на Чехова, что тот ему коротко ответил на восьмистраничное письмо, состоявшее из жалоб и описания сложного душевного состояния. Чехов телеграмму послал: вы, мол, поменьше пейте. И жизнь наладится. И Бунин обиделся. Надо же. А изливать свои жалобы тяжелобольному человеку на пороге смерти он считал совершенно нормальным. Чехов остатки легких выплевывал, а Бунин о своих противоречивых стремлениях ему писал. И о ноге. Хотя у него с ногами ничего страшного не было — судя по биографическим сведениям. И есть у Чехова один рассказ о враче, у которого умер единственный ребенок. А пациент ему жалуется, что от него жена сбежала. И возмущен отсутствием сочувствия и нежеланием доктора разделить его страдание. Видимо, после общения с Буниным написан рассказ. Я к тому, что прежде, чем изливать душу и рассказывать о страданиях, подумайте о других людях. Мне лично очень совестно бывает. Не за себя. А за тех, кто громко и горестно рассказывает, что у него голова болит иногда. Или денег мало. Или муж не очень сильно любит. А вдовы и сироты его утешают. И инвалиды поддерживают. А умирающие — подбадривают. И даже шутят, как вот Чехов в телеграмме Бунину.

Телефонное хулиганство

Теперь особо не похулиганишь по телефону — номер определяется. И в интернете тоже не так легко. Разве что на анонимных форумах, где злые неудачники поливают грязью достойных людей. Но достойные люди на форумах не бывают. А в компании таких же неудачников все хулиганство теряет смысл. Как никого не удивляет поведение сумасшедшего в сумасшедшем доме, а уголовника — в тюрьме. Некого поражать. А раньше по телефону можно было хулиганить и шутить совершенно безнаказанно. И этим занималась одна старушка из Подмосковья, тетя Лиза. Тетя Лиза была графиня. Самая настоящая, ее папа был дореволюционный граф. Она жила в таком деревянном домике под липами, с садиком. И носила прелестные, хотя и залатанные платья из шелка. С жабо и манжетами, довольно потрепанными. Тетя Лиза постоянно курила. И сыпался пепел времени с ее длинных подолов. И она хулиганила по телефону. Но очень странно. Возьмет записную книжку и звонит некоторым. А когда берут трубку, нажимает на рычаг — отбой. Но она действовала не из хулиганских побуждений. А из самых благородных. Позвонит своей подруге, такой же старушке. Положит трубку и говорит: «Пусть Катичка думает, что ей звонил Леопольд. Он был в нее страстно влюблен. Катичка по сей день его помнит. Она услышит звонок, добредет до телефона — а там гудки короткие.

И она подумает, что Леопольд положил трубку, заслышав милый голос. Застеснялся. Но помнит и любит!» Или позвонит юной внучатой племяннице. И тоже трубку положит. Чтобы девушка думала, что звонит поклонник. Робкий и застенчивый. Позвонил и испугался, не смог произнести слова любви. И она будет думать, мечтать и верить в себя и свое счастье. Потому что поклонники вот звонят и, можно сказать, клянутся в вечной любви. И так она звонила иногда тем, кто, по ее мнению, нуждался в поддержке и любви. В надежде. В избавлении от одиночества. А сама она ни с кем почти не разговаривала по телефону — в самом деле, что за удовольствие со старухой разговаривать? Про здоровье, про погоду, про лекарства. И все тетю Лизу любили, хотя и не догадывались о ее хулиганстве. Она просто намекала людям, что кто-то их любит. И хочет поговорить. Но стесняется. И, может быть, стоит позвонить самому и начать беседу. Наверное, некоторые так и поступали. А звонила всего лишь старенькая-престаренькая тетя Лиза из своего домика под липами… А я сидела на низеньком стульчике возле ее кресла в папиросном дыму. Тогда еще не знали, что дым — очень вреден. Тогда думали, что самое вредное — одиночество и ненужность.

О хорошем

Иногда спасительно и полезно вспомнить о хорошем. Что произошло за день — хорошее. Я зашла вот в магазин за хлебом. И мужу булочку купила. Такую с корицей, кругленькую. И, в размышлениях о психологическом шантаже, инстинктивной агрессивности и проблемах Танатоса, пошла домой. Поскальзываясь на грязноватом снегу. В глубочайших раздумьях. Но быстро. Я быстро хожу. И кто-то топочет и кричит. Кричит и топочет. «Девушка! Девушка!» И наконец я поняла, что это мне кричат. И меня догоняют. И подбежала такая женщина средних лет. В пальто и шапке. Шарфик размотался. Шапка немного набок съехала. Запыхалась. И протягивает мне булочку. И так радостно, оттого что догнала, говорит: «Вы булочку забыли!». Это она за мной бежала из самого магазина, довольно далеко. И совсем это не женщина средних лет. Потому что у нее круглые медведиковые глазки. И улыбка с ямочками. И из-под шапки прядь волос. Девочка лет пятидесяти. А в руке — булочка. Господи, думаю, а жить-то можно на свете. Не так все и плохо. Несмотря на инстинкт агрессивности и проблемы Танатоса. И сорок пять лет. Говорю: «Спасибо!» А женщина-девочка поправила шапку и сказала, что тоже сейчас пойдет и такую же булочку купит. Чай будет пить. И, улыбаясь, мы разошлись. А на солнце уже снег таял сегодня, я лично видела.

Ловушка

Зовут в гости. Приходите, мол, посидим. Поговорим. Выпьем рюмку чаю. Еще будет торт, запеченное мясо и окрошка. Или еще что — мне неважно, потому что я на строжайшей диете. Из-за обмена веществ. И к спиртному не прикасаюсь вообще. О чем всем сообщаю сразу, заранее. Но и им неважно — это они так заманивают меня в гости. Харчами и выпивкой. И еще — фотографии будем смотреть, чтобы совсем бездуховной встреча не казалась. На ноутбуке. На котором я ничего не вижу, да и места, которые посетили хозяева, мне мало интересны. По телевизору есть канал «Национал Джеографик». Там много красивых мест показывают. Если я захочу, я посмотрю. Или даже съезжу куда-нибудь. Недалеко. Я интроверт, мне дома очень хорошо. А сходить я могу на выставку или в кино. Там не надо делать вид, что ешь. И притворяться, что пьешь. И не надо с томительным ужасом ожидать, что сейчас тебе расскажут все проблемы и несчастья, которые накопились у хозяев. И

будут ждать ответа и помощи. Немедленной. Неважно, что нужно несколько консультаций. Неважно, что это не моя компетенция. Неважно, что время и место не слишком подходящие. Отвечай. «Танцуй, Изадора!» — как кричал пьяный Есенин. Который благоразумно успевал напиться, чтобы его не заставили стихи читать. Или плясать «русскую». Хотя и его заставляли в доме у писательницы Гиппиус на заре его славы. Именно — плясать и петь частушки. И невольно думаешь, что хорошо бы напиться, как Есенин, и хозяевам, как Есенин, разбить окно. Или еще что выкинуть. Чтобы не отвечать на вопросы. Но отвечаешь, тоскливо и деловито. И думаешь: ведь это милые люди. Нормальные. Ведь они не позовут грузчика в гости. И после угощения не заставят его носить тяжелые предметы. Или преподавателя английского за миску щей и стакан водки не заставят же заниматься с ними спряжением глаголов. Или врача — осматривать жизненно важные органы. Зачем они так? И смотришь на спасительную дверь и на часы, и мучительно придумываешь оправдания, чтобы уйти к себе домой, к своим книжкам и компьютеру. И когда приходишь, на душе так тяжело. Как, наверное, у Высоцкого было, когда он написал: «Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают». Я и не отзываюсь. И к столам тем более не подхожу. А в гости меня пригласил один коренной москвич, замечательный человек. Он занимается лечебным голоданием, пьет только воду, компьютера с фотографиями у него нет. А на вопросы на мои он сам ответит. Ему голоса все продиктуют. А от вредоносных влияний у него есть шапочка из фольги. Вторую он даст мне, когда я приеду. И, знаете, мне это предложение показалось куда более заманчивым, чем визит к дальним родственникам и школьным друзьям. Я там уже была. И вот — делюсь грустными впечатлениями...

Про день рождения

За сорок пять лет много прошло дней рождения. И радостных, и грустных. Разных. Но я об одном расскажу, самом памятном. Когда мне шесть лет исполнилось. Родители мои были интеллигентные и образованные доктора. И дружили с поэтами, писателями и музыкантами. Папа сам играл на гитаре. Мама — на рояле. Меня учили. Безуспешно, к сожалению. И на мой день рождения в гости приглашали таких же интеллигентных детей с их образованными и творческими родителями. И я спросила у мамы: «Можно я тоже приглашу одну девочку из двора?» Мама согласилась, конечно. Приглашай, говорит, Анечка, кого хочешь. А я хотела пригласить Лену Коптяеву. Это была такая девочка в вытянутых тренировочных штанишках и вязаной шапке, надвинутой на глаза. Немного сопливая, извините. Волосы из-под шапки торчали. Говорила она невнятно и грубо. И не очень хорошие слова. И копалась в помойке иногда. И дети с ней не то что не дружили, а просто разбегались, когда она во двор выходила. Дралась она очень больно. А мама у нее освободилась из тюрьмы и работала дворником в нашем дворе. Зимой скребком очищала асфальт. А летом — метлой. На руке кривыми буквами было написано: «Люся». Зубы железные. Иногда она шаталась и пела песни. Такие, несоветские. Но жизненные. На меня производили большое впечатление. И вот эту Лену я боязливо пригласила на свой праздник. Вместе с мамой. Потому что все другие дети должны были прийти с мамами и папами. Лена так изумленно на меня посмотрела и кивнула. А мои мама и папа еще более изумленно посмотрели на появившихся на пороге Коптяевых. Хотя и скрыли свое изумление. Насколько могли. Лена и ее мама принарядились. Мама — в платье с цветочками. Лена — в новые тренировочные штанишки. Спортивный стиль. Лена мне подарила пригоршню медного купороса. Очень красивого голубого порошка. Из кармана достала. Она его на помойке нашла. А ее мама — книжку. Сказки. Подержанную, но интересную. И мы отлично провели день рождения. Лена

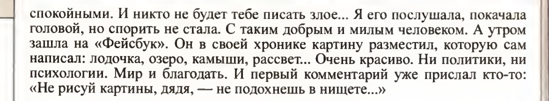
играла с другими детьми и не дралась почти. И научила меня выдувать пузыри из слюней. А Ленина мама сыграла на гитаре моего папы. И удивительно красивым голосом спела песню. Один куплет до сих пор помню: «А мусор пытал меня, крыса позорная, скажи мне, воровка, с кем в деле была...» Гости аплодировали. Приятный вечер. Для всех. И для врачей. И для поэтов. И для музыкантов. И для Лены Коптяевой. Меня, кстати, с тех пор никто во дворе не обижал. Даже плохие мальчишки. На моей стороне всегда были Лена Коптяева и ее мама... И за все сорок пять лет это был лучший день рождения. Осталась грустная песня. Умение выдувать пузыри. И дружить с довольно удивительными персонажами, из которых получаются самые верные и преданные друзья...

Про шарфик

Лев Толстой себя помнил с пеленок. В буквальном смысле. И многие люди — тоже. А я помню, как я ходить научилась только-только. Настала уже зима. Валеночки мне надели, такие, с калошками. Шапку круглую с резинкой. И шубу. Мое поколение помнит эти шубы из цигейки. Они больше самого ребенка весили. Как целый дом. И, конечно, шуба несколько сковывала движения. Мягко говоря. Навыки пешего хождения утрачивались. Шаг сделаешь — и падаешь. Но не больно. Вообще ничего не чувствуешь. Лежишь, как жук, и встать не можешь. Пока не поднимут. Потом дальше передвигаешься. Шага два-три. И дедушка со мной гулял, держал меня за шарфик. Не прочно, а для страховки. Чтобы предупредить падение. И стоило ему меня взять за шарфик, как я падать переставала. Чудесным образом появлялась устойчивость в инквизиторской советской шубе и скользких валеночках. Шла себе да шла. И на коньках он меня так же учил кататься потом — держал за шарфик. Сам чуть не падал на льду — ноги ему пулеметной очередью в Сталинградской битве перебили. Но я потихоньку катилась и не падала. И научилась. А потом он меня на велосипеде учил кататься. Я ехала, а дедушка бежал сзади, держась за багажник. И командовал: «Тормози, Анечка! Поворачивай, Анечка!» И тоже научилась. Без страшных травм и переломов. Единственные мои спортивные достижения за всю жизнь. И еще я научилась своей работе. Надо правильно держать человека за шарфик. Чтобы это не стесняло его движения, не давило на горло, не душило. Чтобы он вообще этого не чувствовал. Но знал, что я где-то сзади иду. Или бегу. И кричу: «Тормозите, Алексей Николаевич! Направо, Тамара Петровна!» — это в случае опасности. И человек чувствует, что его за шарфик держат. Для страховки. И через этот шарфик передают энергию любви и заботы. Которые тоже руками потрогать нельзя. А только почувствовать. И те люди, которых вот так держат, реже падают. Не расшибаются. Многому учатся без серьезных потерь. А если даже упадут — обязательно встанут. Хорошо, когда тебя за шарфик держат. Или за багажник. Как Ангел-Хранитель...

О злых комментариях в интернете

Вы не расстраивайтесь, если вам что-то неприятное и критическое пишут. Это нормально. Злые люди безошибочно чувствуют добрую энергию. И немедленно хотят ее погубить и уничтожить. Раз уж насладиться не в состоянии. Я на днях разговаривала с одним ученым-философом, мягким, добрым человеком. Доказывала, что зло существует. И носители зла — тоже. Даже в интернете. Пишут оскорбления и обидные комментарии. А добрый ученый заявил, что это из-за того, что мы сами задеваем чьи-то чувства. Пишем провокационные посты. На политические, к примеру, темы. Надо быть добрыми,


спокойными. И никто не будет тебе писать злое... Я его послушала, покачала головой, но спорить не стала. С таким добрым и милым человеком. А утром зашла на «Фейсбук». Он в своей хронике картину разместил, которую сам написал: лодочка, озеро, камыши, рассвет... Очень красиво. Ни политики, ни психологии. Мир и благодать. И первый комментарий уже прислал кто-то: «Не рисуй картины, дядя, — не подохнешь в нищете...»

О сокровище

У некоторых людей есть сокровище — другой человек. И этих обладателей сокровища легко узнать по тайной улыбке и мечтательной поволоке в глазах. И по довольно спокойному отношению к жизненным неурядицам. И по румянцу на щеках, когда они про свое сокровище рассказывают. И умиляются. И восторгаются. И даже недостатки сокровища описывают так прелестно, так любовно, так радостно... Иногда сердятся на свое сокровище, но таким особенным образом: не повредило бы оно себе! Не упало бы и не расшиблось! Не заработалось бы до смерти! Не стало бы жертвой злых людей или холодного ветра: люди обидят, а ветер — продует. И престарелый профессор взахлеб рассказывает об удивительно умном студенте. Просто юном гении. Который все понимает с полуслова. Пишет удивительные по глубине статьи. Такой самостоятельный. А брючки старые. Рубашечка мятая. Никто о нем не заботится. Наверное, питается плохо. И все свои знания и открытия профессор рассказывает этому замечательному студенту. Часами они сидят в аудитории и разговаривают. И провожают друг друга до дому, не в силах расстаться. А грубый владелец заправки, который весь мир считает населенным мерзавцами, познакомился в санатории для нервнобольных с одним шеф-поваром. Ну, может, он просто повар, но ему просто суждено быть шефом. Гениальный повар. Редкая умница. Такой красивенький, как статуэтка фарфоровая. Владелец заправки ходит к своему повару в гости. И просто душой отдыхает от семьи и работы. Его Алексей Емельянович такие пиры закатывает! Котлетки, пюрешка воздушная, нежная. Еще салат. И мерзавцы, которые населяют мир, хотят обидеть Алексея Емельяновича. Но не выйдет. Владелец заправки бережет свое сокровище. Только им и живет. А скептически на все смотрящий врач-травматолог бережно показывает фотографию своей медсестры. И даже поглаживает милый облик рукой, приговаривая: «Она, конечно, психопатка и истеричка. Но я без нее жить не могу!» А мрачная бандерша оживляется и совершенно умилительно рассказывает о мальчике Женечке. Она к себе взяла сына одной убитой работницы. Мальчика четырех лет. Некоторые профессии довольно опасные; могут убить. И суровая, много что повидавшая бандерша совершенно преображается, когда говорит о своем Женечке. О том, что он непременно станет кандидатом наук. Он исключительно умный. Он уже как профессор. И репетитор по английскому тоже не нахвалится этим умницей Женечкой. И все для него, и вся жизнь — для него. И, слегка улыбаясь от счастья, эти обладатели сокровища идут жить дальше. Потому что есть для кого. И Фрейд, наверное, всюду увидел бы комплексы и сексуальную подоплеку. Но только у него тоже было сокровище — внучек Мэтью. И в серьезных и важных статьях пожилой доктор все рассказывал про своего Мэтью. Как он прятался в кроватке. Как игрушки бросал. Какие ему сны снились. Про сокровище очень хочется рассказывать и говорить, даже в научных статьях. Это чистая любовь. Нет в ней никакой сексуальности. И мучительности. Просто — восторг и радость. И самое лучшее в жизни — иметь свое сокровище. И жить ради него. И надоедать всем рассказами о его милых выходках и словечках. Может быть, это и значит — жить.



Хорошее место

Очень хорошее. Прекрасное место. Счастливое. Это наш университет. Все изменилось, а университет стоит. И двери те же, большие такие. И даже гардеробщик, кажется, тот же. Который пальто выдавал не по номеркам, а кому какое нравится. В мою юность пальто были примерно одинаковые. В фойе шахматисты играют под управлением моего профессора. Профессор совсем старенький. Кричит: «Аня! Аня!» — и нисколько не обидно, что без отчества. А за ним другой профессор, опираясь на палочку, спешит. Беретик тот же, из-под него — седые кудри. Тоже совсем старенький. «Анечка!» — кричит негромко. И охранник улыбается и пропускает. Раньше не было охранника, но тоже хороший. И профессора радуются и почему-то решают показать мне кофейный автомат. Отличный аппарат. Из него пьет кофе Мухаммед, которого тоже мне показывают. Он из Йемена. И Мухаммед хороший. Он немедленно протягивает мне свою чашку, из которой пьет. И улыбается. И даже зачем-то пошедший с нами юный шахматист с доской тоже улыбается и обещает показать мне какой-то удивительный этюд одного гроссмейстера. И меня ведут в подвал, где радио. И там тоже все радуются и улыбаются. Знаете, от удовольствия бывает такая немножко нелепая улыбка, от которой губы сами разъезжаются в стороны. И все немножко краснеют от удовольствия. Просто так. И записывается передача, и передаются приветы слушателям, и все ужасно нравятся друг другу. И потом с такими же улыбками фотографируются. И машут, и прощаются. А потом девочка не выдерживает, догоняет меня и обнимает. На прощанье. И я ухожу, переполнившись счастьем и радостью. Просто так. И Мухаммед машет мне чашкой, а профессор — какой-то шахматной фигурой. И я понимаю, что такое альма-матер. Мой университет. Меня отсюда в роддом увезли. На лекции с младенцем пускали. Отдавали свое мыло, которое было по талонам. Пеленки стирать. Профессор покупал младенцу булочки в столовой, которые я, конечно, младенцу не давала — грудному нельзя. Но меня они буквально спасли в голодные годы. И здесь я свои дипломы получала. И написала свои первые рассказы. И ничего не изменилось — как была любовь, так и осталась. Навсегда. И ничего не страшно. Ни кризис. Ни старость. Ни даже смерть. Которая все равно когда-то будет. Пока есть хорошее место. Оно для каждого свое. У меня — наш университет. И вот еще — эта книга. Укрытие, убежище и приют души. Вот что такое — хорошее место.

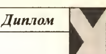
О мужском внимании

Есть мужчины очень элегантные и умеющие дарить подарки. А есть мужчины любящие, заботливые, но не умеющие. Не сердитесь. Не огорчайтесь. Они вас ужасно любят, просто — не умеют. Элвис Пресли тоже не умел выбирать подарки. И всем дарил розовый «кадиллак». Если бы «кадиллака» не было, дарил бы одинаковые тюльпаны и конфеты. Или отрез ситца на платье, как мне — мой дедушка. Он, хотя и работал в Академии наук, с деревенского детства запомнил, видимо: отрез ситца — лучший подарок. А мой маленький папа порадовал бабушку на 8-е Марта. Тогда только тюль появился, и бабушка сшила первые послевоенные шторы. С цветочками кружевными. Которые маленький папа аккуратно выстриг ножницами и сложил в стопочку. И преподнес эту стопочку бабушке. Шторы пришлось выбросить, но бабушка была очень растрогана и умилена. Потому что мотивы поступка были самые благие. Порадовать маму. Мужская забота заметна на моей детской фотографии. Я там с папой в его научной лаборатории. Сижу на решетчатом ящике с крысами. На ногах — галошки. Чтобы ножки не промочить. Трусики надеты поверх колготок — чтобы колготки не спадывали. Умно придумано. На голове — панамка. Чтобы не напекло солнцем голову. Панамка примотана бинти-

ком. Чтобы ветром не сдуло. Справа — горшочек. Удобно. В руках — книжка о вреде алкоголизма. Счастливая маленькая девочка, о которой заботится ее папа. Молодой ученый-нарколог. Надо еще добавить, что для дезинфекции меня папа чистым спиртом протирал. Как говорится, смерть микробам! Сразу видно, что об этой маленькой девочке заботится ее любящий папа. Мама, когда из командировки приехала, чуть в обморок не упала при виде меня. Но я была здоровенькой и веселой. Чего и вам всем желаю. Потому что те, о ком заботятся и дарят подарки, всегда будут веселыми и здоровенькими. И девочки, и тетеньки. Пусть даже цветочки из штор выстрижены, а шляпка бинтиком примотана — можно и потерпеть. Это они так любовь и заботу проявляют. Неумело, но от всего сердца.

Про любовь

Любовь — это узнавание. Мы узнаем друг друга в этой жизни. Так считал Платон, а до него — другие древние мыслители. Души встречаются и узнают друг друга. И снова хотят быть вместе. Хотя и не всегда это получается. Но как часто в рассказах встречается фраза: «Я ее увидел и понял — это моя жена». Или: «Я его встретила и поняла — это мой муж». Мужчины, как ни странно, чаще узнают. Хотя, как правило, далеки от мистики. Брат дедушки в своей книге про войну пишет, как ушел добровольцем в семнадцать лет. И эшелон стоял на станции Кузино. И беленькая девочка-школьница ему дала котлет из картофельной шелухи. А он ей — мыло. И на фронте он точно знал, что его не убьют. Как его могут убить, если на станции Кузино есть беленькая девочка? Его будущая жена. И он прошел до Берлина, а потом поступил в университет. И на лестнице встретил эту беленькую девочку. Узнал, что ее зовут Зоя. И, конечно, на ней женился. Потому что любовь — это судьба. И не надо волноваться, что вы свою любовь пропустите и не узнаете. Узнаете. Это я твердо обещаю. И возраст — тоже неважно. Бывало, и в шестьдесят узнавали. И старше. Время — оно только в земной жизни играет такую важную роль. Об этом знал мудрый Платон. И это подтверждают современные физики. И я присоединяюсь к этой точке зрения. Главное — быть внимательным и доверять своему чувству. И верить в любовь. И те, кто вот так узнал любимого человека, поймут, о чем я. А кому еще только суждено — потом поймут. А я вам от всей души желаю любить и быть любимыми. Ради этого стоит жить.



катаклизм, прикинул, что быстрее будет дойти до соседней магистрали, пересекая погост, и параллельным путем добраться до нужного места. Мужчина вышел из общественного транспорта и, постреляв глазами по сторонам, выбрал кратчайший путь к кладбищу.

Пройдя метров пятьдесят по территории погоста, Владимир замер от неожиданности. У мужчины было такое ощущение, что он пришел в абсолютно неизвестное место и находится далеко-далеко от мегаполиса. Высокие корабельные сосны закрывали полнеба, а шевелящийся от ветра кустарник бросал пляшущие тени на надгробия и могильные оградки. И вокруг стояла тишина, которую подчеркивало пение птиц, весело прыгающих по надгробиям. Шум города, конечно, добирался и до этого скорбного места, но он был приглушен. Чем дальше вглубь, тем больше чувствовался контраст между шумящим, суетным, сумасшедшим городом и этим тихим уголком, где покоятся те, кому спешить уже давно было некуда и незачем. На могилках то там, то там росли на удивление красивые цветы, эти остатки рая на земле. Дикие незабудки и ромашки, а также специально высаженные многоцветные петунии радовали глаз веселой пестротой.

Владимир нервно посмотрел на часы. «Не успеваю, как ни торопись, все равно опаздываю! — сокрушался путник, понимая, что очень нужная для него встреча, на которую он спешил, может не состояться. — Лучше позвонить и переназначить рандеву, если этой студентке так надо, то и подождет». Мужчина достал сотовый и дрожащими и влажными от пота руками набрал номер.

— Алло, — послышался из трубки девичий голосок.

— Лена, это вы?

— Да, я!

— Здравствуйте, это Владимир, насчет вашего диплома.

— А, добрый день, а я вас уже заждалась!

— Простите, пожалуйста, я опаздываю!

— Что случилось?

— В пробку попал, такое у меня невезение. Подождите меня, пожалуйста. Через час подойду. Ждите меня в том же месте, где и договаривались, я обязательно буду!

Заказчица помолчала в трубку, демонстрируя свое неудовольствие непредвиденной заминкой. После минутной паузы — не делать же диплом самой — нараспев произнесла:

— Хорошо, буду ждать.

«Ну, слава богу, можно теперь не торопиться, за час я всяко успею добраться до ее института, — удовлетворенно констатировал Владимир, — девчонке на самом деле, кажется, неохота писать диплом, и она готова заплатить хорошие деньги за его оформление. Оно даже и лучше, что подождет, значит, намерение расстаться с денежками у нее серьезное, не передумает, если что».

Пройдя еще сотню метров вглубь, Владимир остановился. Слева на возвышении стоял гигантских размеров чугунный памятник. Осторожно переступая по нападавшей хвое, путник подошел поближе к изваянию. Прочитав надгробную эпитафию, случайный посетитель кладбища понял, что памятник поставлен известному писателю начала двадцатого века. Надгробие представляло из себя выкрашенную черной краской металлическую скульптуру, которая раза в три превышала нормальные человеческие размеры. Голова писателя была засижена птицами, солнечные лучики играли на всей гротескно вычурной скульптуре. И то и другое несколько смазывали помпезно-трагичный пафос изваяния. В руках у сидящего литератора была книга, над которой он склонил голову. «Ну, все ясно, творческая личность за работой, — подумал Владимир. — Чтобы такой памятник поставили, надо было не только писать, но писать то, что нужно власти, времена-то какие были!»

Всегда, когда Борода сталкивался со старинными и старыми предметами, его охватывало некоторое волнение. Потрогать старину, ощутить прошедшее

время, — в этом было что-то мистическое. «Меня, да даже моих родителей не было на свете, а памятник уже стоял здесь», — думал одинокий путник.

Состояние умиротворенности и ощущение бренности всего сущего охватило Владимира. «Носимся все, бегаем по городу, а к чему, зачем? Броуновское движение, да и только. А конец какой? Все здесь лежать будем! — думал мужчина. — Присесть, что ли, и покурить! Интересно, где меня похоронят? Скорее всего, подальше от города, там за землю платить меньше надо. А этот некрополь уже лет пятьдесят как закрыт. Только если урночку с прахом подзахоронить. Так для этого в бывших родственниках надо иметь тех, кто здесь на законных основаниях лежит. Все как в жизни, родственные связи важнее многих других будут». Путник в минорном настроении смел ладонью мусор со скамейки, вкопанной напротив монумента, и осторожно сел на край доски.

Жадно затянувшись сигаретой, мужчина выпустил дым, в облако которого попала бабочка-крапивница. Насекомое, почувствовав что-то не то, стало метаться и через несколько мгновений уже сидело на противоположном конце скамейки. «Ишь какая быстрая, — размышлял путник, — не нравится ей, видите ли, табачный дым, а я назло в твою сторону еще пару клубов пущу!» Вконец растревоженная оранжево-черная красавица взлетела и уселась на голову писателя.

2

Посетитель погоста был среднего роста, на голове чуть-чуть вились светло-русые волосы, выглядел он лет на тридцать — тридцать пять. На ногах были белые адидасовские кроссовки, на коленях пузырились бледно-голубые джинсы, в тон брюкам была подобрана футболка с синим логотипом «Puma». Руки путник держал в карманах черного кожаного жилета турецкого производства, единственной вещи из гардероба, которая немного не вязалась со светлыми тонами остальной одежды.

Зарабатывал на жизнь Владимир тем, что за относительно небольшую плату выполнял дипломные и курсовые работы для студентов, у которых не было желания самостоятельно делать учебное задание, зато была энная сумма в карманах. Вчера позвонила одна такая заказчица по имени Лена и за несколько тысяч рублей поручила сделать дипломную работу. Нечаянный ангажемент обрадовал не избалованного деньгами мужчину. Владимир для виду помолчал несколько секунд, чтобы набить себе цену, потом озвучил сумму:

— Двенадцать тысяч, аванс вперед, 30 процентов от стоимости работы.

— А не дорого? Может, скидочку дадите? — прощебетала студентка.

— Нет, двенадцать тысяч — то уже со скидкой, обычно за дипломы я меньше четырнадцати не беру, — впадая в неизвестно откуда пришедший кураж, приврал Владимир.

— Ну, ладно, хорошо, двенадцать так двенадцать. А скажите, вы не сбежите с моим авансом? Что мне тогда делать? Где вас искать?

— А я вам расписочку напишу и паспорт покажу, будьте спокойны!

Закончив разговор, мужчина довольно потер руки. Если быть честным, то Владимир согласился бы сделать работу и за десять, а может, и за восемь тысяч, поскольку находился на мели в финансовом отношении, но студентка оказалась податливой и не стала настаивать на меньшей сумме. «Двенадцать тысяч, да я на эти деньги пару месяцев могу прожить! — думал мужчина. — Самой работы над дипломом от силы дней на десять, а к тому времени еще кто-нибудь заказ подбросит, тогда я смогу и к осени подготовиться, купить джинсы новые и ботинки на осень! Хотя я, кажется, начал делить шкуру неубитого медведя. Сначала написать надо, а уж потом думать, как деньги тратить».

Волею судьбы Борода был обречен на непостоянные, иногда случайные заработки. Причина всех жизненных неудач была в том, что мужчина состоял

на учете в психдиспансере. Соответствующая отметка в трудовой и то, что Владимир попал в базу данных дурдома, закрывали путь к стабильному и постоянному заработку. Все приличные организации требовали бумажку о состоянии психического здоровья, а такую справку молодому человеку достать было невозможно. Постоянный посетитель дурдома пробовал себя в разных амплуа, не требовавших документального подтверждения своей вменяемости. Владимир и метлой уже намахался, и чужое добро успел поохранять, и шурупы в шкафах и столах успел отверткой повертеть. Опыт работы дворником и сторожем, а также сборщиком мебели показал, что времени это отнимало много, сплошная нервотрепка, а денег всего ничего. «Все-таки интеллектуальный труд оплачивается лучше, да и работать за компьютером легче, чем подтирать чужие плевки и вставать ни свет, ни заря», — думал вольноопределяющийся.

По поводу своей душевной хвори мужчина не испытывал иллюзий. Владимир точно знал, что рано или поздно у него снова засвистит кукушка, или, проще говоря, молодой человек опять окажется в дурдоме. Ни таблетки, которые в большом количестве глотал больной, ни соблюдение режима дня не гарантировали устойчивого душевного состояния. Фатальное попадание в больницу предвосхитить и предупредить было нельзя.

Никакие врачи с их знанием душевных болезней, которое, если посмотреть честно, было на уровне шаманства, ни современные фармакологи, изобретавшие все новые антидепрессанты и нейролептики, не излечили хотя бы одного шизофреника. Последнее Владимир знал лучше кого-либо, так как среди его многочисленных собратьев по несчастью ни одного вылечившегося не было. То есть хоть лечись, хоть не лечись, результат был один, ты — душевнобольной, причем пожизненно. А это испытание сродни тюремному заключению длиною в человеческую жизнь, причем без права на УДО или амнистию.

Предписывая то или иное лечение, врачи не помогали пациенту, а лишь делали отметку в истории болезни, в которой за непонятным медицинским почерком и латинскими терминами фактически скрывалась беспомощность эскулапов.

Обладатель черного жилета докурил сигарету, затушил чинарик и встал, чтобы продолжить путь. «Интересное это место, кладбище: в городе толчея, а здесь не видно ни души. Не спешат горожане на погост, чтобы родственничков, ушедших в мир, иной посетить! Если бы не печальная атмосфера, то лучшего места для отдыха не найти, — размышлял путник, — надо будет еще сюда зайти, уютно здесь, хоть и немного жутковато!»

Рассуждая таким образом, Владимир быстрым шагом шел по кладбищенской аллейке. Внезапно, бросив взгляд в сторону, мужчина увидел торчащие из-за старинного серого обелиска ноги, одетые в стоптанные кроссовки. Путник вздрогнул от неожиданности и, преодолев страх, подошел поближе. Испуг сразу же прошел после того, как Владимир увидел хозяина торчащих ступней. Неизвестный сидел на могильном холмике, обратив свои ноги в сторону аллейки. Под кроссовками у незнакомца, как у известного персонажа, носков не было.

— Подайте Христа ради на булку хлеба, — хриплым голосом попросил нищий, тряся всклокоченными седыми волосами.

— Так ты милостыню здесь собираешь? Ни за что бы не догадался! — спросил удивленный путник.

— А что здесь делать-то еще?

— Ну, может, отдохнуть присел!

— Ну, ты даешь! — захохотал попрошайка. — Кто же на кладбище-то отдыхает? Покойники только!

— А что, тихо здесь, хорошо, — ответил Владимир.

— Так милостыню-то подашь, господин хороший? — понуждал путника к подаянию попрошайка.

— Вот тебе десять рублей, держи, — подавая бумажку седовласому про-

сителю, сказал Владимир, полагая, что помогать нуждающемуся — очень богоугодное дело.

— Спасибо! А ты сам-то что, в храм идешь, что ли? Случилось у тебя чего? Может, помолиться за тебя? — поинтересовался седой старик.

— Да нет, все нормально, а помолись за Владимира! У тебя у самого-то как дела? — решил проявить сочувствие случайному собеседнику жертвователь милостыни и пожалел, что спросил. Незнакомца после этих слов Бороды понесло:

— Плохо, на учете я состою в психдиспансере. Каждую весну и осень в дурке лежу. Обещали даже в интернат отправить, да мест там нет, все по блату. А ведь в больнице-то и завтрак, и обед, и ужин, все по расписанию, не то что здесь. И одежонку хоть плохонькую, но чистую выдают!

Владимир помрачнел. «Ну что это такое? С кем ни встречусь, обязательно больным на голову оказывается. Или впрямь нас, дураков, сейчас больше стало, или верно правило, о котором мне говорили, «Первый закон дурака» называется. Если в каком-то месте появляется дурак, то тут же появляется и второй. Следствием этого закона является то, что психи, как правило, только с такими же несчастными дружбу водят и дела делают. «Сказать этому бродяжке, что я тоже больной?» — подумал путник.

Тем временем попрошайка продолжал плакаться на судьбу:

— Сын у меня алкаш законченный, не работает, пьет с утра до вечера, деньги у меня отбирает! Да еще бьет, — ощупывая припухший после удара сынка глаз, причитал нищий, пуская слезу.

— Не расстраивайся, одумается твое чадо, а ты выздоровеешь! — придавая бодрость своему голосу, сказал Владимир и добавил: — Зовут-то тебя как?

— Копыто, — ответил попрошайка.

— Как-как?

— Фамилия у меня такая, Копытов, а все меня зовут Копыто и иногда по имени, Вася.

— Вася, не переживай, все у тебя хорошо будет! — с этими словами Владимир, памятуя о том, что ему надо торопиться на встречу, заспешил к выходу с кладбища. Выйдя с погоста, путник вновь окунулся в городскую суету. По оживленной трассе в обоих направлениях, в несколько рядов, двигался транспортный поток, бензиновая гарь топила в себе все остальные городские запахи.

3

Борода, усевшись на свободное место в автобусе, стал прикидывать, насколько сложно будет написать диплом, на оформление которого он подписался. «Все-таки работа для университета, тут туфта не пройдет», — думал мужчина.

— Что за проезд? — услышал над самым ухом ушедший в свои мысли путник и вздрогнул от неожиданности.

— А у меня это, проездной.

— Показывай! — басом пропела дородная тетка с черной сумкой и металлической бляхой на ремне, поблескивая из раскрытого рта коронками белого металла.

— Сейчас, сейчас, — лихорадочно роясь в карманах в поисках нужной бумажки, ответил Владимир. Наконец, найдя желто-зеленый с голографическим рисунком клочок гербовой бумаги, пассажир сунул его под нос кондуктору.

— Что-то ты слишком молодой, чтобы по льготному проездному ездить! Его только пенсионерам дают.

— А я и есть пенсионер.

— Не похоже! Вон ты здоровенный какой! — молвила кондукторша. — Ну-ка плати! Забрал, наверное, бумажку у своей бабушки и ездишь зайцем по городу!

— А у меня и пенсионное с собой, смотрите, если не верите, — ответил Владимир и показал корочки. Обладательница блестящей бляхи замолчала и, недовольно хмыкнув, проплыла в глубь салона.

— Остановка «Университет», конечная! — раздалось из динамика.

Мужчина вышел из автобуса и, встав возле остановочного комплекса, на прилавке которого лежали растаявшие от жары шоколадки и нагретое солнцем пиво, стал оглядываться по сторонам в поисках заказчицы. На остановке стояли несколько девушек, но ни одна из них не была блондинкой, одетой в синие джинсовые шорты. Именно такие свои приметы назвала Лена по телефону.

Путник, посмотрев время, пришел к выводу, что он приехал даже на пятнадцать минут раньше, чем рассчитывал. «Ну, что же, подожду, хоть на девушек симпатичных посмотрю». Посмотреть было на что. Молодая поросль, как себя ни уродовала нелепым макияжем и смешной одеждой, оставалась прекрасна. Владимир относился к той части мужчин, которые считают, что некрасивых девушек не бывает.

— Владимир! — послышался за спиной у исполнителя письменных работ нежный девичий голос. — Здравствуйте!

Мужчина обернулся и увидел перед собой голубоглазого эльфа с копной длинных золотистых волос. На девушке, как показалось молодому человеку, почти ничего не было. Сверху на красавице был топик, под которым волновалась не стесненная бюстгальтером грудь. Шорты девушки были такого размера, что мало чем отличались от стрингов. Кровь прилила к лицу Владимира. Срывающимся, хрипловатым голосом он ответил:

— Добрый день!

Заказчица окинула Бороду внимательным взглядом, мило улыбнулась и в ответ еще раз поприветствовала мужчину:

—Здравствуйте!

Минут пять девушка пыталась объяснить Владимиру то, что он знал лучше заказчицы, то есть как должна быть написана работа.

— Вот вам тема, вот список литературы, — пела соловьем Лена. — Вы сразу все посмотрите, если что неясно, спросите, а то у меня времени не будет с вами еще встречаться!

Мужчина перибирал для вида протянутые ему бумаги, делая вид, что внимательно изучает материал, после чего сказал:

— Все ясно, за месяц будет сделано.

— Ой, как здорово, вы просто выручаете меня! — поощряя Бороду улыбкой, пропела девушка.

— Это моя работа — студентам помогать,— довольный тем, что сделка близка к завершению, ответил молодой человек.

— Ну, тогда, когда все сделаете, позвоните! — проворковала блондинка. После этих слов в диалоге договаривающихся сторон возникла пауза. Молчание нарушил Владимир:

— А деньги?

— Что?

— Ну, аванс, я без него работу не начинаю.

— Ах, деньги, — сказала, немного огорчившись, девушка. — Вот и деньги. Может, все-таки уступите в цене? — ответила красавица и начала вилять красивыми бедрами.

«Знаю, знаю, о чем ты сейчас думаешь, небось прикидываешь, чтобы через твою приятную улыбку и виляние бедрами тебе диплом в полцены сделали. Нет, ты уж, красавица, будь добра плати, а женское внимание, если оно мне нужно будет, я и от девушки по вызову получу», — цинично подумал мужчина.

— Нет, Лена, диплом серьезный, вы же в университете учитесь, не в шарашке какой-нибудь! Значит, и написано должно быть хорошо, времени потребуется много. Плюс работа с первоисточниками, — немного сердито просипел Владимир.

— А расписочку вы мне обещали, — уже более холодным тоном сказала красавица, — и паспорт свой покажите!

— Нет проблем! — ответил Владимир, подав заказчице свой документ и присев на колено, дрожащей от тремора рукой начал писать расписку. «Чертовы нейролептики, — думал мужчина, — если их не пить, то из больницы выходить не буду, а когда их принимаешь, руки ходуном ходят». Заказчица тем временем удивленно наблюдала за трясущимися руками молодого человека и даже спросила:

— Владимир, а вы случайно не пьете?

— Это у меня после вчерашнего, выпил немного, — соврал мужчина, — да вы не беспокойтесь, я на свадьбе был, — продолжал оговаривать себя молодой человек.

— А, понятно, — подавая четыре тысячи аванса, немного кривя губы, ответила Лена. — Пересчитайте!

Владимир, чтобы не демонстрировать больше дрожание рук, взял деньги, не считая, и почувствовал, что у него начинается мелкая дрожь шеи. У Бороды это было не впервой, как только кто-нибудь обращал внимание на тремор рук, молодой человек пытался усилием воли остановить волнение. Но как назло, вопреки воле хозяина, трястись начинала и голова. Отдав Лене расписку в получении денег и взяв пакет с бумагами, молодой человек побыстрее попрощался с заказчицей.

4

Распрощавшись с красавицей, мужчина нервно закурил. Любая сделка, касающаяся денег, давалась Владимиру с большим трудом. Больше всего его волновало то, какое впечатление он оставлял о себе у заказчика. Постоянные мысли, не был ли он смешон или нелеп в своем поведении, были следствием того, что длительное общение с психиатрией полностью лишило Владимира уверенности в своих силах и утвердило его в том, что он неполноценен.

Выкурив, вопреки своему правилу, целую сигарету, мужчина постепенно пришел в себя, а вспомнив про полученный аванс, и вовсе воспрял духом. Деньги, которые мужчина получил от студентки, грели путнику душу. «Четыре синеньких! Это половина моей пенсии без нескольких копеек! Неплохо было бы за квартиру заплатить, да и продуктов купить на будущий месяц надо». За долгое время нужды, когда приходилось отказывать себе во многом, молодой человек взял за правило, пока есть деньги, закупать продукты впрок, чтобы тогда, когда в карманах будет гулять ветер, хотя бы не голодать. Поэтому между посещением промтоварных магазинов и визитами в недорогие продовольственные супермаркеты путник выбирал второе.

Вещей, на которые можно было бы потратить полученные деньги, было много. Помечтав пару минут, Владимир оборвал себя, понимая, что воздушные замки, которые красиво выстраивались в голове, ничего общего с реальностью не имеют. Только жесткая каждодневная экономия позволяла Бороде кое-как сводить концы с концами.

Когда фортуна поворачивалась к молодому человеку лицом, он позволял себе даже заходить в кафе, а также совершать не совсем оправданные покупки. Но везение не продолжалось вечно. Удачные заказы заканчивались, «не все коту масленица», а вместе с ними и видимость благополучия. Месяцами Владимир грустно сидел в своем обиталище без заказов, особенно после того, как заканчивались сессии в вузах, и тогда ему приходилось влачить существо-



вание на нищенское подаяние от государства. На эти деньги с голоду, конечно, было умереть невозможно, но и позволить себе купить хотя бы килограмм фруктов было проблемой. В эти периоды главными продуктами питания душевнобольного были хлеб, крупы и молоко.

Другой причиной, по которой молодой человек не стал тратить аванс, было сложившееся у Владимира суеверие, что тратить деньги до окончательного выполнения работы нельзя. «А вдруг студентка вернет работу назад, вдруг диплом не зачтут на кафедре? — думалось Владимиру. — Как же я деньги буду возвращать назад, если я их потрачу!» Трепетное отношение к чужим денежным средствам и доходящая до паранойи честность были отличительными чертами мужчины. Звездный час для душевнобольного наступал тогда, когда, довольный зачетом, тот или иной студент сообщал Владимиру о том, что с работой все в порядке. Таким образом, момент счастья отодвигался до того светлого дня, когда диплом студентки будет оценен приемной комиссией.

Всем заказчикам Владимир обещал вернуть деньги в случае, если работу не зачтут. Это было не просто рекламным ходом, а имело прецедент. К нему явилась вся в слезах и соплях молоденькая ушлая студентка, которая с видом оскорбленной добродетели объявила, что работу, которую она так неосторожно доверила ему выполнять, не зачли. Владимир засомневался, что такое возможно, такого рода событий еще не было в его практике, но, чтобы избежать скандала, отдал деньги за курсовую. Она перестала размазывать черные от косметики слезы по лицу и быстро, пока «этот лох не передумал», пошла к выходу из дома, звучно цокая длиннющими шпильками.

Владимир очень озадачился, так как еще такую же работу он выполнял для одногруппницы Кристины. Не медля ни минуты, мужчина нервно набрал номер второй заказчицы.

— Наташа, здравствуйте, — сказал в трубку, ожидая самого плохого, Борода. — Вам, наверное, тоже не зачли работу?

— Что значит тоже? Наоборот, все прошло на ура, спасибо вам. А кому-то, что ли, не зачли?

— Так вот, Кристина приходила, вся встревоженная такая, слезы ручьями, все говорила, как я ее подвел.

— Что? Ну ни фига себе! Кристинка такое говорила? Так ей пятерку поставили. Вы, наверное, напутали что-то.

— Нет, я ничего не напутал, я ей только что деньги вернул.

— Что? Да вы чего? За спасибо такую работу сделать. Вы же сколько на это время потратили!

— А что оставалось делать? Она тут слезы в три ручья лила. Как ей было не поверить! Раньше со мной такого не случалось, не знал, как себя вести. За чистую монету ее россказни принял.

— Ну, хороша же эта Кристина! Буду знать, что с ней лучше денежных дел не иметь. Но все же зачем вы ей вернули деньги? Вы бы мне сначала позвонили! Нельзя же быть таким простым!

То, что Владимира сначала обманули и кинули на деньги, а затем отчитали, как последнего лузера, причем зеленые девчонки, понизило самооценку ниже плинтуса. Это событие часто всплывало потом в памяти, добавляя горечи в и так невеселые раздумья.

Свои размышления путник прервал, когда за окнами автобуса замелькала каменная кладка ограды погоста.

«А что, если мне опять через кладбище пройти? Торопиться сейчас уже точно некуда, а отдохнуть от городской суеты лучшего места не найти. Интересно, Копыто все еще там или уже собрал манатки и пошел тратить выпрошенные деньги?»

Владимир вышел из «Икаруса» и направил свои стопы к центру погоста. Подойдя к облюбованному попрошайкой месту, путник увидел красочную

картину: нищий, тряся нечесаной бородой, ругался со стайкой молодых людей, оккупировавших памятник писателю.

— Что вы здесь собрались? Делать, что ли, нечего? Идите домой, это вам не место для отдыха!

— Успокойся, дед, мы тебе не мешаем, и ты нам не мешай! — с вызовом ответил старший из группы тинейджеров, прыщавый молодой человек в футболке, на которой был изображен бесполый заграничный урод Мэрлин Мэнсон.

— А че вы все в черном, а поди-ка, у вас и глаза краской намазаны, че, в трауре, что ли?

— Старик, не лез бы ты не свои дела, сиди, собирай свою милостыню и закрой зевало!

— Да где же это видано, чтобы мужики сажей глаза мазали, — продолжал ругаться Копыто, демонстрируя консервативный взгляд на то, как и кто должен одеваться.

В это время к конфликтующим подошел Владимир, сразу понявший, что это как местные готы.

— Привет альтернативному движению! — прокричал мужчина, поприветствовав поднятой рукой юных мистиков. — Смерти поклоняться пришли?

— Ну, типа того, — ответил один из готов, щупленький парень с крашенными в черный цвет волосами и пятиконечной металлической звездой на груди.

— Молодцы, можно с вами здесь посидеть?

— Нет проблем, только ты, дядя, скажи этому старикану, чтобы перестал тарахтеть.

— Сами пусть пердильники закроют! — наливаясь гневом, крикнул Копыто.

— Вася, что ты на молодежь набросился? — спросил у нищего Борода.

— Шуму от них много, да и что это за вид, все в черное вырядились! — ответил Копытов. — Театр какой-то, ей-богу! Кто мне милостыню подаст, если я в таком окружении сидеть буду? Цирк какой-то! Да все стороной меня обходить будут!

— Не нравится, иди в другое место, кладбище большое! А можешь и вообще в городе милостыню свою просить, как бабки в подземных переходах! — прикрикнул на Копытова обладатель пентаграммы.

— Э! Сразу видно — жизни не знаете, молокососы! В городе разве столько подадут? Птичьи слезы там, а не милостыня. Вот кладбище — это другое дело. Здесь душа у каждого раскрывается. О смертном часе человек задумывается. А с раскрытой души и копеечку попросить легче. Это место самое лучшее, и я с него никуда не уйду!

— Ну, сядь у входа на кладбище и проси там свою милостыню! Че в этом месте особенного?

— Так здесь прямая дорога к храму, кроме того, здесь две тропинки объединяются, с двух разных входов. По какой бы ни шел человек, мимо меня не пройдет! Да сами-то вы что на кладбище забыли?

— Слушай, Вася, у них обряды такие, на кладбище они привыкли собираться, это готы! — вмешался Владимир.

— Кто-кто?

— Ну, готы, такие же люди, как и другие, но любящие с мертвыми дела иметь.

— Ну, ладно, раз так, пусть имеют! — наконец успокоился Копытов. — Только в сторонку от дороги пусть отойдут, что ли!

Одетая в черное компания одобрительно закачала головами. Вскоре по кругу у молодежи пошла бутылка вермута. Напиток развязал языки у подростков.

— Ты, дед, в натуре, что ли, нищий? — спросил вожак стайки тинейджеров.

— А как же, милостыню собираю!

— И че, других заработков у тебя нет?

— Нет, конечно! — почти что соврал Копытов. На самом деле побиравшийся имел небольшой достаток в виде пенсии, которую у него отбирал сын, но не объяснять же это стайке недорослей.

— И че, денег много дают? — не отставали молодые нахалюги.

Вася, который очень ревниво относился к возможной, даже гипотетической угрозе конкуренции, трагическим голосом произнес:

— Копейки, копейки, птичьи слезы! Хоть бы кто десяточку дал, а то все какую-то медь! — отчаянно врал Копытов.

— Дед, пей! — сказал вожак группы сочувственным тоном, подавая в знак примирения попрошайке пластиковый стакан с вермутом.

— О, за это спасибо, — сказал Вася и протянул худую, в старческих пятнах руку за алкоголем. Кадык нищего двинулся вверх-вниз, и все спиртное оказалось в желудке Копытова. Нищий ничего не ел с утра, поэтому волна опьянения сразу охватила старика. Тем временем молодежь предложила выпить и Владимиру.

— Не, я в завязке, — соврал мужчина, — закодировался, год не пью.

— Тяжко! А че так? — интересовались молодые.

«Не говорить же им, что я псих и что если выпью, то сразу в дурдоме окажусь! Или сказать, интересно, как отреагируют?»

Набравшись смелости (все-таки незнакомцу открыться легче), мужчина сказал:

— Псих я, дурдомовец!

— Да ну! — открыла рот молодежь. — Ты че, дядя, в дурке лежал, что ли?

— Лежал, и в городской, и в областной.

— А че-то ты не похож на дурака!

— А что, они, дураки, как-то по-особенному выглядят?

— Нет, но вот у нас в подъезде психбольная живет, так орет в своей квартире днем и ночью. Санитары за ней постоянно приезжают, месяц после больницы нормально себя ведет, а потом все по новой! А как-то голая на улицу вышла. Сиськи болтаются, сама такая толстая, на боках жир висит, стыдоба, а ей хоть бы что!

— Бывает и так.

— Дядя, а тебя как зовут? — спросил у незнакомца заинтересовавшийся пришельцем низкорослый гот.

— Владимир, — улыбаясь тому, что пацан назвал его дядей, спокойно ответил Борода.

— Вован, значит, — фамильярно констатировал обладатель металлической звезды на груди. — А меня Макс, а это Дэн, — показывая пальцем на приятеля, сказал въедливый подросток и протянул Владимиру руку: — Будем знакомы!

— Будем, только толку от этого знакомства вам никакого, — ответил Владимир, пожимая протянутую для приветствия узкую ладонь подростка.

— Ну, интересно же с нормальным психом поговорить.

— Нормальных психов, чтобы вы знали, не бывает. Иначе зачем же нас в психушках-то лечат…

Заинтригованный Макс, поковырявшись в ноздрях своего курносого носа, задал вопрос:

— А почему, Вован, ты так спокойно говоришь, что ты псих? Мне если бы такое сказали, по морде получили бы, а ты так спокойно заявляешь, что ты не в себе. Тебе что это, по приколу?

— А так проще, лишних вопросов не возникает, — уел коротышку Борода. — Кроме того, что такое норма?

— Во-во, — встрял в разговор долго молчавший Копытов. — И что такое ненормальность?

— Помолчи ты, Вася, — сказал давящемуся алкогольной отрыжкой нищему Владимир. — Вот с точки зрения нормы вы оба, и ты, Дэн, и ты, Макс, нормальными не являетесь.

— Почему это? — сердито спросил вожак готов.

— Потому что в вашем возрасте гораздо более нормальным является объяснение в любви на задних местах в кинотеатре и поедание попкорна, а не поклонение смерти. — При этом Владимир посмотрел на третьего члена группы готов, молоденькую блондинку, которой на взгляд было не больше шестнадцати лет. На руках почитательницы смерти, несмотря на лето, были надеты длинные, по локоть, ажурные черные перчатки.

— Это пошло быть такими, как все, — заявила девушка, наморщив свой красивый носик.

— Абсолютно верно, индивидуальность требует оригинального самовыражения, которое зачастую нормой и не пахнет, — резюмировал Владимир.

— Чего-чего? Какая индивидуальность? Просто нам прикольно быть готами, вот и все, — категорично ответила юная блондинка. — И готы вовсе не психи, а такие же нормальные.

— Кто бы сомневался, с моей точки зрения, психической нормы просто не существует. У каждого найдутся свои маленькие, а при ближайшем рассмотрении и большие странности в поведении. Просто некоторым не повезло, и их странностями заинтересовалась психиатрия, а в этой системе вход рубль, а выход — два.

— Сегодня ты здоровый, а завтра больной,— заплетающимся языком сказал Копыто и выпалил: — А я тоже, между прочим, псих!

— Вот те на, вы что, оба психи? — спросили удивленные готы.

— Так получается, — горько усмехнувшись, сказал Владимир.

5

Солнце скрылось за мощными соснами, длинные тени от могильных обелисков легли на аллею. Готы допили вермут и засобирались домой. Пьяный Копыто спал рядом со скамейкой напротив памятника писателю. Отчаянный храп нищего перекрывал все остальные шумы. Иногда казалось, что попрошайка перестал дышать, но именно в этот момент из недр Васиного тела раздавался дребезжащий, сначала тонкий, а затем все более басовитый шум. Во сне Копыто несколько раз начинал с кем-то ругаться, отчаянно матерясь.

Владимир ушел домой еще час назад, и теперь молодежь обменивалась впечатлениями о проведенном времени.

— Дэн, — спросил у старшего Макс, потирая свою пентаграмму, — как думаешь, эти двое действительно шизики? Мне кажется, они просто над нами прикалывались.

— А черт их разберешь. Встретил бы в городе, ни за что бы не подумал.

— А тот, второй, в жилете, вообще нормальный дядька, с юмором!

— И готов не осуждает, не то что этот, — потрогав кончиком высокого шнурованного ботинка спящего Копытова, сказал Дэн.

— И заметь, как он сказал: «Каждый человек по-своему прав! И готы, и шизики, да вообще каждый человек имеет право думать то, что он хочет! Именно в этом и состоит свобода!» Еще бы скины так же думали и все неформалы! — потирая шрам на голове (последствие стычки с бритоголовыми), сказал Макс.

— Только странно, не пьет!

— Мне папаша про таких говорил, что, если человек не пьет, он либо больной, либо подлюка!

— Так он же сказал, что псих, то есть не в себе, а во-вторых, он колеса глотает, от них знаешь какой кайф! Ему наш вермут что слону дробина!

— А может, он ширяется?
— Может.
— Прикольно все-таки пять минут психом побыть, почувствовать, каково им.
— Да, интересно узнать, что они думают, да и вообще, чем живут.
— Дэн, как ты думаешь, где психи деньги достают?
— Вот этот побирается, — глядя на спящего Копытова, процедил вожак. — А как другие, не знаю. Пенсию им дают, наверное, или родственники содержат.
— Да, если крыша едет, то на работу наверняка никто не возьмет. Кому же ты нужен, если у тебя кукушка свистит?
— Пацаны, мы сегодня из-за этих, с приветом, мессу не провели! — прервала диалог юная почитательница загробного мира.
— Точно, Дэн, начинай.
Вожак, подойдя к металлической скульптуре, начертил на земле пентаграмму, несколько ритуальных знаков и, закатив глаза и воздев руки к небу, начал взывать к мертвым:
— О, владыка смерти, великий князь мира теней, скажи нам свою волю и засвидетельствуй, что мы твои покорные слуги!
Троица молодых людей уселась на коленки и положила свои руки на могильную плиту. Дэн читал заученное обращение к миру мертвых. На самом деле, металлический истукан, вблизи которого проходила месса, распространял какую-то особую отрицательную энергетику, которая помогала адептам смерти войти в транс. Готы стали выкрикивать какие-то нечленораздельные слова, постоянно опуская свои головы к надгробной плите.
Тем временем проснувшийся Вася начал искать глазами Владимира. Увидев готов, старик, нарушая ход их молений, обратился к молодежи:
— Э, а где мужик-то?
— Не мешай, дед! Ушел он, когда ты в отрубе был, да и зачем он тебе?
— Так классный мужик-то, он мне и милостыню подал, не то что вы!
— Все, старик, не мешай нам, или спи, или милостыню свою собирай!
Служба в церкви закончилась, а неверующие почти никогда не подавали.
— Домой я пойду, нечего здесь больше делать! — произнес нищий и, на ходу пересчитывая собранную мелочь, пошел к выходу.

6

Степка, сын попрошайки, ждал прихода отца со злобным нетерпением. В нечесаных, давно не знавших ножниц парикмахера волосах поклонника Бахуса торчали перья от подушки. В момент похмелья Степа почти не отдавал отчета своим действиям. В душе кипела злоба ко всему белому свету. Ненависть была настолько сильна, что в ее приступе без всяких причин алкоголик иногда ломал тот нехитрый домашний скарб, который остался в квартире. Все тело требовало спиртного, нервы были натянуты до предела. Единственный способ прекратить это мучение был опрокинуть в рот хотя бы сто грамм. Но денег на алкоголь у Степки не было. Не было вчера, не было сегодня и вряд ли появились бы завтра. Источником финансов был старик отец, которого сын ненавидел больше всего на свете. «Вот козел, — думал Степка про отца, — застрял опять где-то. Знает ведь, что я тут без водки умираю, а нарочно время тянет! Ух, я ему вломлю, когда придет! Я ему харю-то начищу, давно он у меня без фингалов ходит!»
Обычно хронический алкоголик отбирал у Васьки деньги и шел опохмеляться, в зависимости от выручки отца, либо в аптеку за фанфуриком, либо, если Копытов-старший приносил больше денег, в магазин за пол-литрой. Так происходило каждый день и уже приняло форму ритуала, который включал в себя несколько оплеух, которые отец регулярно получал от непутевого сына.

Когда отец пытался сопротивляться, Степка бил Копытова более жестоко, собранные родителем деньги сын считал своим законным доходом. Зная, что его ждет дома, как Степка и предполагал, Вася не шел прямой дорогой к квартире, а сначала подходил к киоску с хот-догами и заказывал себе булку с двумя сосисками, при этом запивал свой обед пивом. Продавцы знали старика и уже не злились на то, что за еду дед расплачивался горой мелочи.

После того как Вася наедался, он покупал себе пачку сигарет и уже потом шел домой, оставляя некоторую сумму в карманах, чтобы Степка не избил. То есть бил сын отца в любом случае, под словом «избил» Копыто предполагал не обычную трепку, которой Степка подвергал старика, а нанесение увечий. Пару раз состояние нищего после знакомства с руками и ногами сына было критическим, но заявление на сына в милицию Вася не писал, жалея своего отпрыска.

Копыто медленно, мучимый одышкой, поднялся на свой этаж, замедляя по мере того, как приближался к своему обиталищу, шаркающие шаги. Постояв пару минут на площадке, Копыто с замиранием в сердце толкнул обшарпанную дверь своей квартиры. Дверь противно скрипнула и открылась, открывая неприглядные внутренности Васиного жилья.

— Ты где, гад, был? — раздраженно встретил старика мучившийся жутким похмельем Степка.

— Так че-то вздремнулось мне, развезло на кладбище, вот и задержался!

— Пил, наверное! Вон от тебя вермутом пахнет, ты, падла, что, бутылку тайком купил и выпил?

— Не-а, Степочка, угостили меня, а деньги вот, держи, я ведь знаю, что у меня сын есть.

— То-то! Деньги-то все мне отдал? А то, поди, заныкал себе чего!

— Все до копеечки. Я ведь последний рубль ребром поставлю, а тебе деньги отдам!

— Тогда сигарет еще давай.

— Степочка, у меня только пачка, ты ведь себе сам купить можешь.

— Молчи, урод, давай пачку. Я тут без тебя по твоей милости бычки из мусорного ведра курил. Пять сигарет, так и быть, я тебе оставлю, остальное — мое.

Копытов-старший полез в карман и достал курево.

— О, «Pall-Mall», да ты оборзел, Васька, это же по деньгам почти что бутылка пива. Я тут болею, а он, гад, цивильные курит!

— Бери, сынок, бери все,— соглашался Вася, — я, если что, во двор выйду, стрельну.

Ничего не ответив, на ходу пересчитывая заработок отца, младший Копытов торопливо вышел из двери.

Оставшись один посреди двухкомнатной квартиры брежневской поры, старик обвел взором обшарпанное жилище и осторожно присел на трехногий табурет. Все, что дома было хоть мало-мальски ценное, давно было вынесено непутевым сыном и пропито. «И квартиру продаст, придет время, придется мне тогда в интернат для дураков оформляться. Я-то выживу, государство поможет, а он-то как? Без жилья, ей-ей, бомжем станет. У меня-то хоть заработок есть, хоть просить умею! А он? Милостыню вымаливать уметь надо. Знать, в каком месте присесть, что кому сказать, да и молитв пару надо знать. Это только со стороны может показаться, что нищенство — легкий заработок. А на самом деле круглый год под открытым небом, и дождичком тебя, и снежком, и солнышком нещадно пожарит, ненормированный рабочий день, так сказать. Отпуск и выходные, да и больничные тоже никто оплачивать не будет! Да и просить-то надо грамотно, чтобы тебе денежку подали. Это ведь целая наука! Опять же, клиентурой надо обзавестись, теми, кто подает постоянно. Если человек тебе денежку жертвует, значит, верит, что ты на самом деле нищий, сочувствует тебе. А это сочувствие заслужить надо!»



Рассуждая о сложности стези попрошайки, Копыто улегся на лежавшее на полу грязное покрывало и задремал. Во сне Вася часто видел покойницу жену. Как бы в компенсацию за неустроенность серых будней, сны старику снились хорошие, хоть не просыпайся. Сегодня Копытову снилось, как он, жена и трехлетний Степа отдыхают в Крыму. Могучие кипарисы, запах моря и та особенная беспечная обстановка, которая характерна для курортов, создавали мажорное настроение. Маленький светлоголовый карапуз Степа, зайдя по колено в море, колотил палкой что есть силы по вспененной поверхности водной глади.

— Что ты делаешь, сынок? — спрашивала малыша мать.

— Рыбу ловлю!

— Смотри всю не вылови! На развод оставь! — смеялся Вася, потирая сожженные черноморским солнцем лопатки.

Так сложилось, что вся нормальная жизнь Васи уместилась во времена социализма, до горбачевских перемен. Работа, дом, семья, все как у людей. Жили, как все, от зарплаты до зарплаты, на Первое мая и Седьмое ноября на демонстрации ходили, стояли часами в очереди за дефицитом и анекдоты про власть травили.

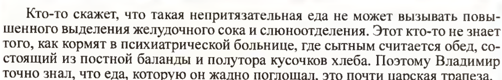
В середине восьмидесятых семье Копытовых дали квартиру. Не новое, но вполне приличное жилье окончательно закрепило городской статус Васиной семьи. А потом все пошло прахом. Рушилось государство, а вместе с этим на несчастную семью посыпались неудачи. Тяжело заболела и быстро отдала богу душу жена. Вася запил. Заливая горе, Копытов все ниже опускался по социальной лестнице. Если раньше толкового слесаря с руками отхватывали в различных конторах, то теперь точно так же выкидывали на улицу, как только Вася появлялся на работе «подшофе». Однажды во время тяжелого похмелья Вася начал слышать голоса и видеть дракончиков. Копытова увезли в соответствующую больницу. С тех пор регулярно, иногда по два раза в год, несчастный попадал в дурдом.

Возвращаясь в очередной раз из желтого дома, плюя на все предупреждения врачей, Вася шел в винный магазин и покупал спиртное. К бражничеству отца вскоре присоединился и сын, который со временем настолько пристрастился к огненному змею, что представить жизнь без регулярного возлияния не мог. Пару раз более здоровый Копытов-младший побил отца, после чего Вася перешел в подчиненное по отношению к отпрыску положение. Степка презирал отца, называл уродом, больным, шизиком и материл что было силы. Но для Васи Степка оставался любимым сыном, прихоти которого он пытался по возможности удовлетворять.

Проснулся Вася от того, что одна нога затекла, и, чтобы поудобнее улечься, нищему пришлось приподняться. «Такой сон хороший обломался, черт бы побрал этих Степкиных друзей, которые сожгли диван-кровать во время одной из гулянок. Надо будет со Степой переговорить и с пенсии хотя бы матрас купить!» Тут Копыто сунул руку в карман в поисках курева и наткнулся на дестирублевку, которую он получил от Владимира и по забывчивости забыл отдать сыну. «Классный мужик и такой же псих, как и я», — довольно подумал Вася. Копытову-старшему очень льстило то, что не он один пребывает на низшей ступени человеческого общества.

7

Владимир тем временем готовил у себя на кухне свой нехитрый холостяцкий обед. Яичница из трех яиц и несколько кусочков черного хлеба жарились на сковородке. Мужчина щедро посыпал блюдо нарезанным репчатым луком, а также всякими вкусовыми приправами, коих в великом множестве можно приобрести в любом продовольственном магазине, и стал нетерпеливо дожидаться начала обеда. Через пять минут молодой человек принялся за еду.



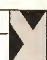
Кто-то скажет, что такая непритязательная еда не может вызывать повышенного выделения желудочного сока и слюноотделения. Этот кто-то не знает того, как кормят в психиатрической больнице, где сытным считается обед, состоящий из постной баланды и полутора кусочков хлеба. Поэтому Владимир точно знал, что еда, которую он жадно поглощал, это почти царская трапеза.

После принятия пищи душевнобольной пошел в туалет и закурил. Смолил сигареты Борода только в этом месте, поскольку здесь была хорошая тяга и клубы дыма быстро уносились в вентиляцию. Курить в самой квартире мужчина себе не позволял, так как, несмотря на то, что был заядлым курильщиком, терпеть не мог застоявшегося запаха табака в помещении. По старой привычке, приобретенной еще в желтом доме, Владимир выкурил только половину сигареты. Курить в богадельне было почти что нечего, поэтому пациенты растягивали сигарету на троих, а то и на четверых. Даже если курил ты сигарету один, лучше было оставить чинарик на потом, на тот случай, если до смерти захочется покурить, а сигареты кончились. Мужчина забычковал окурок и положил его на полку, на которой уже лежала пара выкуренных наполовину сигарет. Так Владимир и дымил, несмотря на то, что на свободе курить можно было вдоволь. Мужчина думал: «Если привыкну дымить по целой, то каково мне будет, когда я снова окажусь в дурке? А там я точно окажусь!» Фатализм больного не был манией или кокетством, а являлся абсолютно прагматичным взглядом на жизнь.

Дамоклов меч попадания в психиатрическую больницу всегда влиял на поступки и поведение Владимира. У каждого, кто хотя бы раз побывал там, мировоззрение очень меняется. Пациентов желтого дома можно с большой долей вероятности вычислить по затравленному взгляду, который сочетается со вселенской скорбью, таящейся в расширенных от приема нейролептиков зрачках душевнобольного. В больнице все врачи говорят, что шизофрения — заболевание хроническое, то есть неизлечимое, с регулярными обострениями. Боязнь рецидива превращает мысли о будущем в гадание, планировать что-либо даже на пару недель вперед не имеет смысла. Каждый день может оказаться роковым, и перевозбужденная подкорка может стать причиной очередной госпитализации. Приходилось жить одним днем, а что за день можно сделать? Неуверенность в завтрашнем дне, а точнее, в своем здоровье — это одна из главных причин того, что многие пациенты желтого дома не занимаются делами, которые требуют большого количества времени. Владимир боялся, что в разгар написания диплома у него может случиться рецидив. Но назвался груздем — полезай в кузов, договорился написать работу для студентки, пиши! Авось пронесет, и диплом напишешь, и, дай бог, деньги получишь!

Сразу сесть диплом не получилось. После сытной еды и приема лекарств захотелось спать. Борода и закемарил бы, если бы не было работы. И на этот случай у молодого человека было средство. Крепкая чайная заварка, чифирь, пить который Владимир научился тоже в психиатрической больнице, снимал чувство сонливости за пару минут. Больной высыпал на дно стакана чайные листья и залил крутым кипятком.

По кухне распространился приятный запах хорошего чая. Обжигая губы, Владимир стал мелкими глотками поглощать черно-бурую жидкость, которая пользуется популярностью только в местах не столь отдаленных и в психиатрических больницах. Схожесть этих двух казенных мест проявляется и в большом, и в мелочах. Общее у них в первую очередь в том, что и там, и там годами взаперти в тесноте и духоте сидит большое количество людей. Решетки на окнах, строгий режим и даже наличие карцера — в психиатрической больнице его роль играет наблюдательная палата. Кроме того, коллектив однополый, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Одинаковые обычаи, одинаковая блатная феня вместо разговорного языка объединяют тюрьму и психиатрическую больницу.



Вскоре после того, как Владимир пригубил чифирь, состояние апатии сменилось приливом сил, пульс участился, сердце отчаянно застучало от действия кофеина. Настроение у Владимира пришло в ту кондицию, которая позволяла заниматься серьезной работой. Он лазил по Интернету, выискивая информацию по теме диплома. Хорошо гуманитариям, их беспредметные рассуждения легко связать друг с другом и составить из разрозненных кусков дипломную работу. Нелогичность в изложении можно списать на творческую оригинальность или новаторский подход. А вот точные науки требуют труда и аккуратности. Тут голову сто раз поломаешь, прежде чем хотя бы страницу напишешь.

После пары часов работы у исполнителя сложилось более или менее точное представление о том, что от него требуется. «Литературный обзор и введение я сделаю дня за два. А вот расчеты много крови попортят. Материал по организации труда тоже дня за два смастерю, — думал мужчина, — недели за две справлюсь!»

Зазвенел сотовый телефон, от звука которого Владимир вздрогнул.

8

— Але! Але! — прозвучало в трубке. — Вовка, привет! Это Серега тебе звонит! Че делаешь?

— А, привет, Серега, хорошо, что позвонил, — ответил Владимир, попутно соображая, кто из его знакомых с таким именем ему звонит.

— Можешь поздравить, меня сегодня из дурки выписали!

Скорее интуитивно мужчина сообразил, что звонивший Серега не кто иной, как Сергей Клевин с погонялом Клева, с которым этой весной Владимиру пришлось провести некоторое время в психушке.

— Поздравляю! Ты что, так с марта в дурке и чалился?

— Ага! Чтоб она провалилась! Борода, может, по такому случаю в кабак сходим?

«Черт бы тебя побрал, Клева! — подумал про себя Владимир. — Нарисовался ты как раз тогда, когда мне каждая минута дорога, мне работу писать надо, а тут наверняка Серый в какую-нибудь авантюру втянет».

— Клева, у меня и денег-то нет, — приврал Владимир, чтобы отказаться от кутежа.

— Да не переживай, у меня на карточке за четыре месяца пенсия начислена, гуляй не хочу! — настаивал Клевин.

Борода задумался. «Хоть пенсия у Клевы небольшая, но за такое время у него, действительно, тысяч тридцать набежало. Такие деньги прогулять еще постараться надо». Но пить, даже на халяву, Владимир зарекся года два назад, когда после одной из таких попоек угодил в больницу на полгода. Но Серега не унимался:

— Сначала в кабак, а там телок снимем!

— Да, Клева, понимаешь, у меня тут халтурка небольшая наклюнулась. Некогда мне.

— Борода, ты че, запамятовал, как мы с тобой в нашей богадельне мечтали с девчонками познакомиться и оттянуться по полной! — продолжал с известной долей паранойи гнуть свою линию Сергей. — Я же за все заплачу!

Владимир сдался, но не по причине того, что желал на халяву поесть и попить, а только для того, чтобы Клева отстал от него, кроме того, традиции больничного братства просто обязывали Владимира разделить радость Клевина по поводу освобождения из дурки.

— Куда хоть идти-то предлагаешь? — спросил Борода.

— В «Манилов»! Знаешь такой ресторан?

— Так в этом кабаке ужин от двух тысяч на человека!

— Ну и что, я ж тебе сказал, у меня на карточке бабла круто, пятнадцать тысяч сниму, деньги будут! До кабака и обратно на тачке поедем!

— Клева, ты прикинь, ну явимся мы туда, а там столы с десятью вилками и десятью ложками, я даже не знаю, как какой пользоваться!

Сергей немного озадачился. Последние несколько месяцев все столовые приборы ему заменяла корявая алюминиевая ложка.

— Кроме того, Клева, в это заведение в простой одежде не пойдешь, там такие шкафы на входе стоят, сразу вычислят, кто мы есть, фэйс-контроль называется!

— А ты, может, че предложишь?

— Уж если идти, так в «таджичку». Рядом с моим домом стоит, там за сотню и напиться, и наесться, я сам иногда туда хожу. Лагман, шурпа, шашлык и выпивка дешевая, да и водку можно собой принести, там это разрешается.

— Ну, все, заметано, давай, в семь встречаемся у меня дома! Помнишь хоть, где я живу?

— Да помню, я же был у тебя! Родня-то твоя как отнесется к нашему мероприятию? Скандала не будет?

— Ну, Борода, ты совсем! У меня из родни только мать, так она на другом конце города живет.

— Заметано, в семь у тебя!

Владимир положил трубку и задумался. «Норму я на сегодня сделал, чего бы не оттянуться! Вот только Серега не совсем в адеквате. Возбужденный какой-то. Впрочем, у всех выходящих из заведения с тюремным распорядком при виде городских соблазнов крыша едет». Борода открыл платяной шкаф и стал придирчиво оглядывать свой гардероб. «Строгий костюм с галстуком отпадает, я же не на официальное мероприятие иду, — рассуждал Владимир. — Вот разве что джинсы и рубашку темно-синюю, купленную по случаю в бутике средней руки, следует надеть. Кроссовки, конечно, не подойдут».

Мужчина перерыл всю обувную, вытащив на белый свет три пары ботинок. «Вот эти ботиночки уже старые, как кремом ни чисти, все равно видно, что им в обед сто лет. Вот эти ничего, только черные, слишком строгие. А вот эти, хоть и белорусского производства, ничего, темно-коричневые, и носок немного заострен, как сейчас модно». Борода достал крем, намазал им ботинки и минут пять доводил до зеркального блеска. «Так тщательно я давно не собирался. Стоило бы оно того, — размышлял Владимир. — Я как на первое свидание иду». Мужчина сбрызнулся одеколоном, проверил, на месте ли ключи и деньги, и вышел из квартиры.

9

Серега жил в двадцати минутах хода от дома Бороды. Когда Владимир вошел в жилище только что прибывшего из психбольницы, первое, на что он обратил внимание, это то, что все розетки были вынуты из стен.

— Клева, это что у тебя с розетками такое? — удивленно спросил Владимир.

— А, и ты заметил!

— Так трудно не заметить, ты что, без электричества жить решил, что ли?

— Да не, Борода, это я перед тем, как попасть в больницу, решил все розетки в доме поменять на новые. Снять снял, а новые не поставил, не успел. Мамаша, когда увидела это, сразу 03 звонить, ну, психбригаду вызвала. Наговорила им всего, меня и повязали. Четыре месяца оттрубил в дурке.

— Так за это и лежал?

— Именно. Если бы я еще, дурак, с врачами ругаться не начал, когда меня привезли. А я им всю правду-матку и начал рубить. Мол, я здоров, и они залечить меня хотят. Ну, меня сразу за это в наблюдаловку и веревками при-



вязали к кровати. Так целую неделю и держали. Я и под себя ходил, кричу: «Отпустите по нужде!» А они мне судно суют, а я в судно не могу. Да еще галоперидол назначили внутривенно, а циклы совсем не давали. О, как меня крючило, думал, сдохну!

— Ты как в первый раз с психиатрами дело имеешь, Клева. Эскулапы психбольницы — это современные иезуиты. Они ни одного вопроса просто так не зададут! С врачами спорить вообще нельзя. Лучше молчать, отвечать на прямые вопросы и избегать наводящих. А то они как спросят: «Не кажется ли тебе, что кто-то влияет на твои мысли?» И не дай бог им ответить, что телевизор, радио и даже соседи, когда ругаются, тоже влияют. Пусть не на мысли, но уж на настроении-то точно это сказывается. Или такой вопрос: «Не бывает ли у тебя страхов?» Ответишь им «да», сразу госпитализируют. А поди подумай как следует, так большая часть населения чего-нибудь да боится, причем иногда из-за своих страхов такие дела вытворяют, что ни одному душевнобольному в голову не придет.

— Ага, Борода, про вопросы это точно! Они там, в больнице, все такие продуманные, просто так ничего не спросят. Все с каким-то подтекстом. А еще предлагают разноцветные полоски сложить так, как тебе хочется.

— Во-во, это называется тест Брейля. Я их каждый раз в цвета солнечного спектра раскладываю, — ответил Владимир, — как на уроке физики учили, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а врач на основании этого страницы две исписывает в истории болезни, мол, это каким-то образом отражает твое нездоровье. Пыхтит, пишет, чернила казенные и бумагу изводит, время свое тратит на всякую ерунду, вместо того чтобы с пациентом по душам поговорить.

— Ну, черт с ними, с врачами, их тоже понять можно, им за работу деньги платят. Давай лучше собираться. Да ты, я вижу, при полном параде, и пахнет от тебя, как от оранжерейной клумбы!

— А как же, в люди идем, на других посмотреть и себя показать. Ты-то что, так и пойдешь? — оглядывая вытянутые на коленях джинсы приятеля, спросил Владимир.

— Не-а. Я хочу цивильный костюм надеть. У меня прибалтийская троечка, отцовская еще, с советских времен осталась, да и галстук надену. Ты подожди, я за пять минут буду готов, — сказал Серега, залезая в видавший виды шифоньер.

— Не торопись, Клева, только я думаю, по жаре ты зря в такой парад собираешься вырядиться, жарко же, да и кто в «таджичку» в таком прикиде ходит?

Но Клевин слышать ничего не хотел.

— Сегодня у меня праздник, не мешай мне кайф от свободы ловить, — говорил, попадая волосатой ногой в брючину, Серега. — Блин, штанину-то подгладить надо! Борода, подожди еще минут пять, я по-быстрому приведу костюм в порядок. Можешь пока книги мои посмотреть.

Посмотреть было на что. Три поколения семьи Клевиных собирали библиотеку. Да и сейчас, если у Сереги были наличные деньги, то он их, как правило, тратил в книжных магазинах. Особенно часто Клева заходил в букинистический магазин, с продавщицами которого он был на короткой ноге. С одной из фемин он был особенно близко знаком, и та, если кто-то сдавал редкое издание, звонила Клеве. Серега не скупился на комиссионные для помощницы и мог на полном серьезе пойти в банк за кредитом на покупку раритета, если своих денег не хватало. Пару раз Клеве удавалось взять потребительский кредит, несмотря на то что Серегина фамилия была в базе данных дурдома с вытекающими отсюда последствиями. Но то было время, когда финансовые учреждения давали деньги чуть ли не бомжам.

Стеллажи с трудом вмещали тысячи томов. Книжные полки были везде, кроме ванны и туалета. Типично российская привычка коллекционировать кладези чужой мудрости на своих жалких квадратных метрах захватила се-

мью Клевиных. После смерти отца управлять книжными капиталами стал Серега. К его большому сожалению, настоящих специалистов по книгам становилось все меньше и меньше, и если раньше купить на толкучке необходимую книгу было подлинным триумфом, то сейчас, обходя забитые всякой всячиной книжные магазины и развалы, Клева даже терялся от сваливавшегося на книжного ценителя изобилия.

Пока Владимир во все глаза разглядывал сокровища друга, Клева подгладил брюки и пиджак, причем нагревал он утюг на газовой плите, поскольку ни одна из розеток не работала. Серега разглядывал свою коротко стриженную, ушастую голову в зеркале трюмо. Больше всего только что откинувшегося из дурдома сердили уши, которые, как ему казалось, торчали перпендикулярно черепу. Клевин и свой жалкий волосяной покров расческой пытался зачесать так, чтобы уши не видно было, и рукой пытался прижать их к черепу, все впустую. Как Клева ни старался, отпечаток длительного пребывания в казенном доме остался, и избавиться от него Клеве никакими ухищрениями не удавалось. Даже запах от Сереги был специфический, характерный для мест, где в большом количестве собраны против их воли плохо помытые люди.

— Черт, ведь не хотел я стричься в психушке, на кого я сейчас похож! — сердился Клева.

— Так не соглашался бы!

— А санитар знаешь, что сказал?

— Что?

— Если под машинку не постригусь, то из больницы не выпишут.

— На понт он тебя брал, ему ведь за то, что стрижет нас, доплата полагается. У меня вот борода была, когда я в дурке лежал, да ты же помнишь. Так чего он мне только не говорил, этот санитар, обещал к кровати прификсировать и курева лишить, если не побреюсь. А я назло ему не стриг бороду!

— Ну, характер у тебя потверже, а я и сейчас, как только наблюдаловку вспомню, на все что угодно соглашусь, лишь бы туда не попадать.

— Ну, что, Клева, ты готов?

— Почти что. Сейчас галстук повяжу.

Через пять минут разномастно одетая парочка шла по залитому вечерним июльским солнцем городу. Если Борода уже попривык к виду мегаполиса, то Серега вертел головой направо и налево, выискивая взглядом из толпы симпатичных девушек и женщин.

— Клева, голову свернешь, — усмехался Владимир.

— Точно, баб-то сколько! И все свободные! — впериваясь глазами в откровенно одетую фигуристую женщину лет тридцати пяти, ответил Серега.

— Не бойся, девушки от тебя никуда не уйдут, деньги ведь у тебя есть?

— Нет, хорошо, что вспомнил! Надо к банкомату подойти. Сколько снять-то надо?

— А это уж как ты решишь! Если только погулять в кафешке, то и пятисот на двоих хватит, а если ты решишь девок снимать, то еще пару тысяч понадобится. Но мой тебе совет: лучше по телефону проституток вызвать, тогда и тысячи хватит, и никаких забот. А если знакомиться, так еще не известно, даст тебе баба или не даст.

— Не, я с девками по вызову даже общаться не хочу, мне нравится самому бабу раскручивать, так сказать, в кошки-мышки поиграть, чтобы азарт был! Так сказать, за пульс жизнь рукой подержаться, адреналинчик в кровь впрыснуть. А тут приедет какая-то шмара, трусы снимет, и за час я должен все дела сделать. Не по мне это.

— Заелся ты, парень! — смеясь, сказал Борода. — Забыл, кто мы есть с тобой.

— А че, такие же люди, как и все! На рожах же у нас не написано, что мы с тобой в дурке лечились. Впрочем, ты как хочешь, я все равно к какой-нибудь девке яйца подкачу.



— Все, заговорились мы с тобой, вон и банкомат напротив!

Трясущейся от галоперидола рукой Клева всунул карту в щель. Бесстрастный аппарат высветил на экране меню, в котором предлагалось выбрать язык. Клеву аж затрясло:

— Они чем думают в той шаражке, которая банкоматы производит? Кто у нас по-английски понимает? Специально нам голову дурят, надеются, что мы свои деньги получить не сможем!

— Серый, успокойся, вводи пин-код.

Клева пару минут повспоминал, потом набрал одному ему известные цифры.

Вроде бы и всего ничего, четыре цифры ввести, закрыв ладонью левой руки правую, согласно инструкции, написанной на аппарате. Но банкомат не принял код и предложил ввести его снова. Серега ввел число во второй раз. Успеха это не принесло. Банкомат упрямо не хотел общаться с нуждающимся в деньгах клиентом.

— Серега, третья попытка будет последней, если ты введешь тот же код. Банкомат скушает твою карточку, и ты останешься без денег, а мы без похода в кафе. Подумай, может, ты что напутал?

— Да не, вроде все так, как и раньше набирал. Хотя я же четыре месяца в дурке загорал. Может, и забылось, а может, и галоперидол на голову влияет.

— У тебя цифры эти где-нибудь записаны?

— Дома, на последней странице первого тома Фенимора Купера!

— И что, снова к тебе на хату идти? — рассердился Борода.

— Так а что, десять минут туда и десять обратно! У меня одна нога там, другая здесь, — оправдываясь, пообещал Серега.

— Клева, ты иди, а я тебя на скамеечке подожду. Надоело мне за тобой бегать.

— Добазарились! Все, Борода, я полетел!

10

Потрогав для надежности скамейку, как бы она не оказалась покрашенной, Владимир решил присесть. Но на том месте, где люди в нормальном обществе сидят, отчетливо проступали грязные следы от многочисленных подошв. Что же, придется садиться, как и все, на спинку, а не на сиденье. «Сейчас у меня есть свободное время, — размышлял мужчина. — Самое время подумать о технологической части диплома, она самая трудная». Но сосредоточиться на работе Борода не мог. Из головы больного не выходила студентка, с которой он сегодня встречался. «Эх, Леночка, Леночка. Если бы ты оказала мне благосклонность, я бы тебе диплом и бесплатно сделал, да еще своих бы приплатил. Ах, какой, Лена, у тебя зад, и грудь как два наливных яблочка! Но на кой я ей, шизик патентованный? Даже за диплом».

Владимир достал из пачки окурок величиной с полсигареты и закурил. Через двадцать минут ожидания Борода наконец увидел бегущего к нему Клеву, который орал на ходу:

— Вовка, я только порядок цифр перепутал, а так все правильно было!

— Ну, молодец, что тебе сказать еще! Иди к банкомату!

Через две минуты Клева вернулся с банкнотами, которые он держал для понту веером. Сиреневые денежные знаки с фигурой Петра 1 вдохновляли Серегу теми возможностями, которые открывались перед их владельцем.

— Пятисоточками выдали?

— Ага! Так даже удобнее, что не тысячными, легче рассчитываться!

— Ну, тогда пошли в кабак!

Наступило такое время суток, когда город вроде бы окутала темнота, но небосвод был не темно-синего, а голубого цвета. Время года, когда в северных

широтах стояли белые ночи, давало о себе знать: несмотря на позднее время, можно было разглядеть то, что у тебя под ногами. Дневная суета мегаполиса прекратилась, пробки на дорогах исчезли, утихла толчея на улицах. Борода и Клева сидели на открытой террасе в кафе восточной кухни. Клева, разглядывая принесенное смуглым таджиком-официантом меню, заметно нервничал.

Причин того, что Серега чувствовал себя не в своей тарелке, было две. Первая — это то, что среди посетителей заведения общепита особей женского пола, по крайней мере свободных, не было. Вторая заключалась в том, что Клева никак не мог сделать заказ. Особенностью людей, страдающих шизофренией, является неспособность принять даже простое решение, которое требовало конкретики, остановиться на каком-либо выборе.

Одних горячих мясных блюд было около десятка. Все были вкусны, все были, что важно, дешевы, и все еще вчера казались недоступными. Человеку, питавшемуся почти полгода кашей геркулес, это казалось фантастикой. Наконец официант на вопрос, что сегодня приготовлено лучше, посоветовал шашлык. К мясному блюду Клева потребовал водки, которая, принимая во внимание крайне низкую цену алкоголя, была, скорее всего «паленой».

— А тебе чего взять? — спросил у Владимира Серега.

— Да мне бы чаю зеленого хватило бы.

— Не, не обижай, я сегодня угощаю, неужели ты не хочешь разделить мою радость от того, что я из дурки откинулся?

— Ну, ладно, тогда возьми лагман.

Вскоре принесли водку и пластмассовые одноразовые стаканчики.

— Я пить не буду, — сказал, как отрезал, Борода.

— Так за наше здоровье.

— Нет, и точка.

— Ну, хоть чокнись со мной!

Борода, чтобы не обижать друга, взял стакан и коснулся им стакана Клевы. К тому времени, когда официант принес основной заказ, Клевин уже капитально набрался. Последний раз он ел сегодня утром и то постную больничную кашу. Серега сильно захмелел. Владимиру было не очень приятно быть в компании с пьяным, даже захотелось уйти, но предать традиции больничного братства и оставить беспомощного приятеля одного Борода даже не подумал.

Тем временем подвыпивший товарищ начал приставать к одной томного вида дамочке, которая уже была ангажирована двумя кавказцами. Получив от фемины отказ, Клева начал нести всякую ахинею:

— Зачем тебе чурбаны? Тебя че, русские-то хуже оттрахают? Че ты с черными-то связалась?

Назревал скандал. С такими заявлениями Клева, а вместе с ним и Борода легко могли быть побиты темноглазыми детьми Востока. Чтобы избежать такого финала, Владимир быстро заплатил по счету из своих денег, которые на всякий случай всегда носил с собой, схватил своего приятеля в охапку и коекак вытолкал буяна из кафе.

— Я всю их шарашку разнесу! — неистовствовал Серега, размахивая руками и ногами. — Я тут все разгромлю, подожгу!

— Молчи, Клева, если не хочешь в ментовку загреметь, а оттуда снова в дурку попасть!

Слова про дурку протрезвили Серегу сильнее холодного душа. Снова попадать в желтый дом для освободившегося было хуже смерти. Клевин присмирел и только иногда подвывал:

— Вот, даже посидеть в кафе не дадут! Свои же деньги платим и вот что получаем! А че, Борода, за заказ-то кто рассчитался?

— Я!

— Так я твой должник, сколько с меня?

— Нисколько.

— Нет, я же сказал, что я сегодня угощаю! Сколько я тебе должен?

— Двести.
— А че так мало?
— За себя я сам заплатил.
— Нет, я сказал, что гулять будем за мой счет, так и будет! Держи пятисотку.
— У меня сдачи нет.
— Ну, вот и хорошо, ты мне ничего не должен!
По дороге домой Клева купил двухлитровую бутылку пива и предложил Бороде продолжить банкет, но Владимир уперся, сказав, что у него еще другие дела есть. Борода довел приятеля до дому, вошел в подъезд и вызвал лифт.
— Вовка, давай завтра встретимся, на пляж сходим! — сказал уже чуть протрезвевший Серега.
— Там видно будет. Утро вечера мудренее.

11

Придя домой, первым делом Владимир пошел в душ. По закону подлости, холодной воды в кране не было. Послушав пару минут сипенье труб, Борода повернул вентиль с красной головкой и пару минут смывал с себя пот и грязь до тех пор, пока теплая вода не превратилась в горячую. Затем, расстелив кровать и выпив снотворное, улегся. Сон наступал примерно через полчаса после приема лекарств. Пока таблетка не начала действовать, Владимир прокрутил в голове все более или менее значимые события сегодняшнего дня. «Все вроде бы прошло нормально, главное, заказ получил. При моем положении деньги — это чуть ли не самое главное, и теперь можно о них не переживать, — думал Владимир. — Вот с Копытовым познакомился, забавный старик, надо будет навестить его. Странно, что я его в дурке не встречал, все состоящие на учете хотя бы зрительно помнят друг друга, а Ваську я точно видел сегодня первый раз. Наверное, лечат его в другой больнице».
Вскоре начала действовать таблетка. Ощущения при этом у Владимира были такие, как будто его ударили по голове чем-то тяжелым. Кровать закачалась, и стали ходуном ходить стены, как во время сильного алкогольного опьянения. Захотелось закричать. «Но кто меня услышит, я же совсем один!» Затем мысли стали путаться, и вскоре тяжелый сон сковал мужчину.
Бороде снилось, что на кровать к нему забрался огромных размеров кот, который сначала начал урчать, а потом заговорил человеческим языком:
— Ну, что, халявщик, вместо того, чтобы работать, как все другие, дипломы пишешь красивеньким студенточкам?
— Кто ты, и почему ты говоришь?
— Я особенный. Я все могу. И мысли читать чужие могу. Я все знаю.
— Например?
— Так вот, сегодня, когда ты с девушкой разговаривал, ты смотрел на ее стринги, которые высовывались из-под шортов. И еще у тебя при этом встал. Ты хотел эту девушку!
— Неправда, я только из-за денег с ней общался.
— Кто тебе поверит! Сколько месяцев у тебя не было секса?
— Четыре.
— И ты говоришь, разговаривал с ней из-за диплома, за который ты такие денжищи попросил?
— Да.
— Не ври. Ты просто без бабы страдаешь. От полового воздержания может повториться приступ болезни, на этот фактор рецидива все видные психоаналитики указывают. Тебе надо вызвать проститутку, как ты сам советовал Сереге. Иначе крыша поедет. Физиология, понимаешь ли! С ней не шутят. И не вздумай писю втихаря лимонить, рукоблудие есть грех.

— Да ты, оказывается, в придачу ко всему и моралист! — дерзко ответил мохнатому животному Борода.

— Для твоей же пользы стараюсь, — мяукнул кот и с этими словами улегся на шею Владимиру. Мужчина стал задыхаться, дернул несколько раз руками и проснулся. Сбившееся одеяло лежало под подбородком и мешало дышать. Борода сбросил постельные принадлежности на пол и провел рукой по лбу. Мелкие капли пота покрывали все лицо. Несмотря на раскрытые окна, в квартире была духота. «Черт знает что снится. Кот какой-то! Здоровенный такой и разговаривает. Прямо булгаковский Бегемот! А вот с женщиной мне точно необходимо повстречаться».

Часы на столе показывали пять утра. Вставать в такую рань не хотелось, смысла не было. Мозг за ночь не отдохнул, работа над дипломом в таком состоянии была сродни пытке. Владимир вышел в туалет и закурил. «Еще надо поспать, четыре часа слишком мало для отдыха. Только засну ли я снова?» За окном занималась заря, солнце уже окрасило розоватовым светом восток, небо поголубело, и звезды, всю ночь ярко светившие с неба, потеряли свой блеск.

«Одиночество, черт бы его побрал. Тоска-то какая. Даже переговорить не с кем. Никто не хочет делить с тобой болезнь и бедность. Девушкам нужны богатые и здоровые. Слова немощного и нищего неубедительны, только если с такой же дурочкой, как сам, дела иметь». Борода знал это лучше, чем кто-либо другой, поскольку у мужчины был довольно длительный опыт общения с двумя особями противоположного пола, состоявшими на учете в дурке.

Владимир вспомнил об одной такой девушке, которую звали Марина. Познакомился Владимир с Мариной несколько лет назад на набережной городского пруда.

Так же, как и сейчас, в июле, стояла прекрасная, не жаркая, а именно теплая погода. Мужчина возвращался домой от родственников, у которых загостился по поводу дня рождения. Общественный транспорт уже не ходил, тратить деньги на такси не хотелось, да и погода стояла такая, что грех было по улице не пройтись. Идя по набережной и наслаждаясь прекрасной погодой, Владимир обратил внимание на девушку, сидевшую в полном одиночестве. Незнакомка держала голову руками, прекрасные каштановые волосы падали чуть ли не до колен, на которые одинокая красавица поставила локти. «Прекрасный случай познакомиться», — подумал нездоровый на голову донжуан и попросил у фемины разрешения присесть.

— Ради бога, что же не присесть, места вон сколько, — певучим грудным голосом ответила незнакомка.

Дальше все пошло проще. Девушка попросила у Бороды сигарету. Владимир воодушевился и подал дрожащими от нервного напряжения руками зажигалку. Затем кавалер начал травить байки и анекдоты. Девушка, очень грустная вначале, постепенно развлеклась и даже стала смеяться. Как потом понял Владимир, скованность Марины была вызвана тем, что она принимала нейролептики. Через пять минут знакомство можно было считать состоявшимся. По этому поводу парочка купила бутылку шампанского, после распития которой Марина позволила себя поцеловать.

Быстро завязавшийся роман привел к тому, что влюбленные стали часто встречаться, и впервые за многое время Владимир почувствовал себя почти довольным жизнью. Чуть ли не на каждую ночь Марина оставалась в жилище одинокого холостяка и даже несколько раз приготовила обед. Однако примерно через полгода любовники встретились в коридоре психиатрической больницы. От неожиданности у Марины широко раскрылись глаза, она остановилась посередине больничного коридора и уставилась на Владимира, хлопая чудными ресницами. Мужчине захотелось провалиться сквозь землю.

— Ты какими судьбами здесь? — заикаясь, спросила девушка.

— А я это, справку пришел получать, на работе попросили, — соврал Владимир и густо покраснел от своей нехитрой лжи. — А ты?

— А я со знакомой пришла, проводить попросили, — сильно смутившись, врала в ответ Марина.

Все бы ничего, и встреча в диспансере так бы и осталась без последствий, но через некоторое время, в марте, Марина при встречах с Владимиром стала иногда задавать нелепые вопросы, такие, что Борода даже вначале принимал их за особого рода шутки. Но когда подруга прямо спросила, зачем Владимир поставил в ее квартире подслушивающие устройства, мужчина начал подозревать, что у Марины, так же, как и у него, не в порядке с головой. Через неделю девушка исчезла из города. Ни домашний, ни сотовый не отвечали. Вновь встретились любовники через три месяца. Марина, с потухшими глазами и резко обозначившимися глазницами, с обезображенными стрижкой «под горшок» волосами, ничем не напоминала бывшую умницу и страстную любовницу.

После этого отношения влюбленных расстроились, но в записной книжке Бороды по-прежнему красовались ее телефоны. Через дальних знакомых до Владимира дошла весть, что его бывшая подруга оправилась после госпитализации и теперь, несмотря на проблемы душевного свойства, удачно вышла замуж. «Позвонить ей, что ли? А то ведь и вправду головой двинусь от воздержания». С этими мыслями душевнобольной улегся на постель и попытался уснуть. Но, как назло, в голову полезли другие мысли, связанные с дипломом.

Цифры и уравнения, химические реакции проносились непрошеными гостями в подсознании. «Когда я научусь отвлекаться, тормозить навязчивые мысли и образы? Впрочем, из-за того, что человек не может этого сделать, он и заболевает шизофренией. Когда-нибудь из-за этого я снова окажусь в дурдоме. Еще, что ли, снотворного выпить? Половину обычной дозы. Ну, уж нет, я и так на одних таблетках живу».

Повалявшись еще полчаса и сбив всю постель, Борода снова забылся чутким, прерывистым сном. Разбудил Владимира телефонный звонок.

12

— Алле, это я, Серега, — хрюкнул динамик телефона. — Че трубку-то не берешь, спишь, что ли?

— Спал, — раздраженно ответил Владимир, готовый разорвать так некстати позвонившего друга на куски. — А ты что в такую рань звонишь?

— Так день уже, в дурке в это время уже завтрак заканчивали, а ты все еще харю давишь!

— Так то в дурке, отвыкать надо от порядков желтого дома.

— Для этого дома надо прожить полгода, чтоб голова проветрилась. Сегодня мне всю ночь снился санитар, Игорь усатый. Все пытался меня к кровати привязать. Представляешь, даже во сне эти санитары не отстают!

— Мне тоже всякая ерунда снилась, да только не про психушку.

— Че, бабы привиделись?

— Ага, знакомую старую вспомнил во сне.

— Плюнь и разотри, за постоянку с дуриками типа нас общаться никто не будет.

— Да она того, сама с приветом!

— А тогда и вовсе забудь ее. Это если у тебя крыша едет, полбеды, а уж если у крали твоей шиза, то и вовсе беда!

— Так с кем же тогда общаться?

— Да так, девок можно подцепить на одну ночь, и интересно, и романтика опять же. Ну, на худой конец с путанками можно поразвлечься. Но это уже если на свои силы совсем не полагаешься, или тебя комплексы мучают!

— Девушек-то снимать в копеечку обходится!

— Да я за бабу хорошую миллиона не пожалею!

«Как легко расстаются люди с тем, чего не имеют! — думал Борода. — Вот если бы у Клевы на самом деле был миллион, то, несмотря на свою безбашенность, за девушку бы его не отдал. А так, воздух сотрясать, бросаясь заявлениями: «Я подарю тебе весь мир!» — и думать при этом, во сколько обошелся вечер в кафешке, это просто пошло». Как потом оказалось, в такой оценке своего друга Борода был не совсем прав, в состоянии аффекта Серега мог все карманы вывернуть, другое дело, что миллиона у Клевы не было.

—У тебя, Борода, какие планы на сегодня?

— Так я тебе говорил уже. Халтурка есть у меня, диплом мне заказали.

— Написать или подделать? — поерничал Клева.

— Ну, подделать у меня ума не хватит, дали тему, вот по ней и надо написать.

— И че, много бабла посулили?

— Мне хватит.

— Темнишь ты что-то, Борода. И в дурке постоянно себе на уме был, в одного жил, и сейчас не хочешь другу рассказать, сколько зарабатываешь. Я вот честно тебе еще вчера все про мои финансы рассказал, предлагал вместе потратить, а ты мнешься из-за какой-то ерунды.

— Ну, тебе-то не все ли равно? — разозлился Владимир. — Тем более, что получил я только аванс, а его еще отработать надо. Ясно?

— Ясно! Вчера, если помнишь, мы с тобой на пляж договаривались идти. Ты как? Готов? — сменил тему разговора Серега.

— Что, девушек, что ли, снимать?

— Во-во, в самую точку, тютелька в тютельку, именно их, родных, только не снимать, а знакомиться, — скоморошничал Клева.

— Да как ни назови, смысл один.

— Я в дурке столько мечтал, чтобы на девушек в купальниках посмотреть. Просто посмотреть, и ничего больше. А у тебя-то желание на пляж сходить есть?

— Да есть-то есть, — ответил Борода, вспоминая ночные видения, — только не люблю я в жару на солнцепеке лежать.

— Так озеро же рядом, окунуться можно, да и пива холодного можно взять.

— Я же тебе сказал, что не пью.

— А че так?

— Клева, у меня, после того как я хотя бы стопарик опрокину, галлюцинации начинаются. Уж если кайф словить охота, так я таблетку циклы выпью.

— Заметано! Бери свою циклу, и двигаем!

— Хорошо, только давай договоримся: я максимум до четырех часов загорать буду, потом пойду домой диплом писать. Так что имей это в виду и не уговаривай меня остаться дольше. А то я тебя знаю, на психику давить мне будешь, типа того, что я друга бросаю одного.

— Ой, Вован, ты так много сказал, что я упустил начало твоей мысли, поэтому конец не понял, — ехидничал Клева. — Единственно, что отразилось в моем усохшем от нейролептиков мозгу, так это то, что ты согласен прошвырнуться до озера!

— Да, давай на трамвайной остановке встретимся через полчаса.

— Идет.

13

Пляж, на который приехали два чудика, располагался в городской черте, и собирались на нем по преимуществу, люди небогатые, те, у кого не было денег приобретать загар на пляжах средиземного моря и личного авто, чтобы выехать в более приличные места за городом. Студенческие компании, престарелые дамы бальзаковского возраста, а также одинокие странноватого вида



мужчины составляли основной состав отдыхающих. В серовато-синей воде булькалась стайка подростков. По пляжу в поисках бутылок бродили несколько бомжей.

Владимир, который капитально вспотел в общественном транспорте, сразу разделся и пошел к озеру. Серега не торопился в воду, а, прихлебывая пиво из банки, оценивал диспозицию с точки зрения возможности флирта с какой-нибудь красавицей. Поскольку большинство лежащих на пляже были лица женского пола, причем в большом количестве и ассортименте, Клева сильно озадачился. Похоже, в этот момент он переживал состояние, которое посетило его вчера в «таджичке».

Борода тем временем прошел по песчаной полоске берега и ступил на илистое дно озера. Вода в озере была мутной и отдавала тиной. Дно водоема было неровным, поэтому Борода шел медленно, опасаясь порезать ноги о какое-нибудь бутылочное стекло.

Как заметил Владимир, люди, заходившие в воду, вели себя немного странно. Зайдя в воду по пояс, купальщики и купальщицы останавливались минут на пять, при этом их лица выражали полнейшее удовлетворение, а на некоторых физиономиях отражался даже экстаз. После этого, даже не поплавав, люди выходили на берег.

«А, все ясно, делают вид, что купаются, а на самом деле пописать зашли, — и то верно, где человеку оправиться, если туалетов на берегу нет». Преодолев некоторое отвращение, Борода зашел по грудь и поплыл от берега.

Отплыв метров на пятьдесят, Владимир перевернулся на спину. В бледно-голубом небе над озером кругами парил орел. Низко над водой носились в поисках добычи чайки. Дикая утка со своим выводком плавала невдалеке от берега, постоянно ныряя головой в воду. Гармония птичьего царства поразила мужчину. Каждая пернатая особь занимает свою нишу и не мешает другим. Из созерцательного состояния Владимира вывела волна, набежавшая от пронесшегося рядом катера.

Владимир купался, как ему показалось, всего несколько минут, поэтому очень удивился, когда, возвращаясь, увидел Клеву в обществе солидного возраста дамы, с которой вчерашний обитатель психушки вел оживленный разговор. Серега набрался смелости и, пока его приятель принимал водные процедуры, подошел к одной перезревшей женщине с вульгарным макияжем на лице. Мадам было за сорок, короткие, крашенные в белый цвет волосы вились колечками по бокам ее полного лица.

На даме был красного цвета раздельный купальник, который открывал взору расплывшиеся формы. Жировые складки на теле, похоже, ее не смущали, а капризное выражение лица демонстрировало некоторое превосходство над окружающими. В общем, женщина стиля «вамп». Дама охотно принимала ухаживания своего юного кавалера, который мог бы сойти за сына кокетничающей мадам. Над верхней губой у блондинки росли не очень большие, но вполне заметные усы. Что в ней нашел душевнобольной, одному богу известно. Шлепая накрашенными, как у клоуна, губами, женщина бойко говорила вошедшему в раж Клеве:

— Ох, Серж, вы такой нахал!

— Роза, простите мне настойчивость, но, с моей точки зрения, вы просто красавица в стиле Ван Гога, вам цены нет! Вы Венера Милосская! С вас надо картины писать! Вы моя муза!

Чтобы не мешать роману, Борода прилег на песок шагах в десяти от парочки. Клева тем временем даже забыл о своем приятеле. Через десять минут после своего знакомства он уже лежал на песке, тесно прижавшись к дородному телу новой знакомой. Через двадцать минут блудливая рука Сереги уже лежала на безразмерном животе мадам, через полчаса коротко стриженная голова душевнобольного уже покоилась на тяжело вздымающейся при вздохах груди крашеной блондинки.

Соски обладательницы красного купальника напряглись, рука нервно гладила ежик Клевы, на плавках фемины в интересном месте появилось все больше расплывавшееся пятно, было видно, что юный искатель женской любви попал точно по адресу. Не выдержав напора чувств, Клева вскрикнул в оргазме и запачкал свои трусы выделениями. Непростительная горячность юного Отелло была простительна, все-таки такое длительное воздержание толкает людей еще и не на такие поступки.

Борода уже давно понял, что он здесь третий лишний, и стал собираться домой. Он завязал шнурки на кроссовках и пошел по направлению к трамвайной остановке. Разновозрастная любовная парочка даже не заметила исчезновения мужчины.

14

Добравшись до дома, Борода умылся холодной водой из-под крана и уселся за компьютер. Введение в диплом вытанцевалось довольно быстро, страница за страницей текст выстраивался в логичное изложение. Пока голова ясно работала, мужчина что есть силы шлепал по клавишам. Когда муза улетучивалась, Владимир делал перерыв, во время которого заваривал зеленый чай и курил свои полсигареты. Через несколько часов Владимир понял, что для сегодняшнего дня он сделал немало и пора отдохнуть.

Очень хотелось есть. Но у Владимира уже в печенках сидела гречневая каша, которую ему волею судьбы приходилось есть чуть ли не каждый день, а яйцо в холодильнике нашлось только одно. Даже пожарив его, не наешься, сколько в сковородку хлеба ни клади. «Сегодня я заработал на ужин в «таджичке», — подумал изголодавшийся исполнитель работ, — конечно, два дня подряд питаться там это роскошь, но, в конце концов, не каждый же день я получаю такой крупный заказ».

Конечно, покупая в продовольственных магазинах провизию, можно было сэкономить на питании. По карману Владимиру были только субпродукты, соевая колбаса и подпорченные фрукты и овощи, которые по причине своего нетоварного вида были уценены в два, а то и три раза. Особой любовью бедного сословия пользовалась полукопченая колбаса с громким названием «Казачья». Стоило это произведение колбасного искусства дешевле, чем килограмм костистого мяса. Борода, попробовав этот гастрономический изыск, подумал, что если бы известные своей лихостью кавалеристы питались ей, то у них бы шашка из рук выпала, а их самих спасали бы от пищевого отравления лучшие врачи. Поэтому, делая выбор между полукилограммом такого деликатеса и ужином в «таджичке», Борода делал выбор в пользу последнего.

Еще подходя к кафе восточной кухни, в котором вчера Борода уже побывал вместе с Клевой, Владимир почувствовал ноздрями дразнящий запах свежеприготовленного мяса. «В этом и преимущество таких заведений, что все делается при тебе и быстро, это не ресторан, в котором вентиляция все аппетитные запахи на улицу выносит и в котором сама готовка от посетителя спрятана. А тут все при тебе, во дворе мангал, мясо на твоих глазах жарится, тут же повара зелень шинкуют. От одних ароматов и наблюдения за приготовлением пищи наесться можно», — думал Владимир, чувствуя сильное слюноотделение и бурление в желудке.

Доступность питания в «таджичке» делала это место часто посещаемым. Злые языки поговаривали, что таджики покупают подпорченное мясо, поэтому здесь все дешево. Кроме того, восточные кулинары, как сообщали некоторые, плохо мыли посуду, а готовили пищу в том же месте, где лежали пищевые отходы. Борода на злые наветы внимания не обращал, а сам удивлялся тому, что многие коренные жительницы предпочитают питаться тем, что приготовили смугловатые дети Средней Азии, вместо того чтобы самим стоять у пли-



ты. «Ну ладно я, одинокий мужик, хожу сюда. А бабы-то? Это же типично женское дело, готовить еду!»

Обслуживали Владимира всегда быстро: во-первых, он, несмотря на свою бедность, а может, именно поэтому часто посещал эту точку. Во-вторых, Борода, когда заходил сюда, всегда оставлял официанту небольшие чаевые. Вот и в этот раз заказ Владимиру принесли быстрее, чем другим. Недовольная этой несправедливостью, одна из посетительниц стала отчитывать юного таджика-официанта:

— Тебе за что деньги платят? Чтобы заказов, что ли, нахапать побольше? Ты сначала тех обслужи, кто раньше пришел! Понаехали тут черножопики, ничего в ресторанной этике не понимают!

Борода посочувствовал официанту: сфера обслуживания, ничего не поделаешь, тут волей-неволей приходится прогибаться под заказчика, выслушивать всякий вздор.

Лагман повар приготовил превосходно, мясо хорошо жевалось, а бульон был наваристым. Свою трапезу Борода заканчивал зеленым чаем, который непонятно, по какой причине, казался одинокому посетителю кафе более ароматным, чем завариваемый в домашних условиях. Возможно, причиной аппетитности еды было то, что ужин проходил на открытом воздухе, который, как известно, усиливает привлекательность приема пищи. После еды Владимир закурил сигарету. «В этот раз целую дымить буду, после ужина можно!» — подумал мужчина, нарушая одно из своих жизненных правил.

15

Придя домой, Борода растянулся в кресле-кровати и включил телевизор. Вообще, тупейшее это занятие ящик смотреть, спору нет. Случайно Владимир остановился на местной передаче, освещавшей криминальные новости. Ведущий, бубня сквозь зубы, нарочито суровым голосом сообщал, что в таком-то районе города совершено изнасилование. Факт сам по себе прискорбный, но довольно часто происходящий, ничего особенного. Изюминка состояла в том, что преступник оказался шизофреником. О, вот это уже на самом деле новость. Есть на кого пар спустить!

Обыватель, пылая праведным гневом, наверняка завопит: «Отловить всех этих дураков и под замок посадить!» И недосуг зрителю задуматься, что в день преступления объявлять преступником кого-либо закон не позволяет. Презумпция невиновности все-таки! Эксперимент следственный, проверка анализов соответствующих. И тем более назвать шизофреником кого-либо — тоже нарушение закона. Да и наверняка ни при чем здесь хворый на голову. Свалить все на дурака гораздо легче, чем преступление раскрыть.

Вообще, этот деятель, ведущий передачи криминальных новостей, одно время просто изгалялся над пациентами психдиспансера, выставляя их таким образом, что люди за голову хватались — как таких на свободе держать можно! Было ли этому деятелю известно, что его репортажи делают жизнь душевнобольных подчас просто невыносимой из-за третирования соседями, насмотревшимися его откровений? Было ли ему хоть раз стыдно за свое «творчество»? Владимир про себя решил, что нет. Все правильно. Такой современный кремневый тележурналист со стальными нервами, а также с недостатком образования. После каждой его передачи Борода ловил на себе подозрительные взгляды соседей.

После просмотра новостей, которые попортили нервную систему Владимиру, он взялся за составление наброска диплома. Скелет письменной работы потребовал часов пять времени и кучу эмоциональных усилий.

16

«Ну, все, пора спатеньки, — подумал Борода. — Для начала я и так немало сделал. Так, полтаблетки азалептина и полтаблетки клопиксола», — вытряхивал Владимир на ладонь необходимые лекарства из пузырьков. Стандартный набор снадобий, который Борода пил перед сном, гарантировал больному полный кошмаров тяжелый сон, часто после которого Владимир вставал разбитым. Человека, который не имел опыта приема нейролептиков, ежедневная доза Бороды довела бы до состояния полной отключки. Это свойство психотропных средств довольно часто используют в своей неблаговидной деятельности разномастные жулики.

В свое время Борода пытался засыпать без снотворных. Но полтора десятилетия, в течение которых больной принимал нейролептики, превратили Владимира в зависимого от таблеток человека. «Сейчас уже до самой смерти придется колеса глотать», — печально думал больной, рассматривая полочку, где хранились лекарства. Бутыльков накопилось такое количество, что его хватило бы на нескольких страждущих.

«Вот для наркомана такая ситуация — это подарок судьбы, врачи легко выписывали рецепты на транквилизаторы и антидепрессанты психически больным, глотай колеса, медицина официально разрешает тебе пить психотропные вещества с утра до вечера, и не просто разрешает, а даже заставляет», — размышлял Борода, разглядывая упаковку клопиксола, а вернее, ища срок годности таблеток.

Врачи, которые пытались лечить словом, встречались крайне редко, возможно, по причине большой загруженности и своей материальной незаинтересованности. А на одном энтузиазме такие дела не сделаешь. Попробуй поговори с каждым пациентом отделения, если их, этих дуриков, полсотни человек! Если даже на каждого хотя бы пять минут потратить, то уже четыре часа выходит. А что за пять минут можно сделать? Вот приходится из-за недостатка времени такие беседы вести:

«Плохо спишь? Пей не полтаблетки снотворного, а целую. Все равно не помогает? Выпишем более сильнодействующее средство. Вам кажется, что люди про вас говорят? Давайте вам укольчик, пролонг поставим. Руки дрожат? Пейте больше корректоров. Потенция нарушена? А зачем она вам? Вы же все равно один живете. Сами знаете, что создавать семью в вашей жизненной ситуации — авантюра. Тут уж, знаете ли, не два горошка на ложку. Радуйтесь тому, что вы уже давно без госпитализации живете». Через несколько лет такого лечения больной превращался в медикаментозного наркомана.

«А может, если бы со мной психолог общался или, как на Западе, психоаналитик, — думал Владимир, — мне и не пришлось бы таблетки пить в таком количестве. Ведь слово, как говорится, лечит! Но психически больных в городе много, а врачей квалифицированных — раз, два и обчелся, а практикующих клинических психологов и того меньше. Когда-нибудь, может, даже лет через пятьдесят современных врачей будут считать шарлатанами, а лечение душевных заболеваний, основанное на подавлении дофаминовых рецепторов, просто глупостью сродни кровопусканию в средние века».

Быстро заснуть Борода не смог, температура в комнате была за тридцать градусов. На улице жара ощущалась меньше, хоть ветерок какой-никакой обдувает. А в прогретом за несколько дней щедрым солнышком доме было дискомфортно и душно. Где-то на западе слышались гулкие раскаты грома, который заглушал все городские шумы. «Гроза, наверное, будет», — успел подумать Владимир.

В голове пронеслись видения, сознание медленно отключалось, Борода засыпал. Ночью к нему опять пришел кот, который отчитывал Владимира за бездеятельность и невнимание к противоположному полу.

— Вот Серега, твой знакомый, смотри-ка, только день как на свободе, а уже женщину нашел, а ты все один да один.

— Да не могу я так, как он, с первой попавшейся язык общий найти, да и таблетки тормозят! — оправдывался Владимир.

— Все очень просто, — продолжал поучать кот, — ты рюмашку коньяка перед знакомством хлопни, вся скованность сразу пройдет.

— Да не люблю я свое общество навязывать посторонним, — отнекивался от настойчивого зверя Борода, — а от спиртного я могу в дурку загреметь, вот прикольно-то будет!

— А вот Клева, твой друг, не боится горло промочить, хоть и из психушки только что вышел!

— Может, мне релашки для раскованности выпить вместо алкоголя?

— Ну, Вован, — ерничал кот, — ты ведь уже законченный наркоман! Таблетку, чтобы заснуть, колесо, чтобы проснуться. Теперь вот и для того, чтобы познакомиться, таблетку проглотить хочешь! Может, ты еще и ширяться начнешь? Чувства должны быть естественными, а голова свежей!

Бороде стало смешно от поучений черного мохнача. Свежей его голова уже не была лет пятнадцать, с тех пор как в дурке Владимира подсадили на нейролептики.

— Хорошо, есть у тебя спиртное? — спросил больной кота.

— А как же, пятизвездочный, армянский, только я один знаю, где такой фирменный найти можно.

— Отлично!

— Ну, что, по сто грамм и к девочкам?

— Прямо сейчас?

— Ага!

— Едем!

— Ты точно решил? — шевеля усами, спросил кот.

— Угу!

— Нет проблем! — и обладатель прекрасной черной шерсти живо откупорил бутылку и разлил благоухающий напиток, после чего Кот и Борода чокнулись стопариками. Горло приятно согрело отдающее дубовой корой спиртное.

В это время за окном громыхнуло так, что Борода проснулся. Конечно, никакого кота, а уж тем более коньяка рядом не было. «Досадно, что сон прервался, впервые за долгое время хоть что-то приятное приснилось. Хоть во сне бы выпить и бабу сисястую потискать», — рассердился на так некстати начавшуюся грозу Владимир. В это время с неба полился непрерывный поток дождя, такой плотный, что стоящие напротив дома стало не видно за его пеленой.

«Если когда-то был всемирный потоп, то начинался он, несомненно, с такого ливня, — подумал душевнобольной, — окна вот надо прикрыть, а то на полу лужи будут, да и шторы все замочит». Владимир встал, прикрыл створки, при этом несколько минут подержал руку за окном, она в мгновение стала мокрой. На смену духоте пришла долгожданная прохлада, температура остановилась на комфортных двадцати четырех градусах. Борода, выкурив свои полсигаретки, снова улегся и уже уснул без всяких сновидений.

17

Проснулся Владимир от того, что солнечные лучи стали светить ему в лицо. «Долго проспал, наверное, — подумал мужчина, — уже часов одиннадцать. Странно, что Клева не звонит, наверное, так увлекся своей перезревшей толстушкой, что позабыл обо мне». Только Борода так подумал, как зазвенел телефон.

— Але, Борода, выручай!

— Что случилось?

— Денег мне надо!
— ???
— Ну че ты молчишь?
— Так ведь, Серега, ты же сам вчера говорил, что у тебя пенсия за несколько месяцев накопилась!
— Ее мне не хватит! Вернее, ее уже нет.
— На что ты такую сумму истратить успел?
— Долго объяснять, потом расскажу. Денег-то дашь?
— Ну, рублей пятьсот я тебе одолжу, а больше нет.
— Я тебе с процентами верну!
— Пошел ты со своими процентами! Не в процентах дело! Откуда у меня деньги-то возьмутся?
— А может, ты кого знаешь, кто деньги одолжить может?

Борода задумался. Чтобы кто-то дал больному на голову денег взаймы? Таких альтруистов или авантюристов среди знакомых Бороды не было. Если только в банке серьезно проверять документы не будут, то можно будет кредит небольшой взять. Но Клева явно не в адеквате, тут любой менеджер кредитного учреждения что-нибудь да заподозрит.

— Да зачем тебе деньги? — удивлялся напористости Клевы Борода.
— Розе нужны!
— Твоей вчерашней знакомой?
— Да!
— Серега, не вздумай ей деньги отдавать! — прокричал в трубку Владимир, жалея о том, что не сумел предотвратить безумного поступка Клевы. В ответ трубка запикала короткими гудками.

Настроение у Бороды сильно упало. «Ну надо же, как ей Клеву на деньги развести удалось? Хотя Серега как большой ребенок, его подразнили конфеткой, у него слюни и потекли. Однако и аппетиты у этой Розы. Надо полагать, что всю пенсию Клева уже отдал пергидролевой блондинке, раз он сказал, что денег у него нет, и сейчас вот ищет еще наличные».

18

Передать душевное состояние Сереги было трудно. Он был весь в любви. Его вчерашняя знакомая, которая провела с ним всю ночь, воплощая в постели все Клевины эротические фантазии, разбудила в Серегином сердце целый пожар. Не избалованный женским вниманием вчерашний пациент психушки был в том состоянии, когда его и так-то непрочное душевное равновесие было нарушено большим количеством выпитого алкоголя и безудержным сексом, которому парочка предавалась почти сутки. В один из таких моментов, когда Серега почувствовал очередной прилив сексуальной энергии и начал ласкать Розу, женщина прервала ласки и серьезно сказала:

— Серж, ты знаешь, у меня с деньгами проблемы! Не помог бы ты мне?

Серега замялся, но желание овладеть вожделенной толстухой было так велико, что Клева принял роковое решение — оказать финансовую помощь партнерше.

— А сколько надо?
— Пятьдесят тысяч, кредит в банке, срок подошел, понимаешь, а платить нечем.
— Ерунда, я тебе помогу, — строил из себя крутого мэна Клева.
— Я знала, что ты настоящий мужик, — проворковала толстуха и начала делать Клеве эротический массаж.

Пергидролевая блондинка, покидая Клеву, держала в руках почти что всю пенсию инвалида, а также взяла с Сереги слово, что он достанет еще двадцать тысяч.



— Мальчик мой, ты ведь меня не подведешь! Ты ведь не заставишь свою девочку одалживаться у посторонних?

— Роза, будь спокойна, к вечеру деньги у меня будут! — горячо говорил Клева.

— Пупсик, ты меня просто выручишь! Я бы попросила денег в другом месте, и мне бы, несомненно, дали. Но зачем после того, как мы нашли друг друга, приплетать сюда каких-то третьих лиц!

— Все для тебя сделаю! Будь спокойна, я мужик и от своих слов не отказываюсь! — подписывая приговор своему финансовому благосостоянию, выпалил душевнобольной.

Таким образом, общение с Розой уже обошлось юному донжуану в тридцать тысяч. Таких денег, если бы Серега тратил их на обычных проституток, ему хватило бы на полтора десятка уличных девок. Оставшись без денег и со взятым на себя обещанием достать еще двадцать тысяч, Клева ни секунды не подумал о том, на что он будет жить до следующей пенсии. Каким образом Клева повелся на дешевые понты толстухи, понять было трудно. Причем признать свою глупость Клева не согласился бы ни при каких условиях. Психбольной всерьез считал, что Роза — эта та единственная, которую он ждал всю жизнь и ради которой он был готов горы свернуть.

Вообще, то, что многие дурики становятся объектом внимания брачных аферисток, факт общеизвестный. Че бы у хворого деньги или квартиру не оттяпать? Вычисляют несчастных с помощью подкупленных паспортисток и базы данных дурдома. Главное, чтобы у шизика родных не было. Подсовывают такому несчастному девку, и та охмуряет человека с неустойчивой психикой. А затем, пока душевнобольной не очухался, бегом в загс. После этого девица быстро оформляет опекунство над больным и прямиком в дурдом его на всю жизнь, а квартиру продают и делят между участниками аферы полученную прибыль.

Суды решают вопросы о признании невменяемости белобилетных донжуанов на раз-два-три. Кроме того, такой суд по закону можно провести, и, как правило, проводят, без извещения больного, заочно. Бумажки, какие для судебного заседания написать надо, заинтересованные врачи быстро оформят. То есть ты можешь и не подозревать о том, что суд в данный момент решает вопрос о твоей недееспособности. И вот сегодня ты пусть и не совсем полноценный гражданин, но свободно по городу разгуливаешь и живешь на свою нищенскую пенсию. А завтра, по решению судьи, ты уже в интернат определен на всю жизнь и даже слово о себе замолвить не можешь, поскольку на суд тебя даже не пригласили, а из интерната не то что в город, а даже на соседствующую с богадельней полянку зеленую не отпустят. Режим в таких заведениях посуровей, чем в тюрьме, будет. И сбежавших разыскивает милиция, как уголовников каких-то.

19

Борода тем временем корпел над дипломом. Для технологических расчетов требовалась специальная литература, конечно, некоторые данные можно взять с потолка, но это не тот полет, кустарщина, а Владимир всегда старался сделать работу без сучка без задоринки. Во всемирной паутине не нашлось трех очень важных параметров. «Придется в библиотеку ехать, некоторые справочные данные переписать, — думал Борода, — опять через центр города ехать надо».

Владимир недолюбливал центральные улицы, переполненные народом и автотранспортом, мужчина страдал агорафобией. Бороде казалось, что здания давят на него, а безразличная ко всему толпа может просто растоптать. Болезненные страхи усиливались жарой, которая установилась после дождя.

Воздух был горячим и влажным, стояла та погода, при которой у Бороды в транспорте было полуобморочное состояние. Плюс действие нейролептиков, которое превращало передвижение мужчины по городу в муку.

С горем пополам Владимир доехал до главной городской библиотеки. Большое здание с колоннами выглядело нелепо в окружении домов, выстроенных в стиле хай-тек. Вообще, исторический центр города за последние десять лет попросту разрушили. Здание книгохранилища было выкрашено в цвет яичного желтка, как и большинство присутственных мест. На фасаде были вылеплены барельефы выдающихся писателей. Из-за того, что изображения литературных гениев были расположены высоко, разобрать, кто есть кто, было очень трудно. Владимир повспоминал портреты литераторов из школьных учебников и, к своему стыду, никого не узнал. Поднявшись по гранитным ступенькам, Борода взялся за бронзовую ручку тяжелой деревянной двери и с трудом открыл ее. Поднявшись по большой мраморной лестнице на второй этаж, вошел в зал каталогов. Дрожащей рукой вписал в бланке заказов необходимую литературу. Народу в читальном зале почти не было. Середина лета, студенты уже закончили учиться, а простого человека в эту обитель мудрости не затянешь и на аркане. В конце читального зала обнималась парочка.

Все складывалось удачно, книги по причине малолюдия выдали быстро, данные в них нашлись. Единственная проблема возникла с последним фолиантом, нужная страница в котором была выдрана с корнем. «Ладно, что-нибудь придумаю, — решил Борода, — нарисую в дипломе что-либо похожее на правду, авось преподаватель не додумается, что это цифры с потолка. Что им, профессорам, нечего делать в такую погоду, кроме как вычитывать страницу за страницей то, что студенты накропали? Это же не бестселлер какой-нибудь!»

Закончив работу с первоисточниками, Владимир собрал свои вещи и пошел сдавать книги библиотекарю. На обратном пути он снова увидел целующуюся парочку и позавидовал им белой завистью. Сошедшиеся в глубоком поцелуе так, как если бы делали друг другу искусственное дыхание, влюбленные не замечали ничего и никого. Молодость, море по колено, впереди длинная жизнь и все маленькие и большие человеческие радости. Жизнь прекрасна, все впереди! Владимир вспомнил амурные похождения своей юности и только вздохнул. Не искушенные золотым дьяволом девушки его молодости дарили свою любовь бескорыстно. Жизнь была полна романтики и ожидания чего-то лучшего. Ощущение пульсирующего ритма жизни осталось в безвозвратно ушедшем прошлом и лишь бередило душу Бороды воспоминаниями об ушедшей юности.

20

Придя домой, Борода пошел под душ. Только бы вода была, и похолоднее! Из крана с синим кружочком на рукоятке под слабым давлением побежала мутноватая, теплая жидкость. «Слава богу, хотя бы такая есть», — размышлял Борода, смывая с тела липкий пот и городскую грязь. Водные процедуры были одним из немногих доступных душевнобольному удовольствий. Простояв под душем десять минут, Владимир еще некоторое время обмахивался полотенцем, пытаясь достичь того приятного момента, когда на коже появятся пупырышки и все тело почувствует легкую дрожь от холода.

Чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о дипломе и не отставать от жизни, Борода включил телевизор. По ящику шли новости. Собственно, ничего нового сказано не было. На Кавказе опять убиты омоновцы, в столице разоблачили какого-то чиновника, бравшего взятки, цены на нефть опять подросли. В общем, все хорошо. Показали действующего президента, который в жестковатой манере констатировал общеизвестные истины.



«Вообще, — думал Владимир, — в будущем, даже, наверное, в недалеком, голосовать будут не за конкретного человека как кандидата в президенты, а за определенный «софт». Выбирать будут одну из компьютерных программ. Техника надежнее людей, и никакого тебе человеческого фактора. Компьютер скажет, что и как делать, кому как себя вести, что делать, чтобы избежать мирового кризиса или начала новой войны. Да и вообще, сейчас компьютер — твой слуга, а придет время, ты будешь слугой компьютера. Куда приведет компьютерная революция, никому не известно».

Заканчивалась новостная программа рассказом о жизни одной из певичек современной поп-сцены. В самом интересном месте телевизор погас, погасло также освещение в коридоре. «Так, отключился свет, — констатировал Борода. — Значит, не работает лифт, холодильник, наверняка нет и воды, которая подается с помощью электрического насоса. Не поработать теперь и на компьютере, диплом придется отложить. Из всех электрических устройств функционирует только сотовый телефон, да и он разряжен. В глухой тайге удобств примерно столько же, сколько сейчас в нашем доме».

За окном темнело. Садящееся в облаках солнце окрашивало небосвод в пурпурно-красные тона, постепенно скрываясь за горизонтом. Если на востоке небо было уже почти черным и на нем появились звезды, то на западе светило еще затмевало своим светом наступающие сумерки. На улицах зажглись фонари, загорелись разноцветные рекламы. Борода хотел почитать книгу, но потом вспомнил, что света, самого простого блага жизни нет. «Надо поискать свечку, — подумал Владимир. — Где же она?» Пошуровав во встроенном шкафу, Борода вскоре держал в руках кусок парафина, который зажег от зажигалки.

Пламя свечи колебалось от ветра в разные стороны, отбрасывая на стены увеличенные тени предметов. «Может, сегодня лечь спать пораньше? Делать все равно нечего», — подумал мужчина и пошел за таблетками. Выпив пилюли, Владимир улегся на нерасстеленную кровать и попытался заснуть.

Как всегда после приема нейролептиков, сознание начало затуманиваться. Мысль работала все медленнее и медленнее, тело начало сковывать. Даже переложить руку было проблемой, налитое свинцом тело уже плохо подчинялось воле. Наконец сознание начало отключаться. «Наступил химический сон», — успел подумать Борода и окунулся в темную, липкую бездну.

Ночью к Бороде во сне опять пришел черный кот. Владимир невольно содрогнулся. Не то чтобы кот был как-то по-особенному страшен или агрессивен, просто мужчина боялся, что мохнатое животное опять будет обличать его. Так оно и произошло.

— Ну, что, опять ничего путного за день не сделал? — спросил кот, изгибая свою спину и мурлыча.

— Я в библиотеку ходил, — оправдывался душевнобольной, — я диплом пишу! У меня знаешь сколько работы!

— Знаем мы, как ты пишешь! На кладбище прохлаждался, вместо того чтобы работу, за которую ты аванс уже взял, выполнять! Халявщик!

— Имею право! И вообще, у меня интеллектуальный труд, я, может, с кем разговариваю, а в мозгу продолжаю о дипломе думать!

— Что это за работа — о дипломе думать! Разве настоящий мужик так работает? У настоящего бизнесмена, которым ты из-за своей лености никогда не станешь, все уже продумано! У полноценного человека и деньги на кармане есть, и в жизни все обустроено.

— Ты хочешь сказать, что я неполноценный?

— Ты неудачник и лентяй! Только жалеешь себя вместо того, чтобы чем-нибудь путним заниматься!

— Я тяжело болен!

— Выдумки это все. Шизофрения — это не болезнь, а образ мысли!

— Почему же тогда меня чуть что, в больницу волокут? Что, лечат за то, что я думаю иначе, чем большинство?

— Люди просто ничего не понимают в душевных болезнях. А психиатрия — это вообще не наука, а сплошное шарлатанство.

— Спасибо хотя бы на этом. Хотя легче от этого не становится.

— А ты перестань злиться на весь мир. В этом твоя беда. В своих проблемах ты винишь посторонних людей, а надо бы начинать с себя!

— А что хорошего мне другие люди сделали?

— А что плохого?

— Во-первых, во-вторых и в-третьих, как только люди узнают о моем заболевании, они перестают со мной общаться. Как же, шизик, такой даст по башке, и ему ничего не будет. От такого можно ожидать всего, чего угодно. Уж лучше держаться от такого подальше!

— Так все очень просто. Народец-то нынче пуганый. Вон по телевизору какие страсти показывают. Насмотрится на ночь публика всякого дерьма, потом от своей тени шарахается.

— И что мне тогда делать?

— А ты душу свою не открывай каждому встречному и поперечному. Зачем ты всем сообщаешь, что в дурдоме лечился? И так желающих о другого вытереть ножки — выше крыши.

«Удивительно, — подумал во сне Борода, — котище стал меня успокаивать. Что-то в прошедшую ночь за ним такой гуманности замечено не было».

Внезапно кот, утробно мяукая, стал уменьшаться в размерах и в следующее мгновенье совсем исчез. Борода открыл глаза. Первые лучики солнца заглядывали в окно. Ночь прошла, начинался новый день. «А я совсем не выспался», — печально констатировал Владимир.

20

Было пятнадцатое число. Пора в психдиспансер идти отметочку делать. Мысль об этом сильно подпортила и так не самое радужное настроение. Обязательное посещение раз в месяц психиатра очень угнетало Владимира. Вопрос типа «А вот докажи, что ты нормальный!» невольно висел в воздухе, пока с тобой беседовал врач. А как это докажешь? От такой процедуры невольно смутится и полностью здоровый человек. Но нормальный человек приходит в психдиспансер раз или два в жизни, а тут в год двенадцать раз нужно посещать дом скорби, отметочку делать.

Система наблюдения за психическими больными была отработана еще в период развитого социализма и отличалась большой навязчивостью. Каждый, кто попал в нее, уже до конца жизни был обязан отчитываться о своем поведении и о времяпрепровождении. Уклонявшихся от таких обязанностей предупреждали по телефону, а злостно отказывавшихся отправляли прямиком в дурку.

Для душевнобольных врач был царь и бог. От его мнения зависело, отправят пациента в психбольницу или позволят еще на воле погулять. Решение эскулапом принималось субъективно, ибо какие мерки существуют для оценки психического состояния? Поэтому врачу надо было понравиться, лишнего не говорить и ни на что не жаловаться. Не дай бог, посетуешь на своих домашних или соседей, как психиатр тут же записывает в карточке: «Кофликтен с окружающими». А это, может, люди к тебе с предубеждением относятся! Как-то раз Борода, вспомнив что-то смешное из жизни, улыбнулся на приеме. Тут же врач в карточке записал: «Беспричинно улыбается в неподобающей обстановке. Расторможен».

В общем, фиксируется на бумаге только то, что дискредитирует пациента. Как объяснил Владимиру один из пожилых врачей, дело в том, что бумаги психиатр пишет для прокурора, чтобы снять с себя ответственность за возможные последствия безумия больного. Как-то Бороде удалось почитать, что врачи о нем пишут, он пришел в ужас. Правдой в этих записках была только



дата приема, все остальное плод фантазий психиатра. Хотя, с другой стороны, а по-другому-то как? В чужую голову не залезешь, а фиксировать состояние пациента как-то надо. Вот и напрягает психиатр мозги, термины научные вставляет для придания достоверности своим измышлениям. Ведь если напишешь хоть капельку хорошего, то как тогда объяснить, почему пациента лечат, зачем таблетки заставляют пить.

Вот и в этот раз, придя в психдиспансер и заняв очередь к врачу, Борода стал тщательно обдумывать, что врачу сказать. «Скажешь, что лучше стало, врач оценит это как повышенное настроение, подтормозить захочет, увеличит дозировку. Изречешь, что хуже себя чувствуешь, тогда точно на пролонг напросишься, а то и на госпитализацию.

— Здравствуйте! Можно войти? — боязливо спросил Борода, заходя на прием.

— Здравствуйте, входите, — ответил психиатр, молодой мужчина в очках из желтого металла на переносице. Уставшее лицо психиатра давало понять, насколько ему уже надоело общаться с шизиками, а красные глаза свидетельствовали о том, что эскулап подрабатывал ночью на какой-нибудь другой работе или хорошенько поддал накануне. Врач даже не поднял глаз от карточки, в которой что-то торопливо писал.

Борода присел на краешек стула и стал ждать, когда эскулап что-нибудь спросит.

— Ну, рассказывайте! — продолжая писать, сказал врач.

— Так мне особо не о чем говорить, все по-прежнему, никаких изменений.

— Это хорошо, что без изменений. Таблетки пьете?

— Каждый день, утром, днем и вечером.

— Не кажется, что вы можете телепатировать?

— Нет!

— А может, голоса слышите?

— Нет!

— Какие лекарства нужны?

Владимира всегда удивлял этот вопрос. Ведь это врач должен назначать лечение, а не больной просить те или иные лекарства.

— Мне, как всегда, в тех же дозировках.

Эскулап выписал необходимые лекарства и сказал:

— Можете идти.

У Владимира отлегло от сердца. Весь прием не занял и пяти минут. Психиатр решил, что Владимир может погулять на воле еще месяц, до следующего приема. По закону подлости бывали случаи, когда помощь психиатра была на самом деле нужна, но врачи почему-то именно тогда отказывали в госпитализации. И вот когда приступ развивался, больного уже в состоянии полного безумия привозили в лечебницу, после чего закалывали нейролептиками. У Бороды самого была пара случаев, когда врачи проморгали болезнь.

21

Владимир вышел на ступеньки перед входом в диспансер, глубоко вздохнул и жадно закурил. Оправившись от нервного напряжения, Борода оглянулся по сторонам. На ступеньках стояли несколько больных, которых он раньше видел в больнице. Мужчина кивнул им и посмотрел вокруг себя.

Рядом с Владимиром стояли две девушки и, несколько манерно держа сигареты, пускали дым в воздух. Одна из девушек имела длинные рыжие и, как показалось Бороде, натуральные волосы. Футболка с надписью «Love forever» плотно облегала ее грудь, наглядно демонстрируя прелести курильщицы. Тесноватые джинсы подчеркивали стройность фигуры. Там, где заканчивалась футболка и еще не начинались джинсы, на теле красавицы красовалась татуи-

ровка в виде бабочки. Весь вид незнакомки будил в голове Владимира сексуальные фантазии.

И тут Борода подумал, что где-то уже видел блондинку. «Вспомнил! Я же видел ее в психушке! Она лежала в женском отделении, я ее как-то на прогулке видел. Значит, у девчонок что-то с головой не в порядке. Это несколько меняет дело. Это даже хорошо. К здоровым я подойти боюсь, а вот с больными чего бы парой слов не перекинуться?»

— Привет, девчонки! — сказал, подойдя к собеседницам, Владимир.

— И тебе привет.

— Может, познакомимся? Меня Вова зовут.

— Меня зовут Алена, — нисколько не смущаясь нахрапистости кавалера, представилась рыжеволосая. — А это Настя.

Блондинка в знак согласия познакомиться тряхнула головой, и длинная челка упала ей на глаза.

Борода включил все свое обаяние и начал развлекать молодых красавиц анекдотами в надежде сойтись с девушками поближе. Через пару минут собеседницы уже прыскали от смеха. Через четверть часа в записной книжке у Владимира уже были записаны телефоны подруг и была достигнута устная договоренность пойти на пикник на природу.

Наблюдавший за сценой знакомства постоянный обитатель дурдома Леша-Пельмень только скрипел зубами от зависти к той легкости, с какой Борода охмурял девушек.

Когда девушки, попрощавшись, ушли, Пельмень подошел к Владимиру и восхищенно сказал:

— Ну, Борода, ты даешь! Высший класс! Познакомиться с двумя психологами! Ты так скоро на врачей переключишься!

У Владимира отвисла челюсть от удивления:

— Каких психологов? Это же дурочки, такие же, как мы с тобой, особенно эта рыжая! Все глупости какие-то говорила! Я подумал, что она точно с приветом. Думал, что так же, как и мы с тобой, они на прием пришли!

— Ты че, Борода, совсем спятил? Эти девушки психологи, у нас в диспансере на третьем этаже работают!

— Не может быть! — сказал потрясенный Владимир. — Я же одну из них в стационаре видел!

— Так потому и видел, что работа у них такая, психов тестировать!

— Ну дела, вот прокол! Что же сейчас делать? А я-то всерьез думал, что они больные.

— Так это даже по приколу с такими кралями поразвлечься, — сказал Пельмень.

— Ты что, нужны им психи для знакомства, как же!

— Так ты что, сказал им, что ты пациент?

— Нет.

— Ну, вот и погуляй с ними, мало ли по какой причине ты здесь оказался. Может, ты комиссию врачебную проходишь или справку для получения прав на машину взять пришел!

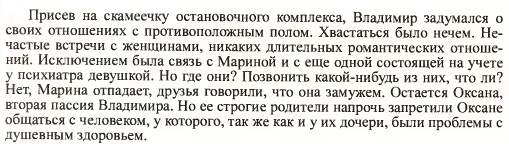
— Не, ты что, они расскажут обо всем врачам, а те меня в дурку.

— Это у тебя мания преследования, — прокомментировал Пельмень. — У меня тоже такое было, все казалось, что все знакомые меня в психушку отправить хотят.

— Не, Пельмень, я только с такими же, как я, могу нормально общаться. А после того, как я узнал, что они — психологи, я комплексовать буду.

Ошарашенный Владимир даже не пожал протянутую ему Пельменем для прощания руку и в прострации пошел по направлению к автобусной остановке.

22



Присев на скамеечку остановочного комплекса, Владимир задумался о своих отношениях с противоположным полом. Хвастаться было нечем. Нечастые встречи с женщинами, никаких длительных романтических отношений. Исключением была связь с Мариной и с еще одной состоящей на учете у психиатра девушкой. Но где они? Позвонить какой-нибудь из них, что ли? Нет, Марина отпадает, друзья говорили, что она замужем. Остается Оксана, вторая пассия Владимира. Но ее строгие родители напрочь запретили Оксане общаться с человеком, у которого, так же как и у их дочери, были проблемы с душевным здоровьем.

Оксана была тихой, домашней девушкой. Застенчивость и неуверенность в себе мешали девушке подать, как говорится, товар лицом. Оксана училась в консерватории по классу скрипки, и все ее интересы были связаны с музыкой. От современных деятелей поп-сцены ее подташнивало, примитивность навязчивой музыки приводила девушку в уныние. Но утонченность манер и хорошее образование по нынешним временам вещи не очень востребованные, а посему Оксана долгое время не могла найти друга.

Познакомились Оксана с Владимиром в психиатрической больнице на совместном занятии с психологом. Когда врач включил магнитофон с музыкальной записью, из присутствующих только Борода и Оксана угадали, что оркестр играет произведение Свиридова, написанное на повесть Пушкина «Метель». Угадавшие переглянулись, Владимир подмигнул Оксане, девушка смущенно улыбнулась. В кармане у мужчины была шоколадка, которую Владимир без раздумий предложил девушке. Оксана стала отказываться, ведь по понятиям закрытого лечебного заведения, такая сладость была целым сокровищем. Но Владимир, который приготовил плитку в качестве презента для медсестры, проявил настойчивость и не отставал от девушки, пока та не согласилась принять шоколад.

Все следующие занятия с психологом Оксана и Владимир усаживались рядом и без умолку болтали, вызывая раздражение ведущего занятие врача. Но именно эта беспредметная болтовня постепенно выводила Оксану из глубокой депрессии, из-за которой девушка попала в психиатрическую больницу. Через три встречи она буквально расцвела, стала улыбаться несколько пошловатым анекдотам и байкам, которые рассказывал Владимир. При этом на лице Оксаны появлялись милые ямочки, которые очень контрастировали с красивыми печальными синими глазами. Эти чудные глаза с глубокой вселенской грустью запомнились Бороде навсегда.

В противовес тихой, замкнутой дочери мать Оксаны была сильной, волевой женщиной, которая гордилась своей твердостью и отличалась бескомпромиссностью. В семье мать Оксаны была деспотом, все вопросы решала сама. Мама считала, что ее дочь здорова, что попадание Оксаны в психушку — случайность, и связывать жизнь с постоянным пациентом желтого дома глупо. Наверняка впереди у ее дочери счастливое будущее и удачное замужество. А что ждет Оксану с Владимиром? Ничего. И главное, от душевнобольного здорового потомства не получится. Оксана была послушным ребенком, и именно мнение родителей оказалось решающим при разрыве отношений с Владимиром.

«А вот как я решу! — подумал Владимир. — Я монетку подброшу! Орел — звоню Марине, решка — Оксане!» Борода вытащил из кармана рубль и подбросил его вверх. Монета описала загадочную траекторию и, блеснув, укатилась куда-то в траву. «Что это значит? — мнительно подумал Владимир. — Не звонить ни той, ни другой? А что тогда делать? Где мне женщину-то найти? Что предпринять? Может, с Аленой встретиться, раз монетка не показала ни Оксану, ни Марину?»

Алена была медсестрой, которая работала в психиатрической больнице. С ней Владимир познакомился весной два года назад, во время одной из госпи-

тализаций. Чем ей приглянулся Борода, никто не знает. Начиналось все с того, что парочка мило разгадывала кроссворды на больничной кушетке. Восьмого марта, когда младший персонал капитально набрался, Владимир уединился с Аленой в процедурке и, измученный длительным воздержанием, буквально набросился на медсестру. Алена сказала:

— Не сейчас! Какой из тебя герой-любовник, если ты весь нашпигован галоперидолом! Давай так, когда ты отойдешь от лекарств, позвони мне, и я к тебе приеду.

Алена выполнила свое обещание и, когда Борода пришел в себя после госпитализации, приехала к нему несколько раз. Все бы ничего, но медсестре для достижения нужной кондиции было необходимо насмотреться порнографических фильмов и хорошо выпить. И то и другое было чуждо Бороде, но терпимо. Но когда Алена предложила иметь связь втроем, пригласив еще одного мужчину, Владимир запротестовал. Так любовники и расстались. От этих встреч у Бороды осталось какое-то гадостное чувство.

«Как ни крути, реально я отношения ни с одной из троих не могу иметь. Так и придется жить одному в этом городе соблазнов. Положусь на судьбу, авось да и удастся встретиться с кем или познакомиться».

23

Для того чтобы прийти в себя после посещения дурдома, Владимир решил пройтись по кладбищу. Еще подходя к памятнику писателю, Борода понял, что у нищего что-то не так. Еще издали были слышны детские визги на непонятном наречии. В ответ нерусской речи слышались ругательства Копытова. Подойдя поближе, Борода увидел красочное зрелище: Вася воевал с таджиками-попрошайками. Подростков, промышлявших нищенством на улицах города, каким-то ветром занесло на кладбище. Копытов пытался поймать хоть одного верткого пацана, но из этого, конечно, ничего не получалось. Подростки специально подходили к нищему, что-то орали и кривлялись. Лицо Васи наливалось кровью, нервы не выдерживали, и он бросался в погоню за своими обидчиками, что вызывало дикий хохот детей Востока. Догнать, конечно, он никого не мог и, мучаясь одышкой от бега, только сыпал угрозами в адрес своих конкурентов.

— Ты только посмотри, — надрывался Копыто, — чего выделывают! Только мне хочет кто-нибудь подать, как подбегают эти со своими баночками, и милостыню перехватывают. Что мне, с ними наперегонки бегать? Я ведь так без заработка останусь. У, нехристи!

Дети Востока смотрели на Копытова и подошедшего Бороду, как затравленные волчата. Что поделаешь, конкуренция есть конкуренция. Лично Бороду приезжие не очень волновали. В той сфере деятельности, в которой подвизался Владимир, неграмотные жители южных республик не могли помешать Бороде зарабатывать деньги. Что касается Копытова, так в нем юные попрошайки видели врага, со всеми вытекающими последствиями. Владимира удивила злоба, с которой юные таджики набрасывались на безобидного Копытова. Борода привык к тому, что приезжие ведут себя очень тихо и смирно, а также очень неприхотливы к условиям жизни. Тут же южане готовы были глотку Копытову порвать из-за заработка. Что поделаешь, таков закон жизни, выживает сильнейший. Что будет с нами, когда эти пришельцы вырастут?

Пока основная часть табора потешалась над незадачливым аборигеном, один из чумазых попрошаек присел на близлежащей могильной плите и обделал ее по большому и по маленькому.

— Ты что делаешь! — возмутился Борода. — Милостыню хочешь просить, проси, но веди себя как человек, ты же на кладбище!



Особого смысла в воспитательных словах Владимира не было, так как таджики ни слова по-русски не понимали.

— Вот, представляешь, — обращаясь к Владимиру, почти кричал Вася,— во что они кладбище превратят! Ведь у себя дома они так себя вести не будут! А так ты денег им подай, а они как с кукишем в кармане к тебе относятся.

В это время подошла мамаша всего этого галдящего семейства. На руках у низкорослой таджички был ребенок нескольких месяцев от роду. Укутанное в платок так, что видны были только глаза, нос и немного рот, лицо женщины было как будто запачкано в грязи. Этот естественный для южан цвет кожи был крайне необычен в нашей пока европеоидной стране и вызывал желание умыть женщину с мылом. Что-то крикнув своей ораве, мамаша с вызовом бросила тираду на своем наречии в сторону Бороды и Васи и торжественно прошествовала в глубь кладбища. Подчиняясь ее указаниям, разновозрастная свора попрошаек двинулась прочь от Копытова.

Конфликт, по крайней мере на сегодня, был исчерпан. «Но что будет с Копытовым потом? — думал Владимир. — Не смогу же я каждый день приходить сюда и охранять его. А без меня Копытова эти пришельцы просто заклюют». Вася тем временем потихоньку приходил в себя, поминутно матерно ругаясь в адрес недавних врагов:

— Что они позабыли на нашем кладбище? Оно христианское! Если они мусульмане, то пусть и милостыню около мечети просят!

— Успокойся, Копыто! Может, ты их напугал, и они больше не придут, — успокаивал Васю Борода, сам не веря тому, что говорит. Люди так устроены, что если они где деньгу срубят, то обязательно будут эту жилу разрабатывать. В этом что мы, что таджики абсолютно одинаковы.

— А детей-то у них сколько, а детей! — возмущался Копытов. — Конечно, если только рожать, то времени на работу не остается. А если все просить будут, то кто делом-то заниматься будет?

— Вася, так ты сам милостыню собираешь!

— Я в этой стране вырос, горбатился всю жизнь на государство, так что имею право!

— И что из того! Все на государство в свое время поработали, что, сейчас всем на паперть идти?

— Ты что, защищаешь этих черножопиков?

— Да нет, просто хочу сказать, что приспосабливаться надо к ситуации. Толку от твоей злобы никакой, ты таджиков не перевоспитаешь, они какие есть, такими и будут. И сами они просят, и дети их будут попрошайничать, так что как-то надо по-мирному разобраться. А то они в один прекрасный день изобьют тебя, и помощи тебе будет ждать неоткуда, никто за тебя не заступится, сам знаешь, какой у нас народ.

— Ни за что я рядом с ними не буду милостыню просить!

— Тогда меняй место, проси где-нибудь в городе.

— Это что, я в своей стране должен бояться приезжих?

— Выходит, так.

24

Получив на кладбище вместо отдыха эмоциональную встряску, Владимир решил, что рано или поздно и погост, и город весь будет во власти приезжих. Националистом Борода никогда не был, но, встречая в последнее время в большом количестве мигрантов, невольно поддавался легкой панике по этому поводу. «Великое постиндустриальное переселение народов. Когда-то европейцы колонизировали весь мир, теперь, наоборот, «все флаги в гости к нам». Эта волна пришельцев смоет нашу цивилизацию, и вспоминать о современном «золотом миллиарде» будут примерно так, как о жителях исчезнувшей

в океане Атлантиды. Обидно, конечно, но факт. Природа не терпит пустоты. Сами не хотим рожать, так пусть другие род свой продолжают», — думал Владимир.

Борода, предаваясь апокалипсическим мыслям, не заметил, как отмахал почти всю дорогу от погоста до дома. Перехватив наспех что-то из холодильника, мужчина сел за написание уже опротивевшего ему диплома. «Вот была бы такая работа, сделал бы ее и был бы свободен. А тут надрываешься день за днем, и кажется, что конца и края этой писанине нет. Определенности нет, вот что плохо. До последнего не знаешь, правильно ли ты все сделал», — сокрушался Владимир.

В самый разгар работы, когда Борода весь ушел в написание диплома, зазвенел телефон. Владимир не сразу понял, что это ему мешает сосредоточиться, потом до него дошло, что кто-то очень хочет с ним поговорить. «Может, не брать трубку, — решил мужчина, — кому надо, и потом дозвонится. Я лично не горю желанием с кем-либо беседовать». Телефон замолк. Удовлетворенный Борода снова застучал по клавиатуре. Но звонивший был очень настойчив. Еще два раза телефон начинал трезвонить и, попиликав пару минут, замолкал. Но теперь у Владимира все рабочее настроение улетучилось. Ругнувшись, мужчина взял трубку.

— Але, але! — послышалось из аппарата, — Борода, ты че трубку не берешь?

— Что тебе надо? — сердито ответил Борода.

— Как что? Ты хоть знаешь, что я тебе из дурки звоню, санитар на две минуты разрешил аппаратом попользоваться.

— Как ты туда попал? — удивленно спросил Владимир.

— А вот так! Мамаша опять сдала. Пришла ко мне, а я пьяный сплю. Она меня растолкала и спрашивает: «Ты пенсию-то получил? А я ей все про Розу и рассказал, сказал, что жениться на ней собираюсь, что в квартире у себя ее пропишу. Ну, тут мать вроде как закивала головой и в соседнюю комнату, там, где телефон был, вышла. А мне бы, дураку, подумать, что она бригаду для меня вызывает, так я бы из дому ноги сделал, переночевал бы, допустим, у тебя. Не будут же они меня сутками караулить! Ну и приехали эти мальчики по вызову, я стал сопротивляться, а они ведь ушлые, знают, как вырубать с одного удара. Дали мне под дых, пока я в себя пришел, уже по рукам и ногам связан.

— Ну ты даешь! Пару дней на воле побыть — и снова в психушку!

— Во-во, Борода, ты человек с пониманием. У меня к тебе две просьбы, первая: приедь ко мне в дурку и курева с чаем привези. Если бабло есть, то и фруктов тоже. А то мать мне сказала на прощание, что она ко мне в психушку больше ни ногой. Вторая: достань Розе деньги, ей десять тысяч еще не хватает. Я уже решил, как только меня из богадельни выпишут, свадьбу сыграем. Тебя свидетелем возьму!

— Не хочу я быть никаким свидетелем, хватило мне уже приключений с тобой!

— Ты че, Борода, у меня же с Розой любовь! Такое раз в жизни бывает! Че ты моему счастью не радуешься? Сам как филин, живешь один, и что, все так же должны, что ли?

— Слушай, Клева, у тебя хоть адрес то этой твоей блондинки есть?

— Нет, на фига мне ее адрес, жить-то у меня будем.

— А паспортные данные хотя бы?

— Нет, на кой черт мне ее паспортные данные, че я, мент, что ли?

— Так ты мне объясни, как ты совершенно незнакомому человеку деньги-то отдал? Она же тебе их никогда не вернет. И меня еще подбиваешь свои кровные этой Розе отдать.

— Я тебе все верну, мое слово кремень, можешь верить!

— Нет, не дам я твоей крале деньги. На мой взгляд, она просто аферистка, попался ты на ее удочку. А приехать к тебе, пожалуй, приеду. В воскресенье!

— Ты че, Борода, до воскресения еще четыре дня! Как я без курева-то проживу? У меня же уши опухнут! И с санитаром надо расплатиться, я ему за то, что он поговорить с тобой разрешил, пачку пообещал.

— Это твои проблемы. Отдал все деньги Розе, вот пусть она к тебе и ездит.

— Так она не знает, где я!

— Будь уверен, и знать не хочет. Думаю, больше ты эту мадам не увидишь.

— Не романтик ты, Борода, о высоком не думаешь, видишь грязь кругом только. Так знай, Роза — моя верная Ассоль!

— А ты капитан Грэй?

— А хотя бы и так!

— Чудак ты, Клева. Лучше бы ты на пару дней из больницы позже вышел, глядишь, сейчас бы дома сидел да свой любимый «Rammstein» слушал, курил бы вволю и чафирь пил, — нажимая клавишу отбоя, сказал Борода.

25

Две недели, которые Борода потратил на написание диплома, пролетели очень быстро. Клева больше не звонил. «Наверное, в наблюдаловке его заперли, к телефону не пускают», — думал Владимир. Наконец настало время звонить заказчице. Найдя ее номер телефона в записной книжке, Борода набрал необходимые цифры дрожащей рукой и стал с волнением ожидать ответа.

— Аллеу, — пропела в трубку Лена.

— Здравствуйте, это Владимир звонит, ваш диплом готов, можете забирать.

— О, как прикольно! Когда вы его мне отдадите?

— Хоть сегодня.

— Отлично, где встретимся?

— Так давайте там же, где и в первый раз.

— Сейчас такая жара, — томно сказала Лена. — Может, вы придете ко мне домой? Ну, чтобы на жаре не стоять.

Владимир подумал, что бы это значило. «Скорее всего, девушка готова на натуральный обмен. Диплом против красивого молодого тела. А ведь и я согласен! На кой черт мне эти бумажки с водяными знаками! Уж если иметь любовную интрижку, так лучше с достойной претенденткой! А Ленчик товар — первый сорт!»

— Хорошо, — несколько волнуясь, ответил Борода, — говорите адрес.

Через час с небольшим Владимир стоял у двери заказчицы, переминаясь с ноги на ногу. Квартира открылась, появилось милое личико, и Борода увидел глаза Лены. В них он прочитал то, что и ожидал. Зрачки девушки были расширены, рот призывно открыт, перед Владимиром стояла красивая, готовая ко всему блудница. Хозяйка, скорее всего, съемной квартиры взяла Бороду за локоть и, чуть подталкивая, повела внутрь.

— Ну же, Владимир, проходите, не стесняйтесь.

«А я и не стесняюсь. Что стесняться-то?» — подумал Борода.

Николай Предеин

Что не слышит ухо...

***

воробей присел на ветку
ветка покачнулась
вижу как душа у ветки
медленно проснулась

***

всё кроме твоей улыбки
мне кажется здесь ошибкой
и музыки этой кроме
все было пустой соломой
и кроме с тобой здесь встречи
мне оправдаться
нечем

***

птица строила гнездо
не похожее на крылья
ты спросила почему
ничего не говорил я

в тишине немой сидел
подбирал простые звуки
а потом пришли слова
не похожие на руки

Николай Предеин — скульптор и график. Родился в Зауралье (дер. Опытная Станция, Курганская область). Работы Н. Предеина находятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в Музее Л.Н. Толстого (Москва), Театральном музее им. А.А. Бахрушина (Москва). Автор золотой статуэтки «Casta Diva» (Российская оперная премия). Автор приза «Дягилев» международного фестиваля «Дягилевские сезоны. Пермь—Петербург—Париж». Стихи публиковались в журнале «Урал».

***

диоген диагональный
прямоте не изменил
загораживать светило
Александру запретил
Александр улыбнулся
отошёл от мудреца
потускнели золотые
листья с царского венца

***

дворник знал работу
и платил за газ
оставалось что-то
что не видит глаз
что не слышит ухо
голос не поёт
но за гранью слуха
где-то самолёт
он о дворнике не знает
ничего летит вдали
а ногами он ступает
по земле (такой Дали)
но сюжет ещё *д а л é е*
дворник знал работу
подметает (он умеет)
тень за самолётом

***

нет гб не поймёшь кто стукач
но река объяснит *что* не тонет
кто там жаден покажет калач
скрипки нет докажи что скрипач
царь ли это увидишь на троне

***

просто жил находил слова
прислушиваясь
как ветер
прислушавшись вдруг заметит
что кроны осенних клёнов
багряным а не зелёным
готовы уже ответить
что будет на белом свете

***

с краю лучше
чем на краю
только с краю
не так поют

***

счастье своё, как хрустальную вазу,
носит дурак, как предел мечты.
так он ума и не нажил,
не догадался (ни разу!)
в вазу поставить цветы.

***

у меня привычка есть
знаю что плохая
где-то в чём-то ошибусь
ну бывает ошибусь
и не замечаю
но внутри меня живёт
маленькая скрипка
и она мне говорит
непременно говорит
где и в чём ошибка

***

у сирени — крестики.
вся стоит крещёная.
в мае все кусты сирени —
новообращенные.

***

светлое будущее спички

***

есть только Бог
а остальное
вопрос времени

***

вертикальная тишина

***

может быть, если ЗДЕСЬ не сделаю больно,
ТАМ будет больнее?

***

защитить себя от грязи белой одеждой

***

феномен числа:
между яблоком и гвоздём гораздо больше общего,
чем между яблоком и двумя яблоками

***

неевклидово выражение лица

***

около спящих младенцев
даже тишина стоит на цыпочках

***

ждём чуда там, где надо работать,
упорно работаем там,
где только чудо может помочь

***

после такой музыки надо же что-то делать!

***

азалия!
что нам делать со злом?

***

вера — единственное доказательство Бога,
как жажда — доказательство воды

***

косвенный свет снегопада

***

молчание как устная тишина

***

поэзия задыхается — некому дышать!

***

снегопад голубиной кротости

***

жизнь — язычница
смерть — христианка
в этом-то всё и дело

***

в тишине всегда немного молчит смерть

***

бабочка
перелетающая дорогу на красный свет

***

зацветающая яблоня
как медленно созревающий свет

***

этот — похож на птицу
которая не решается на полёт
тот — на воду
которая течёт вверх

***

мы умрём
или не умрём
второго не дано



Виталий Лозович

Заблудившийся олень

Рассказ

> Зрение у оленей слабое, лодку они замечают поздно, когда до встречи остаются секунды.
>
> *Эдгар Дубровский.* Сценарий «Запасной аэродром»

С малого детства Ромка Шустов страдал плохим зрением. Заметили это в первом классе. Ромка сидел на последней парте и через месяц обучения пожаловался родителям, что не видит, что там на доске пишет мелом учительница. Ромку отвели к офтальмологу, тот глянул и как приговор прочитал:

— Минус три. Плохо дело в таком возрасте.

Родители в ужасе стали кормить Ромку витаминами, морковкой, черникой и всем прочим, что должно было, в их понимании, срочно восстановить зрение, но всё шло в обратную сторону. К пятому классу зрение опустилось до «минус пять», к девятому — до «минус семь», а к выпускному — до «минус восемь»...

«Минус восемь» — это такое зрение, когда человек снимает очки, а в глазах фактически один сплошной мутный туман, сквозь который проглядывают очертания близлежащих предметов. Чем предмет крупнее, тем его, конечно, лучше видно. Если человек никогда без очков долго не ходил при таком зрении, то у него очень быстро начинает кружиться голова. Предметы какие-то границы имеют, но всё, что дальше метра, похоже на размытые пятна. Причём пятна эти могут теряться и размываться полностью, если контрастность их небольшая и от общей картины местности мало отличаются.

В восемнадцать лет, когда всех друзей забрали в армию, а Ромку не забрали никуда, когда все друзья завистливо хлопали его по плечу и завистливо напутствовали — ну, ты давай тут... за всех нас... всех тут подряд... Ромка впервые в жизни почувствовал, что слабое зрение как-то влияет на его жизнь. Во-первых, в армию не годен, во-вторых, работать тоже может не везде, есть медицинские ограничения, в-третьих, что делать дальше, если зрение начнёт садится ещё ниже?

В институт Ромка экзамены сдал, но пройти не смог по конкурсу — мало было баллов. Если бы он выбрал себе институт нормальный, а не факультет кинодраматургии московского ВГИКа, то вполне бы мог устроиться студентом лет на пять. Он вернулся в родной Северск, в своё Заполярье, в тундру, посидел до осени дома на родительских харчах, после чего пошёл искать работу. Работы он не нашёл. Грузчиком идти было нельзя по зрению, главным инженером никто не взял.

Когда пришёл конец августа, Ромка, перечитавший за последние годы всего Джека Лондона, вступил в местный охотсоюз, получил сразу два охотбиле-

---

Виталий Лозович — родился и жил в Воркуте. Работал кино- и телеоператором. Публиковался в журналах «Север», «Автограф», «Союз писателей», «Дальний Восток». Автор книг «Тёща для всех» и «Опрокинутый мир». Лауреат конкурса им. Виктора Голявкина (Петербург). Член Российского Межрегионального союза писателей. Член Союза журналистов России. Живет в Салехарде.

та — как от Министерства природных ресурсов, так и от местного охотобщества, весь август исправно посещал занятия в местной полиции по правилам обращения с охотничьим оружием, после чего в начале сентября получил разрешение и на родительские деньги приобрёл себе прекрасный бокфлинт (вертикально спаренные стволы) ТОЗ-34. Всю осень Ромка охотился на уток и куропаток. Охотился плохо, больше просто бродил по тундре. Зато впечатлений набралось масса, сюжетов для конкурсного рассказа во ВГИК было теперь предостаточно.

Подошла зима. Как всегда в Заполярье — внезапно, быстро, неотвратимо. День уменьшился к декабрю до полутора часов, остальные двадцать два с половиной часа в тундре стояла ночь.

Работы Ромка себе так и не нашёл. Бездельничал под присмотром родителей. На охоту ходил чуть ли не каждый день, с охоты приходил усталый, на вопрос родителей «что убил?» отвечал коротко и уверенно — ноги. Правда, куропатки тоже встречались и тоже нередко были на столе семьи.

Однажды Ромка в магазине охотсоюза увидел небольшие капканы, поинтересовался у продавца — на кого? На песца, ответила та безразлично. У Ромки загорелись глаза. Песца он видел в тундре однажды, совсем недавно, видел так близко, что даже опешил. Он присел отдохнуть в ложбине, где была вереница высоких кустов, в которых обычно кормились куропатки, и здесь краем глаза заметил какую-то движущуюся фигурку... Вначале подумал — собака. Песец просто пробежал мимо, по его же лыжне, только один раз глянув на человека безразличным глазом. Ромка уже слишком поздно стал палить из обоих стволов по зверю, но зверь ушёл. Ушёл ровно, спокойно, лишь чуть-чуть скорости прибавив.

Ромка приобрёл капкан, на следующий день поставил его там, где песца увидел, и, даже не поискав в этот раз куропаток по кустам, ушёл домой. Теперь оставалось ждать. Что он будет делать с песцом, когда поймает его в капкан, Ромка пока не знал. Может, прихватит за задние ноги и треснет башкой о... обо что? О снег? Тогда просто пристрелит зверя в капкане. Метров с десяти, чтобы наверняка. Потом он снимет шкуру так, как много раз уже читал в самых разных книгах и справочниках. Шкуру с песца снимают «чулком», надрезая для это вначале кожу в районе челюстей, потом выворачивают шкуру наизнанку... потом откусывают аккуратно коготочки на лапах и так до самого хвоста. Куда он денет эту шкуру? Матери отдаст. Пусть сошьёт себе шапку. Правда, у матери этих шапок... Ждал Ромка своего зверя всего один день, точнее, ночь, следующим утром, ещё затемно, вышел в тундру.

К двадцатым числам декабря «по-московскому» светает за Полярным кругом в десять, темнеет в двенадцать тридцать, сам день, собственно, составляет сорок минут. День стоял тихий, облачный, небо и заснеженная тундра сливались у горизонта в один белый туман.

Ромка вышел за город, прошёл за пару часов по открытой тундре в балку с кустами и, мельком просмотрев, не кормятся ли здесь куропатки, вышел к месту, где поставил капкан. Место было довольно ровное, немного в низине. Места такие среди охотников назывались — балки. Ромка оглянулся — пусто. Снег, снег, снег. Уже рассвело, шёл одиннадцатый час дня, солнце шло где-то за непроницаемыми тучами, очевидно, находилось «в зените». В зените в декабре — это где-то внизу, «под землёй», за линией горизонта. Солнце за Полярным кругом зимой не выходит на небо, лучи его лишь отражаются от небесного свода. Это и есть день.

Капкан стоял на месте, вокруг было чисто. Ни один зверь не то что не попался в его зверское орудие лова, но даже и не подошёл близко. Ромка аккуратно проверил мелкую цепочку, за которую капкан был привязан к метровому штырю, вбитому в снег, убрал зачем-то кусочки сырого мяса оленины, что положил сюда вчера для приманки, достал нового мяса, разбросал вокруг... Хотел уйти, но внезапно в голову пришло — а если капкан под снегом срабо-



тал сам, захлопнулся и сейчас находится в неактивном состоянии, тогда что?.. Ромка понимал, что сам капкан вряд ли может сработать, но вдруг?.. Чего, спрашивается, ждать зверя, когда орудие лова не работает?

Осторожно разворошив снег сбоку, он вытащил капкан наружу, кусочек мяса лежал на железном пятачке и примёрз к нему намертво. За три с лишним часа ходьбы Ромка изрядно пропотел в своей тёплой брезентовой куртке, очки сегодня он в спешке не сменил и вышел в тундру в домашних, а они были лёгкие, держались на носу плохо, скользили постоянно вниз... Он регулярно поправлял их, пододвигая пальцем к переносице, но через минуты очки упрямо сползали.

Осмотрев капкан, он вытащил нож, решив проверить — не подмёрзло ли устройство? Мало ли, подмёрзнет и не сработает. Ромка ножом ткнул в приманку, капкан мгновенно хлопнул своими челюстями и зажал нож мёртвой хваткой. Ромка расправил его обратно, положил ещё один кусочек мяса на пятачок, как-то бережно установил капкан в углубление в снегу, легко рукой стал присыпать свою ловушку снегом, в голове промелькнуло — а устройство-то зверское, мучиться зверь будет... метаться... Едва эта мысль посетила его голову, как оправа очков вновь скользнула вниз по носу, Ромка не успел её поправить... очки слетели, перевернулись заушниками вниз и упали ровно на пятачок капкана... Ловушка сработала быстро, хватко и чётко — челюсти с металлическим лязгом щёлкнули, во все стороны полетели брызги стекла...

Первое мгновение, когда вместо окружающего пространства появился белый туман, когда вместо того же капкана на снегу мутно затемнело какое-то пятно, Ромка ничего не понимал. После поднял голову, глянул по сторонам и ничего не увидел. Точнее, он увидел. Увидел тот же туман вокруг. Даже кустов, что находились вот здесь, рядом, метрах в трёхстах, вот здесь... нет, не здесь, там... или здесь? Так их нет — ни здесь, ни там... Так. Кусты находились по левую руку — там. Или?.. Или здесь? Может, сходить глянуть? Зачем? Он зажмурил глаза, открыл, вновь зажмурил, опять открыл — картинка не изменилась, вокруг была белая мгла. Ни горизонта, ни кустов, ни даже антенны городской телевышки, что находилась километрах в десяти отсюда и здесь, в низине, была видна даже в пасмурный день из-за тундрового подъёма, — ничего видно не было. Молоко. В один миг Ромка остался слепым. Привычно полез рукой на пояс к сотовому телефону — а нет на поясе сотового телефона, дома оставил, потому как батарейка села ночью, заряжать — времени не было. Решил, что и так обойдётся. Обошлось? Да и потом, он никогда ещё не проверял — берёт ли здесь сотовый. Здесь очень глубокая низина, вполне возможно, что и не берёт телефон... Зачем он себя сейчас успокаивает? Зачем? Не взял телефон, всё равно — идиот безмозглый.

Глупо, бесполезно, почти механически он разжал, створки капкана, вытащил зажатую, треснувшую в двух местах пластмассовую оправу. Поднёс к глазам почти вплотную — стёкол не было, лишь в одном месте торчал осколок треугольной формы. Ромка повертел оправу в руках, не понимая, что с ней делать. После сунул её в карман куртки, пошарил пальцами по снегу, нашёл ещё один осколок стекла покрупнее, приложил к глазу... Осколок крутанулся в пальцах и уколол его. Ромка рукой тряхнул, тут же на подушечке большого пальца показалась кровь, сам же осколок выпал в снег и тут же исчез. Ромка наклонился к снегу вплотную, со стороны было похоже, что он снег нюхал. Руками он осторожно водил по снегу, пытаясь всё же нащупать какой-нибудь кусочек спасительного стекла покрупнее, но осколков покрупнее не было. Челюсти самого хищного, безжалостного и чудовищного орудия лова зверей очень точно поймали его очки в свою пасть и раздробили стёкла в порошок. Капкан поймал его сам и безжалостно оставил, беспомощного, посреди тундры... бескрайней тундры... того самого «белого безмолвия»... Город был рядом, километрах в пятнадцати отсюда. Но вот куда идти? Сплошное молоко. Солнца нет, ориентиров нет, даже ветра нет, чтобы запомнить хоть примерное направление.

Ромка встал на колени. Тупо, бессмысленно, невидяще смотрел в снег. Мысли вообще отсутствовали. Он впервые за свою очень короткую молодую жизнь не знал, что сейчас делать. Дома этих очков у него... оправ пять или шесть валяется... Дома. Дома. Дома. Здесь-то что делать? Ромка поднялся на ноги, достал из рюкзака за спиной термос с чаем, выпил пару глотков, спрятал обратно, поправил ружьё на плече, оглянулся вокруг — молоко. Туман. Белая взвесь. Он зажмурил глаза, открыл — ничего. Зачем жмурился? Глупость какая. Что делать? Он вновь оглянулся вокруг — пустота. И тишина в тундре вдруг стала какая-то неземная, словно вымерло всё рядом. Ни ветерка, ни куропачьего треска, ни клёкота канюка тебе сверху... ничего нет.

— Домой идём, — сказал он себе так, словно приказал другому, кому-то другому, который уже так испугался, что и двинуться с места сил нет.

Снег заскрипел под лыжами уверенно, как всегда. Снег скрипел под лыжами, словно ободряя — не всё так плохо, идти можешь, значит, дойдёшь. Ромка глянул вперёд — а куда дойдёшь? Куда идти? Так. Стоп! Капкан стоял здесь, за спиной, он пришёл оттуда... Он перед этим местом пересёк длинную вереницу кустов в распадке, там летом течёт бурный ручей, тальник высокий растёт, до самой весны его не заметает. Он дойдёт до этого тальника, и тогда надо будет идти ровно вверх по тундровому подъёму, а когда он выйдет на него, то, вполне возможно, увидит впереди тёмную дымку от города. От городских труб по всему горизонту тянется тёмная полоса дыма... Но это же с нормальным зрением, это же когда видно всё... увидит ли он сейчас эту дымку? Хоть бы просто тёмную полосу увидеть, хоть бы что-то увидеть!

Он шёл словно в какой-то пустоте, словно и не шёл вовсе, а двигал ногами на одном месте, а тундра под ним крутилась во все стороны, и конца и края ей не было и быть не могло. «Север крайний — он бескрайний...»

Через час Ромка понял, что идёт не в ту сторону, что идёт не домой, а неизвестно куда. Вереницы кустов не появилось, тундрового подъёма не было, он шёл по ровной местности куда-то в другую сторону от города. В какую? Куда ещё можно было выйти здесь? Если на восток, то можно было попасть на дорогу, ведущую в дальний посёлок... если на восток... а он куда идёт? Так... на дорогу? На дорогу — это уже к людям. Там хоть раз в сутки, но пройдёт машина, там... а куда это здесь на восток? Где солнце? Солнце в декабре на юге находится. Нет солнца. Сплошная одна большая серая туча величиной с небо. И ветра нет... ветра нет... по ветру он бы запомнил движение, по ветру... Куда идёт?

Прошло ещё с полчаса, и Ромка заметил, что вокруг начинает очень уверенно смеркаться. День уходил. Снег меркнул, темнел, вначале стал отдавать лёгкой синевой, потом начал сереть... Ромка инстинктивно ускорил ход. Ноги его суетливо побежали вперёд, словно хотели догнать день... А куда побежали? Ромка остановился. Куда он бежит? Вокруг уже полная мгла. Сейчас пройдёт ещё с полчаса, и снег да небо полностью исчезнут, останется этот тёмный туман вокруг.

Через полчаса небо и снег полностью исчезли. Совсем исчезли... На тундру опустилась ночь. Где-то за тяжёлыми тучами явно шла луна. Полная, яркая луна. Это Ромка понял сразу, потому как даже при самой сильной облачности зимой в тундре полной темноты не бывает. Хоть какой-то свет, но пробивается сквозь эту пелену мрака, а снег, он такой, он как глаза кошки, от него даже свет далёких звёзд отражается.

Ромка поднёс руку с часами вплотную к глазам — четырнадцать часов. Ночь. Тихо. Ни ветра, ни свиста, ни крика, ни голоса, ничего. Мёртво. Как перед глазами ничего, так и вокруг ничего. Что ж делать? Идти ночью? Точнее, не ночью, а в ночи... в темноте полной? Куда?..

Ромка остановился, сел на снег, снял рюкзак, открыл его и стал смотреть, что там есть и что могло сейчас хоть как-то пригодиться. Спички, зажигалка, сухой спирт, тормозок с салом, термос, фляжка с коньяком (брал больше для



форса, нежели для дела, никогда на охоте не пил), аптечка... кстати, есть таблетки с кофеином, говорят могут выручить, если совсем усталость одолеет. Ромка снял ружьё, переломил стволы, вытащил патроны с мелкой дробью на куропатку, зарядил картечью... зачем? Он же не видит перед собой дальше полуметра? Стрелять в кого? В волков? Идиотизм — они зарежут раньше, нежели успеешь руку поднять... Но здесь волки не ходят, здесь место пустынное, а им же есть надо... здесь им зимой есть нечего, здесь нет волков... а кто есть? Липкий страх сковал сознание.

Ромка поднялся на ноги — надо идти. Если так сидеть и ждать неизвестно кого, можно умом тронуться... надо идти. Он всё же снял курки ружья с предохранителя, повесил его на плечо стволами вниз, поправил за спиной рюкзак, вытащил фляжку с коньяком, открыл твёрдой рукой, отпил несколько глотков, грамм сто... поморщился, сказал громко:

— Вкусно. Вперёд!

И пошёл вперёд. А может, и назад. Он не знал. Если начнётся тундровый подъём, значит, идёт правильно. Перед городом подъём, потом долгая двухчасовая дорога вниз. А перед подъёмом кусты, длинная вереница, метров на пятьсот. Но ни кустов, ни подъёма не было. Когда он в следующий раз глянул на часы, было уже пятнадцать часов. Темнота сгустилась полностью. Но ни огонька нигде, ни светлячка какого. Сколько бы он сейчас отдал хоть за какой ориентир! В голове впервые качнулась мысль — где-то надо ночевать. Хоть где-то. А где ночевать, если вокруг никакого тебе не то что дерева, куста, бугорка, а и просто кочки, возле которой приткнуться можно да засидку в снегу выкопать?

Ромка снял лыжи, пробил ногами ямку под ноги, сел на лыжи, достал из рюкзака сухой спирт. Как обычно, он взял его много, полсотни таблеток. Спирт — груз лёгкий, а в случае чего, грел неплохо. Не раз Ромка уже мог убедиться, что одна таблетка вполне может спасти обмороженные руки. Причём греть руки можно было на ходу. Поджигаешь таблетку спирта, кладёшь её на поддон небольшой алюминиевой печки — вроде крошечной буржуйки с алюминиевым стаканом внутри — для кипячения пол-литра чая, и прямо так с печкой и идёшь, в руках её держа.

Сейчас Ромка поставил печку на снег, в стакан снегу засыпал, пару таблеток поджёг и стал смотреть на огонёк за дырочками в лотке печки. Смотреть больше было не на что. Всё остальное меркло в темноте и тумане при отсутствии зрения. Тишина вокруг была мёртвая. Темнота мёртвая, тишина мёртвая... Каждое движение Ромки отдавалось какими-то посторонними звуками извне. Ромка оборачивался, щурился изо всех сил, но ничего не видел. Чай согрелся быстро, он заварил покрепче, решив, что лучше ему не спать, а просто сидеть и ждать рассвета... сколько ждать? Сейчас шестнадцать часов, светать начнёт в восемь утра... шестнадцать часов ожидания. В полной темноте, в полной слепоте.

Глупо, конечно, было не взять с собой сотовый телефон. Хоть зарядить полчаса да выключить, а включить, когда уже и в самом деле понадобится. Впрочем, Ромка здесь серьёзно задумался, а стал бы он сейчас, к примеру, звонить... куда звонить? В службу спасения? Смешно. Ни за что бы не стал. На смех бы подняли. Пошёл парень снимать капкан да угодил в него сам! Да как!.. Очки с носа слетели и вдребезги! Нет, не стал бы звонить. Положение и глупое, и нелёгкое, но звонить, просить помощи — ещё глупее. Ночь пересидит, а там посмотрим. Выйдем куда-нибудь. В конце концов, он не в открытой тундре, в трёх сторонах из четырёх — или город, или дорога, или посёлок дальний. Самое ближнее километров десять — пятнадцать будет, это всего-то три часа ходьбы. Хорошо бы ещё знать, в какую сторону ходьбы... Нет, звонить в какое-нибудь МЧС он бы всё равно не стал. Может, это и глупо звучит, но стыдно как-то и уж тем более — не по-мужски. Тоже мне — ох-хотник!

В своё время Ромка очень многое прочёл из того же Джека Лондона о «белом безмолвии». Читалось всегда хорошо — под торшером, в уютном крес-

ле, со стаканом горячего чая. Переживал за героев, представлял: а как бы он сам?.. А как бы он? Вот он сейчас и как бы... Есть у Джека Лондона такой рассказ, когда человек один выходит в маршрут в минус шестьдесят по Фаренгейту — по Цельсию это где-то пятьдесят два... холодно. И человек этот промочил ноги в ловушке ручья. Хотел костёр разжечь, да не смог, так и замерз... Мораль такая — не ходи в маршрут в одиночку. Друг бы разжёг ему костёр, и человек остался бы жив. Конечно, с его положением сейчас тот случай сравнивать глупо, но всё же — был бы рядом друг, он бы просто вывел его из тундры, из темноты, из слепоты. Но друга нет, все друзья оказались годны к службе в армии и сейчас отдают свой долг Родине…

Вода закипела быстро, прямо в стакан Ромка бросил два пакета чая, сахара несколько ложек, достал стакан и, держа его в перчатках, обжигаясь, стал пить. Холодно не было, но Ромка знал по опыту своему небольшому, что человек после ходьбы остывает очень быстро, оглянуться не успеешь. Полчаса посидишь на снегу — и замёрз. Поэтому дополнительное тепло лишним не будет.

Через час его пробрал первый озноб. Ромка поднялся на ноги, беспомощно в который раз оглянулся в темноте, надел лыжи и пошёл... Куда? Куда-то вперёд. Правда, он сейчас не знал, где этот перёд, но на всякий случай пошёл не в ту сторону в которую шёл до сих пор, а совершенно в другую. Может, так выйдет на подъём перед городом. Ему лишь бы оказаться наверху, лишь бы выйти из балки — освещённый огнями город он всё равно увидит, увидит просто свет... о, боже мой! Сейчас бы свет! Тучи висят так низко, тучи столь тяжёлые и тёмные, что даже света города не отражают. Но если выйти на подъём! Город раскинется перед ним сразу во весь горизонт одним облаком туманного света и тогда он пойдёт просто на этот туман света... А если не раскинется? Если он даже этот туман света не сможет увидеть?.. Страх ударил ещё раз, ударил больно, и Ромка опять ускорил шаг. Он бодро двинулся в обратном направлении, совершенно не предполагая, что два часа назад ушёл от города на несколько километров назад, а теперь идёт просто вдоль, просто параллельно подъёму и городу за ним, куда-то в глубь тундры, в то самое белое безмолвие, где человеку в одиночку очень часто с природой не справиться.

Сколько шёл, Ромка не считал. Просто шёл в темноте ночи, переставлял лыжи, вначале считал шаги, потом перестал, потом стал смотреть перед собой в надежде хоть что-то увидеть обнадёживающее.

— Черноты ночи в тундре не бывает, — шептал он себе, — снег отражает всё. Снег отражает всё. Ночи нет как таковой... если город рядом, то видно всё, что впереди тебя делается, всё на ярком фоне городских огней. Я должен увидеть огни как только поднимусь на этот подъём, как только выйду на подъём, я увижу мириады огней, расплывшихся в одно облако, мириады огней... а не эту серую мглу.

Часам к семи вечера Ромка стал уставать. Ноги слегка подрагивали, дыхание хоть и было ровным, но клубы пара вырывались наружу из-под куртки, оседали инеем на ресницах, бровях. Мороз был небольшим, градусов до двадцати, ветра почти не было... ах, если бы был ветер! Если бы постоянно дул ветер, Ромка тогда, по крайней мере, мог ровно идти в одну и ту же сторону. А так... так он постоянно сбивался и не понимал уже совсем, куда идёт. Он читал, что в джунглях человек может идти по прямой только если будет ставить на расстоянии шесты и, выравнивая их в линию, так идти... И вообще, надо ли в такой ситуации куда-то идти?

В девять вечера он упал на снег и лежал минут десять не двигаясь, стараясь контролировать себя, чтобы не подмёрзнуть на снегу. Потом вновь сел на лыжи, достал из рюкзака тормозок, съел его в один присест, за один укус, выпил ровно глоток коньяка и, отломив от шоколадной плитки половину, закусил. Шоколад ему всегда давала с собой мать, говоря, что лучших калорий в тундре не найти. Смешно. Это всегда казалось ему смешным — сладкое на

охоту! Но после шоколада он и в самом деле почувствовал себя лучше, бодрее и пошёл веселее... куда?

Если бы Ромка мог взлететь вверх, как мохноногий канюк, и осмотреться вокруг, то увидел бы, что он благополучно прошёл ровно между далёким уже городом и одинокой шахтой на восточной стороне Северска и вышел в самую настоящую открытую тундру, где впереди нет ничего, кроме заснеженного пространства.

В одиннадцать часов ночи он свалился на снег и лежал так долго, недвижимо, пока тело не стал пробирать озноб. Тогда встал, посмотрел невидящим взором перед собой, посмотрел слепыми глазами перед собой, посмотрел в небо, вокруг, назад, по сторонам... внезапно резко повернулся вправо и пошёл совсем в другом направлении. Хотелось пить, очень сильно хотелось пить, но пить было нельзя, горячего не было, а от коньяка начиналось лёгкое похмелье. Похмелье сейчас совсем ни к чему.

К полуночи стало казаться, что кто-то идёт рядом с ним и постоянно что-то советует. Советует тихо, словно шепчет — не туда идёшь, не туда... иди обратно, там город, вон там... иди туда. Ромка пару раз оборачивался, но никого не видел, от неизвестности и какой-то неведомости ситуации у него запульсировало в голове. Голос стал настойчивее, ему даже показалось, что он кого-то увидел рядом... здесь вот, справа... Ромка резко повернулся, но никого не увидел, тогда громко сказал в пустоту ночи:

— Хорошо! Я пойду туда!!

Постоял, посмотрел «туда». Потом резко сбросил рюкзак, достал фляжку с коньяком, потряс перед ухом — там плескалось хорошо, значит, ещё много, больше половины. Он отпил хорошую порцию. Голова сразу просветлела, сознание укрепилось, сам себе сказал — глюки, держись, ты сильнее. Голос пропал, рядом шедший невидимый пропал, остались только ночь, темнота, слепота и снег, холодный, тёмный снег повсюду. В девять утра начнёт светать, надо продержаться до девяти, подумалось ему, когда рассветёт, легче будет идти, не так... не так страшно. Надо коньяк растянуть на девять часов. Как? По пятьдесят грамм каждые два часа? Может быть.

Где же подъём? Где этот тундровый подъём? Ничего не видно, ничего. Темень. Темень даже в сознание пробирается. Пробирается, селится там и держит его сознание в страхе. Темень.

Отчего-то вспомнился старый фильм о войне с фашизмом, фильм назывался «Операция Хольцауге». Или нет? Как-то не так. Или так? Там главный герой на время заболел «куриной слепотой», потерял зрение и должен был ещё и вести с собой пленного фашиста... ему, наверно, было ещё тяжелее? Что уж тут жаловаться? Иди себе и иди. Ты же не ведёшь с собой пленного фашиста… Сколько времени? Он поднёс руку с часами вплотную к глазам, на расстоянии сантиметров десяти, дальше не читалось, глянул — ого!.. Час ночи! Час прошёл — не заметил. Куда прошёл? Боже мо-ой.... куда же он прошёл? Нет подъёма тундрового, нет жизни ему, нет ему спасения без этого подъёма. В другой стороне, где стоит далёкая шахта на восточной стороне, он и не знает ничего... Впрочем, зачем ему знать? Выйти бы ровно на шахту. На любую территорию. Сколько раз здесь ходил, столько раз видел всегда вдали вездеходы... даже с охотниками встречался несколько раз... вот сейчас бы!.. Хоть бы один человек! Один чужой человек, просто человек, любой, любой человек, одно слово, один жест, рукой махни!.. Куда идти? Он бы дошёл куда угодно, лишь бы знать, что правильно идёт.

В два часа ночи Ромка упал. Упал и не двинулся. Даже рюкзак стащить с себя и достать фляжку — сил не было. Так он пролежал неизвестно сколько. Он ничего не увидел во сне, но вдруг кто-то рявкнул рядом: «Ты в тундре!» Ромка очнулся, поднялся, постоял, пошатался, глянул на часы — он спал восемь минут... это много. Пошатываясь, он опять повернул в сторону, уже не соображая в какую, и пошёл наугад дальше. В этот раз путь его лёг ровно на

восток... если бы Ромка еще немного прошел в ту сторону, то вышел бы ровно на шахту. Там много огней у шахты, он бы увидел эти мутные, расплывчатые точки огней и вышел бы на шахту, но Ромка не сделал этого и пошёл обратно. Подъём остался далеко-далеко в стороне, шахта в другой стороне, а Ромка пошёл вновь в открытую тундру.

Зачем он поставил этот капкан? Зачем ему вообще капкан? Он что — траппер? Добытчик пушнины? Он же на охоту ходит не для пропитания, а для удовольствия... Удовольствие убивать птиц и зверей... какое-то сомнительное удовольствие. Тогда он просто ходит на охоту, чтобы воспитать себя, воспитать в себе мужчину, знать, что такое оружие: раз его не берут в армию, он должен сам постичь эту часть мужской жизни... зачем? Хорошо хоть никакого зверя ещё не убил, только куропаток стрелял да уток осенью. А как убьёт, так и жалко сразу. Ну да — птичку жалко, сказать кому — засмеют!

Зачем он поставил этот капкан? Получается, поставил капкан для себя. Себе поставил капкан. Не рой яму другому, даже зверю, всё отыграется. Сколько бы мучился тот же песец, пока бы сидел в этом капкане? Так же вот бы мучился, изворачивался, кусал бы железо, но уйти не смог бы... Он сейчас тоже кусает сам себя, изворачивается, а уйти из тундры не может... тундра держит... собака! Зачем же он поставил капкан? Если бы зверь попался?.. Он бы как? Подошёл бы к капкану и пристрелил беднягу? Вот так — расстрелял бы несчастного, привязанного этими челюстями зверя?.. Расстрелял бы? Нет? Тогда зачем он ставил этот капкан?.. Зачем?

— Себе ты ставил капкан! — сказал кто-то рядом громко и отчётливо.

Ромка вздрогнул, остановился, озираясь вокруг слепо и глупо, ружьё стащил в момент, стволы заходили по сторонам так же слепо и глупо. Вокруг было пусто. Темно. Холодно.

Ромка, дрожа, достал фляжку, отпил приличный глоток... кажется, раньше положенного? Ну ничего, что раньше. Пусть будет раньше. Кто сказал-то? Кто? Кто здесь?.. Он не мог остановиться — оборачивался, всматривался в темень, но ничего, никого. А кто тут мог быть? Если бы кто-то был, так подсказал бы, в какую сторону идти. А здесь никого. Никого. Самое страшное — когда никого, а кто-то, кажется, есть! Вперёд! Идём! Не сдаваться! Это такая проверка! Это проверка, как в армии... просто проверка, если будешь сопротивляться — не сдохнешь!

Зачем он ставил капкан? На кого он ставил капкан? Для чего? Кого он проверял? Кого воспитывал? Себя? Себя добротой и отзывчивостью надо воспитывать, а не капканом на зверей! Где же город? Где же шахта? Нет, на шахту выйти невозможно, огней мало — не увижу их просто. Выходить надо на город... Как выходить? Куда выходить? Может, вновь повернуть наугад и пойти?..

К трём часам ночи он впервые почувствовал, что ноги устали и передвигаются не так, как обычно, чтобы шагнуть, надо было сделать усилие. Наверное, это и означает: еле-еле ноги волочит. Кто это сказал? Где-то прочитал? Джек Лондон? Нет. Это никто не сказал, это так... поговорка. Ромка вспомнил, как нарочито небрежно после охоты отвечал матери или отцу на вопрос «что убил?» — ноги. Вот сейчас он действительно убил ноги. Как же идти тяжело! Может, надо сесть и отдохнуть? А как станет засыпать? А как заснёт? А как... Когда человек замерзает, то перед гибелью ему становится на самом лютом морозе ужасно жарко. Человек начинает стягивать с себя одежду, всю... ужасный обман организма... человек замерзает от холода и раздевается догола... Смешно и горько... сколько таких историй он уже слышал... пришёл его черёд? Боже мой, что за слова — пришёл черёд? Что ж ты болтаешь? Что ж ты... или это не я?.. Тогда кто? Опять кто-то рядом идёт? Опять кто-то...

К утру мороз стал усиливаться. Иней на ресницах просто стал мохнатым. Ромка определил температуру в минус тридцать. Он ошибался: воздух уже индевел в минус тридцать восемь. Очень простая климатическая арифметика: днём двадцать, ночью сорок.



— Я дойду до города, — сказал он вслух громко и отчётливо, даже удивившись, что сил для этого хватило. — Я дойду до города в любом случае. Надо просто разобраться — куда идти. Стоп!

Ромка остановился. От неожиданности чуть не упал лицом вниз. Но удержался, покачался немного и устоял.

— Стоп! — повторил он, чувствуя, что стоять ещё труднее, чем идти, ноги начали тут же предательски дрожать, в коленках как-то неуправляемо подгибались. — Где бы я ни находился, — проговорил он громко, — в любом случае в одной стороне у меня город... в другой стороне, на восток... у меня шахта... шахта — место небольшое, но... но там ведь есть железная дорога?..

Мозг как игла пронзила — он совсем забыл, что на шахту идёт железная дорога! И дорога эта пересекает очень большую площадь тундры, значит, он идёт до сих пор просто параллельно и городу, и шахте с этой железной дорогой?.. Глупо как.

Ромка вновь повернулся... ровно на девяносто градусов. Лыжи переставил под прямым углом и, глянув вперёд да ничего не углядев, пошёл... Теперь он точно выйдет, теперь он выйдет. Если на город повернул — вначале будет подъём, потом будет россыпь света, россыпь света... а если на шахту? Тогда выйдет на железную дорогу... Так. Но там ведь сейчас, в наше дурацкое демократическое время, когда всё закрывается, по этой железной дороге поезда ходят один раз в неделю. А ничего! По дороге он выйдет на шахту.

Очень бодро, словно сил прибавилось, Ромка пошёл вперёд. Уверенно, словно видел перед собой ориентир. Не останавливаясь, залез в рюкзак, приложился к фляжке... приложился так, что допил весь коньяк до конца. Вначале здорово подогрело и дало силы, даже спать расхотелось, даже иней на ресницах не мешал моргать глазами... даже... даже... Он шёл. Он шёл и никого рядом с собой не видел, никого рядом с собой не слышал. Это Ромка расценил как выздоровление. Выздоровление от чего? От страха. От страха... Он и слова такого особенно в жизни своей не употреблял. Откуда этот страх взялся сегодня? Неужели состояние полной слепоты может так разрушать сознание, что человек начинает испытывать страх... ну да, подумалось ему, и вспомнилось то состояние, которое им овладело, когда всё случилось, — полная безысходность. В один миг — стена, пропасть, мрак, пустота. Жизни нет. А как жить, когда не видишь ничего и от потери зрения даже голова начинает кружиться...

Зачем он купил капкан?..

Нет. Не так... Что ты заладил? Купил да купил! С чего ты решил, что можешь издеваться над животным, ловя его в капкан?.. Кто тебе право дал, кто разрешил, а? Ты — высокоорганизованная материя!.. Захотелось ощущений за счёт страданий животного? Вот и поделом. Господи... Ромка даже шаг сбавил от неожиданности мысли. А что, если это всё наказание ему за этот поступок... проступок перед Богом? Он же в церковь ходил, не материалист, значит... значит, Господь ему наказание даёт?.. Или как там? Он задрал лицо кверху и громко крикнул в тучи:

— Я всё понял! Я всё понял!! Отпусти! Отпусти домой!..

Потом криво усмехнулся, погрозил туда же пальцем и сказал, как определил:

— А-а... я понял... я не сдамся... нет.

Твердя эту мысль, повторяя каждое слово как заклинание, он побрёл дальше. Мысль эта — не сдаваться ни при каких обстоятельствах — вначале помогала идти, потом стала надоедать и сидеть в его голове гвоздём, это выматывало нервы, вместе с нервами выматывало силы. Иногда он поднимал голову и слепо всматривался вдаль... глупо так... как щенок слепой... больше на запах ориентируясь... Вдруг ему показалось, что стало вокруг как светлее. Ромка обрадованно подтянул руку к глазам — шесть утра, до рассвета ещё три часа. Он сплюнул, сказал матерно, потом вновь сказал матерно, потом ещё... так шёл и матерился себе под нос. Он шёл медленно — хорошо, если у него выходил ки-

лометр в час, хорошо, если этот километр был в верном направлении, хорошо, если этот километр пролегал по более-менее ровной местности, где не приходилось поднимать ноги на барханах снега, где ещё не улёгся хороший наст…

Он вспоминал, что у него осталось в рюкзаке от съестного. Осталось немного, может, бутерброд ещё? Может. А разве он его не съел? Может, посмотреть? Но посмотреть — это же остановиться, снять рюкзак, расшнуровать его, залезть в него рукой... что я говорю? Нет сил останавливаться, нет сил снимать рюкзак, вот и всё. Да и потом — есть он не хочет, это всё обман... действие алкоголя... калорий у него достаточно, просто мышцы сдохли... просто судорога начинает уже хватать за икры и бёдра... просто человек не машина, живёт тогда, когда есть возможность отдохнуть... просто жизнь закончилась. Вот именно так ему на роду написано закончить жизнь. Сдохнуть в тундре, куда он ходил, чтобы закалить себя, чтобы стать сильным, чтобы доказать себе да и всем окружающим, что может... а что он может? Зверям капканы ставить? Стрелять в них? Урод. Здесь его вдруг охватил истерический смех, смех был ни о чём, ни про что, ни за что. Просто смех. Он вспомнил, как уроды генералы, выходя на охоту на кабана в лесу, берут с собой профессионального снайпера, чтобы тот в случае чего застрелил кабана, когда генерал-урод промахнётся и зверь бросится на него. Вот же уроды! А ещё с вертолётов, да?.. Ох и уроды! А ещё.. ещё эти... сразу выбросила память телевизионную картинку... которые в Африке охотятся на львов и буйволов... наши новенькие уроды штопаные, из нуворишей-миллионеров... тоже с прикрытием, а потом хвастают здесь, в России, я вот застрелил в Африке... ох, Господи!! Он вскинул лицо в небо:

— Господи!! А их почему не учишь? Их почему?!. Они же уроды ещё больше?..

Он шёл и шёл, уже не зная, зачем идёт дальше: не всё ли равно где, в какой точке этого бескрайнего снега сдохнуть? Но он шёл, шёл, потом вновь смотрел на небо, говорил тихо:

— Капканы ставить не буду, даже убивать не буду, даже куропаток, а в тундру ходить буду... буду, буду, буду! Просто буду ходить, смотреть... не возьмёшь!

Родителям-то за что всё это? Родителям за что? Им ещё хуже, чем мне, мне-то что — ну сдох... сдох... Как сдох?.. Говорят, когда человек замерзает на снегу и его зимой не находят, то песцы обязательно обгрызают ему лицо. Это откуда? Это Олег Куваев описывал в романе... как роман называется? Не помню. Там был герой… Васька? Нет, не Васька… Его задавило стадо оленей, его нашли, и кто-то сказал — хорошо, что песцы не успели обгрызть лицо... Интересно, девушки, когда носят песцовые воротники, знают, что хозяин этой шкуры жрёт падаль? Лица погибшим людям обгрызает?.. Так вот, когда человек замерзает зимой и его не находят сразу, а находят весной или летом... человек лежит на высоком снежном грибе... потому что под человеком снег не тает почти. Потому что вокруг тает, а под ним не тает, вот и получается — в открытой тундре летом стоит столб снега метра полтора-два высотой, а на нём человек... мерзко, правда? И ещё, если лица нет, песцы постарались, твари, тогда совсем…

Зачем он купил капкан?..

В магазине охотсоюза продавались сигнальные патроны, подобие салюта такого, сигнальных ракет. Почему тогда не купил? Денег пожалел? Думал, что не пригодятся? А интересно — пригодились бы сейчас? К примеру, у него были бы сигнальные патроны. Ну, выстрелил бы. Увидел бы кто? Откуда увидел? Он, похоже, в балке какой ходит, в низине, ну выскочит из-за горизонта огонёк на секунду-другую, кто в городе заметит? А если и заметит, то... Я бы что подумал? Подумал бы, что какие-то ребята развлекаются, чудят. Ну да, для сигнала обстановка нужна, когда все на стрёме, когда все в курсе, что человек пропал, и любая информация, любое происшествие в тундре, любое явление...



Людей ищут через три дня. Людей ищут через три дня. Тебя никто не ищет. Ох, и дурачьё люди! Искать надо, пока жив, а не когда сдох! Или вы думаете, что если человек ушёл в тундру и не вернулся в назначенное время, так он остался там с бабами погулять? Ох, и дурачьё люди!

Ромка упал. Упал и не поднялся, даже попытки не сделал. Лежал, дышал тяжело и только и пытался контролировать себя, свой воспалённый мозг, чтобы не уснуть. Дыхание било в снег, и снег этот стал сразу оседать вниз, кристаллизоваться и таять на глазах. Ромка хрипнул горлом, согнул руку в локте и упёрся ею в снег, и только тогда почувствовал, что пальцы у него холодные, можно сказать, что замёрзшие. Рукавицы не греют? Странно. Он, кряхтя во всю силу, поднялся на колени, вытащил ладонь, посжимал её посильнее, потом засунул в рукавицу и стал что есть силы бить обеими ладонями о колени, стараясь их таким образом разогреть. Так разогревали руки все старатели на Аляске. Так он читал у Джека Лондона. А если тот сам не знал, что писал? Но руки скоро стали немного отходить. Ромка поднялся на ноги и, сжимая ладони с силой, что осталась, пошёл дальше. Потом быстро снял обе рукавицы, как следует дунул туда дважды, надел — стало чуть теплее, кожаные рукавицы держали его дыхание, но недолго. Вновь стал сжимать и разжимать пальцы. Вновь показалось, что стало светлеть. Посмотрел на часы — стёклышко у часов запотело, циферблат видно было плохо. Ромка посмотрел сбоку — что-то около восьми утра... Значит, скоро день! Скоро рассвет! Боже мой, неужели будет свет в этой тундре? А что ему свет, если зрения нет? Что ему свет? А многое ему свет! Свет — это жизнь! Когда светло, идти легче, и когда будет светло, он обязательно найдёт выход. А он сможет идти, когда будет свет? Может, уже ноги откажут? Обязательно сможет. В любом случае сможет. Как только свет появится, он сможет идти даже быстрее. Ромка верил в это уже как-то истово.

Когда небо обложено тучами, когда зимой солнце появляется лишь за горизонтом, не выходит на небо в полном своём величии и красоте, когда лучи его попадают на землю, только отражаясь от небесного свода, тогда и свет приходит так незаметно, что видишь его, лишь когда очертания предметов вокруг вырисовываются перед тобой, или горизонт сам по себе выплывает далеко впереди бело-серой ниткой, границей между небом и землёй.

Ромка этого видеть не мог. Просто к девяти утра он заметил, что видит, едва видит желтизну своих лыж... Глаза мигом рванулись вперёд. Вперёд! Но впереди была серая мгла. Рано. Он посмотрел на часы сбоку, так, словно мог заглянуть под запотевший циферблат... Что-то там около девяти?

Рассвет пришёл. Пришёл полный рассвет. Ночь закончилась. Свет пришёл ненадолго. На каких-то пару часов, не больше. Это всё вместе — рассвет, день и вечер — два часа, ну три — не больше. Потом опять ночь с двенадцати дня до девяти утра.

Ромка стал вглядываться вперёд, Ромка стал давить на глаза, жмуриться изо всех сил, так иногда на какое-то мгновение было хоть что-то видно... Но сейчас ничего не получалось. Глаза слипались. Ромка хотел повернуться вновь в какую-нибудь сторону и... изо всех оставшихся сил пойти попробовать счастья в другой стороне. Повернуться сил не было. Перед ним была открытая тундра, в ней едва уловимой полоской темнело... темнели... а что там может темнеть? Вереница кустов? Ручей замёрзший? Тальник? Ручей может его вывести... куда? Ручей может вывести к речке. Возле шахты течёт небольшая речка Юнь-Яха. Тогда надо идти к ручью. А если это не ручей? Сил нет проверять. А что это? Спать хочется, так спать хочется, так в тепло хочется... Боже мой, как спать хочется! Сейчас бы упасть на снег, хоть на десять минут, хоть на пять минут, хоть на минуту. Просто полежать минуту. Он читал, что йоги в позе трупа могут отдыхать десять минут, и этот сон будет равен восьми часам обычного сна... Он не сможет спать в позе трупа десять минут, в позе трупа он может заснуть навсегда. Неужели умираю? Зачем я купил капкан?..

Ромка стоял между выбором — сесть и отдохнуть или идти. Куда идти? Вновь выбрать какую-нибудь сторону и вновь наугад? Глаза слипаются... глаза... Боже, я сплю на ходу. Ромка зачерпнул рукавицей снега и протёр лицо... Боже, Боже, помоги, не забирай меня к себе, или куда там мне определено! Куда?

Снег таял на лице. Снег немного ободрил. Немного. Ромка вынул руку из рукавицы и протёр ладонью лицо, протёр так, что снег стаял на ресницах.

— Боже, Боже, не покидай меня! — прошептал он убедительно, как мог: — Боже...

И здесь в мозг вошла стальная холодная игла, вошла так, что в другой раз Ромка просто бы заорал от боли, но не сейчас. Сейчас он увидел то, что так сильно хотел, так сильно просил, так желал... Маленькая, крошечная, незаметная капелька снежной воды, стаявшая на ресницах под его рукой, осела на этих ресницах, сощуренных чуть ли не вплотную... маленькая капелька воды, осевшая на ресницах одного лишь глаза, сыграла роль линзы... это было мгновение, это была даже не секунда — миг, вспышка, взрыв в сознании... Маленькая капелька воды сыграла роль линзы и Ромка увидел всё вокруг на этот миг! Он увидел перед собой огромное поле снега, огромное, бескрайнее поле снега, никакого города, никакой шахты, ничего, ничего... только серая полоса насыпи, только серая полоса железнодорожной насыпи!.. Это были не кусты, это была железная дорога с шахты. Ромка взвыл на все окрестности и побежал на лыжах вперёд. Капелька воды давно исчезла, вновь была вокруг одна муть, вновь вокруг было лишь серое, белое, мутное пространство. Но сознание цепко держало картинку насыпи. Каких-то сто метров? Ромка пробежал их в двадцать секунд. Перед насыпью он упал — упал, потому что насыпь была крутая, подняться на лыжах не смог, сбросил лыжи, стал карабкаться наверх, выбрасывая ещё не припорошенные снегом куски щебня из-под себя...

А вот и они! Вот — две стальные полосы рельс. Рельсы уходили вдаль в обе стороны. Куда? Никуда. Ромка упал на рельсы, пытаясь обхватить их руками, лицо его уткнулось в шпалы, пахнущие креозотом даже на лютом морозе, из глаз стали сами по себе капать слёзы, слёзы падали на шпалы, и там сразу темнело влагой, потом сразу леденело на холоде, потом опять темнело и опять... Ромка не понимал, что с ним происходит. Он даже забыл в этот миг, что поезда здесь ходят один раз в неделю. Конечно, поезда ходили чаще, но даже если один раз в день, то когда? Успеют? Даже если не успеют, никуда не уйду, никуда отсюда не уйду! Пойду по шпалам... пойду... сейчас пойду...

Ромка лежал на шпалах между рельс и ревел уже в голос, рыдания рвались наружу, и вся окрестная тундра внимала его радости жизни. Занимался день, просыпалась в тундре жизнь, которую Ромка больше не хотел отнимать. Он даже не помнил, как уснул, он не помнил, как отключился... он не мог спать, он просто терял сознание, в бесконечном сне он слышал только одно — он слышал, что рельсы начали стучать... часто, быстро стучать. Так стучит на рельсах только небольшая дрезина или мотовоз, что возит рабочих железнодорожников... так стучит спасение, так стучит, так поёт сама жизнь. А вот и ангелы... сколько их, двое? Ромка не видел лиц, он видел лишь замерший перед ним оранжевый тупомордый мотовоз. Мутный, большой, потому что остановился мотовоз в двух метрах от него. В двух метрах!.. В двух метрах от него!.. Потому и вижу, значит, люди рядом... Чей-то голос крикнул:

— Живой? Хватай его!.. Под ноги давай, может успеем...

Это не видение, мелькнуло у Ромки в смыкавшемся сознании, это люди... люди... маслом пахнет машинным кто-то... запах какой приятный!.. Зачем он купил капкан?.. Чтоб ты сдох... капкан!



Алексей Решетов

Стихи о военном детстве

К воспоминаниям о своём военном детстве Алексей Решетов обращался всю жизнь — как в стихах, так и в повести «Зёрнышки спелых яблок».

Он родился 3 апреля 1937 года. Ему было всего полгода, а его брату около полутора лет, когда во время сталинских репрессий был безвинно замучен и через год расстрелян его 28-летний отец, видный хабаровский журналист.

Мать, прошедшая несколько сталинских лагерей, досиживала свой срок в Боровске — на севере Пермского края. Сюда и прибыли в 1945 году после трехмесячного пути из Хабаровска повзрослевшие Алёша с братом и бабушкой Ольгой Александровной Павчинской, воспитывавшей их всё это время без отца и матери.

Это был глубокий тыл, но там было множество бараков для пленных немцев и бендеровцев. В одном из таких бараков и ютилась семья Решетовых.

Алексея Решетова постигла участь миллионов детей, переживших репрессии и Великую Отечественную Войну, и о тех тяжёлых временах нельзя никогда забывать.

Здесь даны лишь некоторые стихотворения из его детства, связанные с войной.

Тамара КАТАЕВА-РЕШЕТОВА

***

Я был пацаном голопятым,
Но память навек сберегла:
Какая у нас в сорок пятом
Большая победа была!
Какие стояли денёчки,
Когда без вина веселя,
Пластинкой о белом платочке
Вращалась родная земля!

***

Дворик после войны
Мирный дворик.
Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца.
Пронеслось на крыльях веретёшко —
То есть непоседа стрекоза.
Золотая заспанная кошка
Трёт зеленоватые глаза.
У калитки — вся в цвету — калина,
А под ней — не молод и не стар —
Сапогом, прошедшим до Берлина,
Дядька раздувает самовар.

Стихи о военном детстве

1

Я из чёрного теста, из пепла войны.
И стихи мои, как погорельцы, грустны.
Лишь закрою глаза, и опять я — малец,
В неокрепшее темечко метит свинец.
И несёт почтальон на потёртом ремне
Безотцовщину чёрную брату и мне.

2

Никогда не забуду, как во время войны
Из картошки из мёрзлой
мать пекла деруны.
Деруны на олифе — и сластят, и горчат,
Но и этому рады я и старший мой брат.
Мы сидим в одеялах — за окошком мороз.
Письмоносец соседке «Смертью храбрых...»
принёс.
И она прибежала к нам — белее стены.
Мать её утешает...
И горят деруны.

3

Война прошла! Прошла война,
Но барабанным перепонкам
Казалась странной тишина —
Обманчивой, чрезмерно полной.
На кровью политых полях
Уже пшеницу убирали,
Но всё ещё в госпиталях
Солдаты наши умирали.

Избушка на Старом Чуртане

Избушка на Старом Чуртане —
Давно её в городе нет,
Но свет её алой герани
Струится, не ведая лет.

Избушка на Старом Чуртане.
Я помню, хоть был ещё мал, —
Ах, как хорошо на баяне
Хозяин избушки играл!

Ах, как хорошо на баяне
Хозяин избушки играл.
Народ собирался заране —
Получше места выбирал.

Задаром, не ради наживы
Играл он с утра дотемна.
— А ну-ка «Землянку», служивый!
Давай-ка про реки вина!

Устроится он у порога,
Отложит свои костыли:
«Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…»

Натурщица

1

Вообразите пасмурный подвал,
Где женщина, протягивая руки,
Развешивает мокрое бельё —
Как будто к справедливости взывая.

Вообразите женское лицо,
Когда от чьих-то пыльных гимнастёрок
Томительно и дымчато пахнёт
Тем мужиком, который не вернётся.

Вообразите замки и мосты,
Что угольком из утюга рисует
Мальчишка конопатый в уголке —
Сын прачки и убитого солдата.

2

Кому теперь до моды? Никому.
Лишь дедушка-художник без сорочки
Не может белоснежной обойтись —
Крахмаль ему в неделю раз манжеты!

3

В сторонку отодвинувши кармин
Сиену, кобальт и другие краски,
Художник мажет маргарин на хлеб,
Но не ножом, чудак, а мастихином
И угощает мальчика.

А тот не может есть,
А тот глядит на стены:
Там в красной тьме качаются дома,
И гибнут люди в тогах и туниках;

Там Демона вселенская тоска,
И серые цветы фата-морганы,
И женщины, и женщины кругом —
С ребёнком, с лютней, с веером, с клюкою.

Ах да, — художник говорит, — забыл
Ещё тебе сказать я про натурщиц:
Искусство плачет, как дитя,
И грудь ему даёт натурщица, как матерь.

Ах, где теперь натурщицы мои?
Одни эвакуировались сразу,
Другие в санитарках на войне,
А третьи здесь, но страшно похудели.

4

И стало лёгким пламенем лицо
И руки у мальчишки. А девчонка
В студёный стыд, дыханье затаив,
Как будто бы в невидимую речку вошла.

И было платьице у ног —
Как островок с цветами голубыми.
И не было подвала и войны,
А было рисование с натуры.

***

Как жили женщины в бараке
У нас в посёлке горняков,
Как смело вмешивались в драки
Парней и взрослых мужиков,

Как тонко чистили картофель,
С трудом добыв у куркулей,
Как ворожили на крестовых
И на червовых королей,

Как грудь над люлькой обнажали
И тихо пели: ай, ду-ду…
Как утром шпильки ртом держали —
Всё это было на виду.

Да и фанера переборок
И коврик с парой лебедей
От их ночных скороговорок
Не обособили людей.

И нас, мальчишек, волны грусти
Неизъяснимой брали в плен.
И свет таинственных предчувствий
Всё шёл и шёл от смежных стен…

Мы убегали под берёзы —
Живой и мёртвою водой
Там представлялись их угрозы,
Их женский шёпот молодой.

Баба Оля

За окошком вечер зимний.
Сорок третий год.
И стучит машинка «Зингер» —
Баба Оля шьёт.
Шьёт соседке-продавщице
Платье кимоно.
За работу будет пища —
Хлеб или пшено.
Слабо греет керосинка —
Пальцы сводит хлад.
Но стучит машинка «Зингер» —
Внуки есть хотят!
Крест. Могильные былинки.
Тьма средь ясных дней.
Но стучит машинка «Зингер»
В памяти моей.

***

Лежит солдат на поле боя,
Пробита пулей голова.
И никого... Лишь вьюга воет,
Как ошалевшая вдова.

Тишина

Шёл дымок от гильз ещё покуда
Снег шипел. И вдруг — пришла она,
В дни войны, похожая на чудо,
Хрупкая такая тишина.
И совсем по-мирному нежданно
Зазвенел солдатский котелок,
И совсем нежданно на поляне
Кто-то ясно разглядел цветок.
Кто-то, улыбнувшийся устало,
Пожалел — и не сорвал цветка,
Будто, это тишина стояла
На зелёной ножке стебелька.

***

Я помню: с тихою улыбкой
Скрипач, что на войне ослеп,
Водил смычком над тёмной скрипкой,
Как будто резал чёрный хлеб…

***

Смакуйте прелести,
Толкуйте о каждой складочке,
А мне Венеры мраморные культи
Напоминают о войне.

***

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать.
Лежат бойцы в земле глубоко,
И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
Глоточек воздуха бы им
На все их роты, все их части.
Они бы плакали над ним,
Они бы умерли от счастья!

***

Человек нёс хлеб — и пел.
И судачили старухи:
Дескать, вот, не утерпел,
Нализался медовухи.
А прохожий трезвым был,
Не шатался, шёл как надо.
Просто он не позабыл,
Какова была блокада,
Как на мизерный паёк
Жил, обманывая голод.
Пусть ликует, пусть поёт —
У него отличный голос!
Да и как не петь, когда
Хлеба каждому хватает,
Даже птицам иногда
Кое-что перепадает.

***

Я вспомнил дряхлую старушку,
Как, вставши рано поутру,
Делила поровну краюшку
На всех, прижавши к животу.
И как за десять вёрст к часовне
Она, закончив все дела,
В галошах «Красный треугольник»
По снегу белому брела.

***

Так, не жена, а ждёт солдата,
Как настоящая жена.
Давным-давно он ей когда-то
Кивнул с улыбкой из окна.

Шумят газеты о Победе,
Идёт не первый мирный год,
А он не пишет и не едет —
Она напрасно слёзы льёт.

Его, наверное, убили,
А может, просто взяли в плен,
Или на нары посадили,
Как ненадёжный элемент.

Она всё ждёт, не спит ночами:
То брагу ставит на дрожжах,
То, обезумев от печали,
Повиснуть хочет на вожжах.

Как тошно ей! В горшок цветочный
Воткнула крестик из лучин.
И молится, и гнётся, точно
Там самый лучший из мужчин.

***

Пусть тебя крысы и вши
Съели до косточек в детстве,
Ты осуждать не спеши
Жизнь свою, полную бедствий.
Тело твоё и душа
Мечутся в жалком союзе,
Но всё равно хороша
Жизнь без надежд и иллюзий.

Василий Сигарев

Вий

По мотивам повести Н.В. Гоголя

Лица:

Хома
Панночка
Сотник
Явтух
Дорош
Спирид
Немой козак
Баба в очипке
Вдова
Священник
Халява
Ритор Тиберий Горобець
Ректор
Старуха с младенцем
Дворня
Нечисть

Вий считался одним из главных служителей Чернобога. Его полагали судьей над мертвыми. Славяне никогда не могли примириться с тем, что те, кто жили беззаконно, не по совести, — не наказаны. Славяне полагали, что место казни беззаконников внутри земли. Вий также связан с сезонной смертью природы во время зимы.

«Славянская мифология». Словарь-справочник, сост. *Л.М. Вагурина*

1

В маленьком глиняном домике среди вишневого садика философ Хома Брут, накинув женский салоп поверх исподнего и головы, сосредоточенно курит люльку, вцепившись в загубник желтыми зубами и не вынимая рук из-под салопа.

Женщина — молодая вдова с голой грудью (одной), нарочно выкатившейся из пидтички, сидит на лавке рядом и любовно заглядывает в разрез салопа.

Долго молчат. Хома иногда заходится мелкой дрожью.

ВДОВА. Неужель, ей-богу, зябко?

Пауза.

Василий Сигарев (1977) — родился в г. В. Салде Свердловской обл. Писатель, драматург, режиссер. Публикуется в журнале «Урал» с 2000 г. Лауреат премий «Дебют», «Антибукер», «Эврика», «Evening Standard Awards» и мн. др. Сценарист и режиссёр фильмов «Волчок», «Жить», «Страна ОЗ», отмеченных многочисленными призами на кинофестивалях страны и за рубежом. Пьеса «Вий» поставлена В. Сигаревым в Московском театре-студии п/р О. Табакова.

ХОМА. Бес его поймет. То зябко, то, наоборот, прильёт.

Пауза.

ВДОВА. Согреть, может, чем? (*Хватает себя за груди.*)

Пауза.

ХОМА. Горелка хорошо греет…
ВДОВА. Горелки не дам.

Пауза.

ХОМА. Чего ж не дашь? Она и пылу хорошо дает.
ВДОВА. Дает-то дает, только вы, бурсаки, с неё шибко баловливые делаетесь.

Пауза.

ХОМА. Многим ль давала?
ВДОВА. Чего давала?

Пауза.

ХОМА. Горелки, чего…
ВДОВА. Доводилось и давать.

Пауза.

ХОМА. И чего баловали, любопытно бы знать?
ВДОВА. Хвост всё ищут.

Пауза.

ХОМА. Где?
ВДОВА. У мене.

Пауза.

ХОМА. Нашли?
ВДОВА. Как же найти, чего нет.

Пауза.

ХОМА. То и подозрительно, что нет. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.

ВДОВА. Вы, пан философ, напраслину тут взводите… Может, вам вареников пшеничных еще предложить?

Пауза.

ХОМА. Стану.

Вдова заправляет грудь в пидтичку, идет к печи. Что-то там «колдует».

ВДОВА. Вот вы, пан философ, напраслину взводите на женский род, а род мужской тож не богоугодными делами одними живет. Позавчера, примером, трое каких-то надругались над дочерью одного сотника, которого хутор в пятидесяти верстах от Киева. Вся избитая возвратилась. Едва силы имела добресть до отцовского дома. Находится при смерти… Вот вам, пан философ, и хвост.

ХОМА. Изловили?

ВДОВА (*накрывая на стол*). Изловят еще, чего им...

ХОМА. Откуда знаешь, что изловят? (*Вдруг затрясся мелкой дрожью.*)

ВДОВА. Бог не проглядит… Может, у вас, пан философ, хворь, что зябнете в июне. (*Подумала.*) Иль порчу кто удружил: что и холод в теле, и бабу не давай.

ХОМА. На кого думают?

ВДОВА. Да мне ль знать. Я вот любопытствую: может, вам порчу наделали? Такого дела еще не случалось, чтоб бурсак да бабу не требовал. Дурного когда не творили?

ХОМА (*вскочил*). Дура-баба, ей-богу! (*Сел за стол, жадно ест вареники. Крестится.*)

Вдова молчит.

ХОМА. Язык бы тебе калеными щипцами… (*Ест. Крестится.*) Ведьма…

ВДОВА. Прям уж и ведьма?

ХОМА. Ведьма. (*Крестится.*)

ВДОВА. Была б ведьма — порчу б враз сняла — люльку б тока курили.

ХОМА. Чего говоришь такое непристойное?! (*Крестится.*)

ВДОВА. Чего же оно непристойное? Иль вы, пан философ, тока вареников откушать заявились?

ХОМА. Губы тебе прижечь, и весь разговор, ей-богу, не могу слушать такое.

ВДОВА. Может, мне тогда вам Псалтыря прочесть? (*И хохочет.*)

Хома крестится, не отвечает. Ест.

ВДОВА. А чего вы, пан философ, коли у вас вакансии, в Киеве шарите? По хуторам-то можно кушать галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, а вы — в Киеве с голодным брюхом.

ХОМА. Не бабье дело.

ВДОВА. Оно верно — не бабье. Только вы, пан философ, когда со двора пойдете, глядите, чтоб собака чего не скусила ненужного… (*И снова гогочет.*)

Тут вовремя помянутая собака заголосила на улице.
Хома испуганно обернулся.

ХОМА. Что она у тебя?

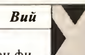
ВДОВА. Вас дожидается.

ХОМА. Угомони проклятую…

ВДОВА. Не бабье дело.

Собака заверещала, как от удара.
Хома подскочил.
В дверь постучали чем-то деревянным.

ХОМА. Кто это к тебе, ей-богу, в такой час? (*Вернулся на лавку, сел.*)



ВДОВА. Может, какой вареников отведать — не всё же вам. А чего вы, пан философ, такой боязливый сделались? Того и гляди, шапка полыхнет. Муж-то из могилы уж не подымется, глядишь.

В дверь снова постучали.
Хома вздрогнул.

ХОМА. Не отворяй.

ВДОВА. А чего так? (*Подошла к двери.*)

ВДОВА. Кто там?

ГОЛОС. Отвори!

ВДОВА (*подмигнула Хоме*). Вишь, как грозен… (*Отперла засов.*)

В хату вошел старый козак с палкой, которой, по всей видимости, он и приложил хозяйскую собаку. Хома лег, накрылся салопом с головой.

ВДОВА. Чего угодно будет такому любезному пану?

КОЗАК (*оглядывая хату*). Философа Хому Брута угодно. (*Проходит в хату.*)

ВДОВА. Какой у нас люд в Киеве, ей-богу, зоркий, любезный пан. Околицей ведь прискакал — углазели…

КОЗАК (*не замечая Хому под салопом*). Где же пан философ расположился?

ВДОВА. Да вон они. Почивать удумали.

Козак подходит к салопу, приподнимает его палкой.
Хома лежит с зажмуренными глазами, захрапел.

КОЗАК. Добро утречко, пан философ!

Хома заерзал, разлепил «сонные» глаза.

ХОМА. Здравствуй, брат-пан. Ужель утро?

КОЗАК. Утро, пан философ. Такое утро, пан философ, что месяц уже взошел и сходить не думает. А я, пан философ, за тобою.

ВДОВА. Беглый…

ХОМА. За мною? Чудно это… А у меня хворь сделалась. Такая хворь, что головы не поднять. Пятый день лежу: не ем, не кушаю.

ВДОВА. Одни вареники да курочку только и может…

ХОМА. Такая хворь, брат-пан, что только на Бога и надежда вся.

КОЗАК. А мы вы́ходим, пан философ. Прежде розгами отходим, на второе — лопатками деревянными, а вместо узвару — кожаными канчуками[1]. После горелкою спрыснем — вся хворь и выйдет вон.

ХОМА (*встает*). Про горелку это ты, брат-пан, красиво сказал. Даже в брюхе жаром разлилось. (*Медленно одевается.*) А то ведьма больному человеку жалкой чарки не поднесла. А спросу, как целую кварту нацедила. Вредная баба, одним словом.

Козак палкой подбрасывает Хоме одежду.

---

[1] Плеть, нагайка.

ВДОВА. А он, любезный пан, верно сказал: хворый. Только другим местом хворый. Прутень ослаб… (*И как загогочет.*)

ХОМА. Дурная она баба, скажу тебе, брат-пан. И ведьма, видно, хоть одно без хвоста еще. Да и устарела голубушка… (*Обувается.*)

ВДОВА. А он, любезный пан…

ХОМА. А вареники, брат-пан… Какие вареники скверные стряпает. Дрянь, а не вареники. Одно отравление от них.

ВДОВА. Горшок умял…

ХОМА. А иконы все мухами засижены, где какой образ, и не разберешь. Глянь, как засижены, брат-пан. Разве можно такое преступление над святыми творить…

Козак идет к иконам. Хома бросается к двери. Козак палкой сбивает его с ног.

КОЗАК. Куда это ты, пан философ, заспешил быстрее ветру?

ХОМА. До ветру. Вареники ведьмины такая дрянь, что брюхо дерёт…

КОЗАК. Вы́ходим, пан философ.

ХОМА (*поднимается*). Чарку плеснете — глядишь, и снимет.

КОЗАК. Тебе, пан философ, за такую прыть две чарки положено.

Выходят за дверь.

ВДОВА. Милости просим еще, пан философ. Не хворайте.

ХОМА. Ведьма.

За околицей стоит огромная кибитка с несколькими козаками внутри.
Хома и козак идут к ней.

ХОМА. Знатная брика. Любопытно бы знать, куда такая знатная брика нас довезет.

КОЗАК. До хутора нашего сотника непременно довезет.

ХОМА. Какое же дело вашему сотнику до такой малой фигуры, осмелюсь спросить.

КОЗАК. Отходную будешь читать дочери его и за упокой три дня после.

ХОМА (*остановился*). Помилуй, брат-пан, разве ж я дьякон или какого другого сану птица? Будь я дьякон…

КОЗАК. Не моё дело сан твой знать. Велено доставить — доставим. Полезай в кибитку, черт.

ХОМА. Воля ваша, брика знатная — чего бы не залезть в неё…

Из кибитки высунулось опухшее от горелки лицо другого козака.

ДРУГОЙ КОЗАК. Явтух философа отловил.

Показались еще два козачьих лица. Одно с тряпицею вместо шапки.

ХОМА. Здравствуйте, братья-товарищи!

КОЗАКИ. Будь здоров, пан философ!

ХОМА. Знатная у вас брика, братья-товарищи. Любопытно бы знать, если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром — положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?

ЯВТУХ. Достаточное бы число потребовалось коней.

Сделал головой знак козакам. Те схватили Хому за ворот и рукава и разом втащили в нутро кибитки. Хома только и крякнул. Кибитка, скрипя, сдвинулась с места и покатила по дороге. И лишь когда она скрылась из виду, вдовья собака позволила себе негромко тявкнуть.

2

Кибитка стоит посреди степи. Сразу за ней разведен костер. Козаки расположились у него: Явтух, Дорош с опухшим лицом, Спирид с тряпицею вместо шапки и четвертый молодой козак, изъясняющийся только знаками рук и потому имени своего не назвавший. Пусть будет Немой.

Перед козаками провизия: колбасы, холодные галушки в горшке, хлебы разные, лук в головах и зеленый… И горелка в двух больших емкостях.

Хома с глиняной кружкой и колесом колбасы заседает за бортом брики.

ХОМА. Осмелюсь полюбопытствовать, братья-товарищи, какого нрава будет ваш сотник? Чубы дерет или ласков?

ДОРОШ. Хорошего нрава будет. Чубы ласково дерет.

Козаки смеются.

Хома хлебнул горелки, зажевал колбасой.

ХОМА. А хутор ваш казист или так — пара хат да овечий хлев?

ДОРОШ. Залюбуешься, пан философ.

Снова смеются.

Хома тоже играно гогочет.

ХОМА. И какое число хат в вашем хуторе будет?

ДОРОШ. Множественное.

ХОМА. И пруды имеются?

ЯВТУХ. Спирид, подлей философу горелки — она стрекоту снимает.

Спирид молча встает, подливает.

ХОМА. А Днепр рядом будет или хоть три года скачи?

ДОРОШ. Из хаты видать.

ХОМА. Добрый, видно, у вас хутор. Знатный. До такого хутора и прокатиться не грех. (*Хлебнул, заел.*) А чего такое сделалось с дочкой вашего сотника, что ей отходная требуется?

Козаки молчат.

ХОМА. Хворь какая прицепилась?

Не отвечают.

ХОМА. Или, может, с детства слабого здоровья была?

Тишина, жуют.

ХОМА. А ты, Спирид, ужель шапку в шинке сбросил?

СПИРИД. Вино — козацкая потеха.

ХОМА. Это ты хорошо сказал, Спирид. Разве ж шапка с горелкою сравнится. Шапка вещь временная, оттого не божеская, тленная: её то моль побьёт, то скрадут, то слетит после кварты; а горелка если кончится, то всем нехорошо будет. Да и весь veritas в ней содержится.

Спирид одобрительно хмыкнул.

СПИРИД. Хорошо сказал, черт.

ХОМА. И ты хорошо сказал, Спирид. А панночка каких годов будет?

Пауза.

ХОМА. Малых или в невестах уже?

Молчат козаки.

ХОМА. Если малых, то и отходную читать ни к чему. Греха-то не накопилось достаточно. Так, «Отче наш» проговорит, кто рядом стоит, а ангелы уж сами всё и сделают, как надо. А в другой раз оно и вредно отходную читать, если малых годов. Божьим словом впустую воздух сотрясать — может и карой воздаться. А там, чего доброго, хутор полыхнет иль, того хуже, мор сделается. Может, вы, братцы, почем зря за мною ездили? Как бы чего не стало с этого.

ЯВТУХ. Достаточно панночке годиков.

ДОРОШ. В невестах давненько, да смельчака не сыскалось.

ХОМА. Да хоть бы и достаточно. Только если обряд человек несоразмерный совершает, то оно и во вред может дать. А я так и есть — человек несоразмерный, малограмотный этому делу. Потому за мор и пожары вину брать мне неугодно.

ЯВТУХ. Это у вас так в бурсе учат?

ХОМА. В самом Писании так.

ДОРОШ. В котором это месте так?

ХОМА. Чего ж вы, братья-товарищи, Писания не читали разве.

ДОРОШ. Писание читали, да такого не видели. Ты, Явтух, видел?

Явтух мотает головой.

ДОРОШ. А ты, Спирид, видел такое?

СПИРИД. Не упомню, чтобы видеть…

ЯВТУХ. Плесни-ка, Спирид, пану философу горелки — она брёх лучше розог лечит.

Хома подставляет кружку. Спирид наливает в неё до краев.

ХОМА. И луковку.

Спирид подает ему луковицу.

ХОМА. А я ведь, братья-товарищи, сирота круглая. Как только и вырос, ей-богу, не разумею. Гороху крупного столько за жизнь отведал, что и не сказать. Но нрава веселого. Вот если б сейчас сюда музыкантов, то и тропака можно сплясать. Но жизнь бивала, эх, бивала. Бывало, по неделе вот хоть бы щепка была во рту.

И такая тоска все время от этого, что хоть волком вой. А утешить некому… Отца-матери не сыскать. Эх, жизнь… Отпустите меня, братцы… А?

Козаки, не сговариваясь, начинают петь горькую песню. Хома выпивает, закусывает, впившись в луковицу, как в яблоко. Постепенно песня приобретает мажорные нотки, а потом и совсем непотребное содержание. Козаки один за другим поднимаются и бросаются в пляс. Только Немой остается сидеть на своем месте. Внезапно козаки делаются совсем хмельные. Уже не поют, а орут. Прыгают через костер. Ступают голыми пятками на угли. Вскакивают друг на друга и едут верхом. Дружески бодаются лбами. Лобызаются.

ДОРОШ. А ну, Спирид, почеломкаемся!

СПИРИД. Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!

Обнялись и давай бороться. В это время Явтух любезно дерет за чуб Немого, тот по-щенячьи скулит, аж слезы летят из глаз.

ЯВТУХ. Станешь у меня говорить! Не буду я — Явтух Ковтун, если не заговоришь! Говори, черт! Бог тебе язык не для бабских пихв дал! Говори, прутнелиз!

Освободившись из объятий Спирида, Дорош, шатаясь, подходит к Хоме.

ДОРОШ. Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

ЯВТУХ. Не спрашивай! Пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно; Бог все знает.

ДОРОШ. Нет, я хочу знать, что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка. Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

ХОМА. Отпустите меня, ребята... на волю! На что я вам.

ДОРОШ. Пустим его на волю! Пусть себе идет куда хочет.

СПИРИД. Пусть идет.

ЯВТУХ. Пусть идет себе!

И снова пускаются в пляс. Хома пытается сползти с брики, но лишь грузно падает на землю.

Козаки пляшут пуще прежнего.Хома поднимается на нетвердые ноги и, шатаясь, идет в степь. Однако скорость его так ничтожна, что кажется — он стоит на месте и лишь передвигает ногами. Козаки выплясывают. Хома кое-как, но удаляется.

Вдруг козаки смолкают, дружно обступают костер и, спустив шаровары, метко тушат его. Хома ускоряет шаг.

Козаки оборачиваются на него. Они совершенно трезвые.

ЯВТУХ. Помочь, пан философ?

Хома останавливается, рухает лицом в траву.

Козаки молча подходят к нему, поднимают и погружают в кибитку.

ХОМА (*кричит из кибитки*). Не виноват! Не трогал! Ей-богу, не трогал! Бес попутал! Не трогал её!

Козаки, собрав припасы, загружаются сами.

Кибитка, скрипнув, начинает свой неторопливый ход и вскоре скрывается из виду.

3

Ночь. Черные люди бегают по какому-то большому двору. Стоят у плетней. Голосят.

ГОЛОСА. Померла! Померла! Померла! Кланяйтесь! Кланяйтесь! Кланяйтесь!

Хома, шатаясь, бродит среди людей. Его не замечают.
Дует ветер такой силы, что едва не сбивает людей с ног, не дает открыть двери хат.

ГОЛОСА. Померла! Померла! Померла! Кланяйтесь! Кланяйтесь! Кланяйтесь!

Громко хлопают ставни.
Черная баба роет за околицей яму, выливает в нее ведро воды. Закапывает.

4

Утро. Двор богатого хутора. Кибитка стоит рядом с хозяйским домом.
Повсюду пасутся гуси и прочая живность.
Кричит петух.
Красноглазая физиономия Хомы высовывается из брики, обсматривает хутор. Заметив, что никого рядом нет, Хома выбирается из кибитки и, прогуливаясь, направляется к плетню. Затем возвращается, шарит в брике, набивая карманы съестным.
Снова идет к плетню, прихватив по дороге самого жирного гуся.
За его спиной возникает Явтух.

ЯВТУХ. Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать; да и дороги для пешехода плохи. Ты ступай лучше к пану: он ожидает тебя давно в светлице.
ХОМА. Пойдем. Что ж, я… Я с удовольствием.
ЯВТУХ. Гусака поставь.

Хома отпускает гуся.

ХОМА. За плетнем корм пожирнее будет…

Идут в панский дом.

ХОМА. Панночка ваша где же?
ЯВТУХ. Отошла панночка.
ХОМА (*крестится*). Упокой, Господь, душу… Чего ж я тогда вам дался?
ЯВТУХ. Иди.
ХОМА. Хоть горелки налей, голову как в колокол сунули.
ЯВТУХ. Иди. (*Пропускает Хому в светлицу.*)

За столом, подперев голову руками, сидит сотник. Лицо его мертвенно-бледное. Поднимает глаза на Хому.

СОТНИК. Кто ты, и откудова, и какого звания, добрый человек?
ХОМА. Из бурсаков, философ Хома Брут.
СОТНИК. А кто был твой отец?
ХОМА. Не знаю, вельможный пан.
СОТНИК. А мать твоя?
ХОМА. И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила — ей-богу, вельможный пан, не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

СОТНИК. Как же ты познакомился с моею дочкою?

ХОМА. Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного.

СОТНИК. Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

ХОМА. Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет.

СОТНИК. Да не врешь ли ты, пан философ?

ХОМА. Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

СОТНИК. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

ХОМА. Кто? Я? Я святой жизни? Бог с вами, пан! Что вы это говорите! Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга. А хлопцы ваши, и того более, у ведьмы вдовы меня сыскали, черт их разберет как.

СОТНИК. Не хочу слышать этого. Недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

ХОМА. Я бы сказал на это вашей милости… оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может… только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мене, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я… Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет.

СОТНИК. Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не советую рассердить меня.

ХОМА. Сердить? Помилуйте, вельможный пан, ей-богу, не думал сердить.

СОТНИК. Ступай за мною.

Перешли в другую светлицу, где весь пол был устлан красной материей. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет.

Сотник садится перед столом с покойной.

Хома крестится. Отвернулся.

СОТНИК. Скажи мне, добрый человек, какое наказание положено тому врагу лютому, кто учинил над моею голубонькой такое оскорбление?

ХОМА. Богу только знать такое, ваша милость. Судье, на худой конец…

СОТНИК. А я им скажу, что коль сами не свершат суда над собою, то будет им суд во стократ страшнее суда земного. Будет суд верный для них внутри земли. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает…» Расслышал ты меня, философ Хома Брут?

ХОМА. Расслышал, пан, да только не очень разумею этого.

Сотник обернулся на Хому.

СОТНИК. Чего ж ты очи отворотил, глянь, какую нагидочку растоптали.

ХОМА. Я, вельможный пан, до покойников боязлив.

СОТНИК. Тебе три ночи с нею быть. Подойди.

Хома подходит. Смотрит, вздрагивает.
Сотник пристально глядит на него.

СОТНИК. Кто еще с тобою был, добрый человек?

ХОМА. Не знаю, о чем ваша милость сейчас говорит.

СОТНИК. Трое — её слова.

ХОМА. Ничего не знаю про то. Вот вашей милости крест, ничего не знаю. (*Крестится.*)

Пауза.

СОТНИК. Прости меня, добрый человек, в каждом вижу зверя лютого теперь. Прости меня еще раз. И ты, нагидочка, прости, что на доброго человека грех взвёл. Горе мне глаза застлало, полевая нагидочка моя. (*Плачет.*) Перепеличка моя, ясочка ты, нагидочка моя. Нагидочка… Нагидочка…

Хома белее снега стоит перед покойной.

5

Гроб с панночкой несут в церковь. Хома и сотник среди несущих.
Бабы причитают свои причитания. Козаки идут молча. Священник, возглавляющий процессию, все время повторяет: «Кланяйтесь! Кланяйтесь!»
Бабы кланяются.
Собаки жмутся к плетням.
Трещат свечи в руках носильщиков.

СВЯЩЕННИК. Кланяйтесь! Кланяйтесь!

Подошли к дверям церкви.

СВЯЩЕННИК. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Отдаем те покойную! Отдаем те покойную! Отдаем те покойную! Бери ея! Бери ея! Бери ея! Заноси.

Гроб занесли в церковь, поставили посередине, против самого алтаря.
Зажигают свечи.
Сотник склонился над гробом, поцеловал панночку в лоб. Вышел вон.
Хома стоит рядом с гробом, не знает, что ему делать теперь.

ЯВТУХ. Рано еще читать, пан философ. Пусть солнце сойдет. Идем ужин ужинать.

Выходят из церкви.

6

Кухня в сотниковом доме. На столе огромный горшок с галушками. Козаки и бабы ужинают, треплются. Хома молча слушает их.

ДОРОШ. Того петуха, что поет ночью не вовремя, нужно поскорее резать.

СПИРИД. Как же сыскать в курятнике его, который пел?

ДОРОШ. Того сразу видно будет.

СПИРИД. И как же увидишь, скажи, пожалуйста.

ДОРОШ. Который не спит, тот и кликал беду.

СПИРИД. А ты, Дорош, зайди-ка в курятник ночью. Они сразу все и не спят, как зайдешь. Вот и сыщи того самого.

ДОРОШ. Уж вы как себе хотите, только того петуха должно было непременно зарезать, тогда и отвело бы.

БАБА В ОЧИПКЕ. А вот ежели петух-трехлетка снесет яйцо, то из него выйдет нечистый дух. И ежели кто-либо будет хранить то петушиное яйцо, тот будет жить богато.

СПИРИД. Вот, хорошо говорит баба. А ты, Дорош, зря на петуха такое взводишь. Петух птица полезная, особенно от нечистой силы.

ДОРОШ. То — когда вовремя поет, а когда в неположенный час, то это уже не петух, а сам нечистый в нем. Вот, примером, если издохнут и курица, и петух в один день, то что станет?

СПИРИД. Ничего не станет.

ДОРОШ. Покойник станет. А если красный и на воротах прокричит, то? (*Покивал, ожидая ответа.*) Пожар.

СПИРИД. Чего ж тогда петуха в новый дом наперед пускают ночевать, раз он сам нечистый?

ДОРОШ. Ты, Спирид, ничего не разумеешь в петухах, но спорщик гораздый зато, я дивлюсь с тебя. В Писании про Фому читал?

СПИРИД. Чего мне Писание?

ДОРОШ. Вот то-то, не читал, а толкуешь об всём. Куда, примером, стружки с гроба идут?

СПИРИД. Палят.

ДОРОШ. Вот те дулячка на это! (*Показывает кукиш.*) В землю их иль в реку нужно. Палить никоим разом нельзя. А воду с панночки куда слили?

БАБА В ОЧИПКЕ. За околицу и слили.

ДОРОШ. Присыпали?

БАБА В ОЧИПКЕ. Ямку рыли.

ДОРОШ. Трава расти не станет. Плешь пойдет.

СПИРИД. Чего ж не станет?

ДОРОШ. С ведьмы потому что…

ЯВТУХ. Полно, полно, Дорош! Это не наше дело, Бог с ним. Нечего об этом толковать. Пора философу к покойнице идти. Проводите его.

Спирид и Дорош встали.

ХОМА. Да я, братцы, сам дорогу сыщу.

ЯВТУХ. Заплутаешь, однако ж, до самого Киева…

Хома сидит.

ХОМА. Мне б горелки кружку, братцы, прежде.

ЯВТУХ (*бабе в очипке*). Подай ему.

ДОРОШ. Чего там — и нам неси.

Баба идет с кухни. Козаки снова сели.

ДОРОШ (*Спириду*). А знаешь, как сделать, чтоб петух бивал чужого петуха?

СПИРИД. Куда нам такие науки.

ДОРОШ. Надо кормить его на заслонке поутру в Великий четверг оберткой осиного гнезда.

СПИРИД. Ты, Дорош, сам, однако ж, не хуже ведьмы разумеешь в этом.
ДОРОШ. Цур тебе!

Баба внесла бутыль горелки, налила полные кружки. Хома, давясь, выпил всю.

ХОМА. Хорошо бы, братцы, теперь люльки выкурить…
ЯВТУХ. Не можно, пан философ.

Пауза.

ХОМА. Да и что я за козак, когда бы устрашился?
СПИРИД. Славно сказал.
ХОМА. Нисколько не устрашусь. (*Встал, шатнулся.*) Ведите.

Пошел из хаты, по дороге основательно приложившись к бутылю горелки. Дорош и Спирид пошли за ним. Идут по улице, отгоняя палками собак.

ХОМА. Я хотел спросить, Дорош, почему ты считаешь панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?
ДОРОШ. Было всякого…
СПИРИД. А ты припомни ему псаря Микиту!
ХОМА. А что ж такое псарь Микита?
ДОРОШ. Стой! Я расскажу про псаря Микиту!

Остановились.

СПИРИД. Я расскажу про Микиту, потому что он был мой кум.
ХОМА. Я, братцы, люльки выкурю?
ДОРОШ. Кури, чего уж нам. Только я расскажу тебе про Микиту.

Вдруг за ними возникает Явтух.

ЯВТУХ. Трогай.

Козаки снова пошли. Явтух идет за ними.

ДОРОШ (*шепотом, Хоме*). Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него — дрянь, помои. Такой псарь был, только эх! Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! А ну, Быстрая!» — а сам на коне во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свистнет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь!

Тем временем они подошли в церкви.

ЯВТУХ. Ты, брат, проходи, а мы тебя запрем, чтоб до Киеву не подался.
ХОМА. Отпустите меня, братцы.

Козаки молчат.

ХОМА. И что ж там Микита, Дорош?



ДОРОШ. Какой Микита? Псарь-то?
ХОМА. Псарь…
ЯВТУХ. Удачливо тебе отчитать, пан философ.

Подтолкнул Хому в церковь, запер дверь.
На улице забрехали собаки.
Хома некоторое время постоял у двери, потом прошел к клиросу. Осмотрелся.
Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте отпала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно.

ХОМА. Что ж, чего тут бояться? Человек прийти сюда не может. (*Снова осмотрелся и громко произнес в темное пространство за иконостасом.*) А от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. (*Подождал ответа. Не дождался. Улыбнулся.*) Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить! (*Вернулся к двери, подергал. Заперто.*) Хотя чего ж не можно, гляди, тянет как наружу. (*Приложил руку к дверной щели, убедился, что действительно тянет. Достал трубку, быстро набил, закурил. Выдыхает дым через щель на улицу.*) Тут уж и не церковь, почитай. Здесь уж другой и шапку наденет обратно. (*Курит.*)

Свечи потрескивают.

ХОМА. А Дорош, ишь ты, бонмотист сыскался: ведьма, ведьма. Вот потешились козаки на славу. За полночь еще, гляди, оглоблей в стену колотить станут да рычать. Завтра же надудоню в кухоль и горелки ему испить предложу. Прости, Господи! (*Крестится.*)

Воцарилась абсолютная тишина. Хома прислушался.

ХОМА. Дорош? Это вы там? (*Пауза.*) Идите вон, черти, прости, Господи, я сотнику на вас доложу — батогов разом отведаете — такое неуважение к покойнице творите. (*Пауза.*) Дорош? (*Пауза.*) Братцы, полно изгаляться, мне читать надобно. Братцы?

Вдруг в темном углу что-то падает.
Хома бросается к клиросу. Хватает книгу.

ХОМА. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося раба Твоего и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Тем же милостив тому буди, и веру, я же в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. (*Огляделся.*)

Ничего не происходит.



ХОМА. Вот дурень! Чего ж она, встанет разве? Да и не та это вовсе… У той и волосы по-другому были, и лицом плоше. Да и какая из той панночка, так — дворня безродная, плебс один. А эта, оно видно, породы самой благородной, из ляхов или болгар, ей-богу, не разберешь. (*Пауза.*) А вот подойду и гляну, чего мне сделается. Не знать-то оно и хуже. Табаку понюхаю и гляну. (*Нюхает табак.*) Эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак! (*Чихает.*)

Чих громом разносится по церкви.

ХОМА (*крестится*). Прости, Господи! Прости, Господи! Прости, Господи! Вот псалом прочту и гляну. (*Листает Псалтырь, читает, к концу теряя интерес.*) Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо, насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. (*Полистал книгу.*) И чего в них всегда так увесисто пишут, что не разберешь ничего, если не дьякон. Завтра так и скажу: прочел, но никакого черта не понял. Пусть дьякона ведут. (*Спохватился, бьет себя по губам.*) Господи, прости. (*Читает почти по складам.*) Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным? Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его. Расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их… Пойду гляну. (*Закрыл книгу, нерешительно подошел к гробу. Глядит на панночку.*) Теперь и особенно видать, что другая, хоть и у покойников лицо вытягивается. Но эта — другая, если нос смотреть и прочие части. Другая — тут и вопроса никакого. (*Повеселел.*) Ничего, три ночи как-нибудь отработаю, зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами.

Пошел к клиросу.
Панночка открыла глаза.

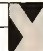
ПАННОЧКА. Хома…

Хома подпрыгнул, обернулся, кинулся на клирос. Читает во весь голос первое попавшееся, вперившись в Псалтырь.

ХОМА. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя: да не когда похитит яко лев душу мою, не сущу избавляющу, ниже спасающу. Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающым ми зла, да отпаду убо от враг моих тощ. Да поженет убо враг душу мою, и да постигнет, и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и востани, Господи Боже мой, повелением, имже заповедал еси. И сонм людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людем: суди ми, Господи, по правде моей, и по незлобе моей на мя…
ПАННОЧКА. Хома… Подойди…

Хома выхватил мел, рухнул на пол, чертит круг.

ХОМА. Переярые мои слова, вы церковные купола, вы серебряные колокола. Ан Тын, Хаба, Уру, Ча, Чабаш, мертвые вы духи. Не к миру моему, а к миру своему не зовите, не зрите, не ищите. Светом Божьим опояшусь. Святым Крестом открещусь. Господь мой великий. Ныне, присно. Вовеки веков. Аминь.



Закончил круг, сел внутри него на пол, шепотом читает молитвы, крестится непрестанно.

Панночка лежит в гробу.

ПАННОЧКА (*спокойно*). Хома… Хома… Хома… Хома… Сделай доброе дело, развяжи мне руки.

ХОМА. Цур тебе! Цур тебе! Цур тебе! Сгинь, нечистая. (*Шепчет молитвы.*)

ПАННОЧКА. Я, Хома, девушкой была… Развяжи мне руки… Узелок потяни…

Хома заткнул уши руками.

ПАННОЧКА. Хома… Дышать не могу, развяжите руки…

ХОМА. Сгинь! Сгинь!

ПАННОЧКА. Хома… Развяжи… Паны… Да что ж вы, паны… Я девушка еще… Что ж вам с меня надо… Помилуйте, паны… Больно… Больно как делаете, братцы… Что ж вы так больно делаете… Развяжите… Не бейте только… Паны… Паны… Мамонька… Мамонька… Тату… Тату… спаси… Ой… Ой… Паны… Паны… Что ж вы… Мамонька… Тату… Ох, не могу больше. Развяжите. Развяжите. Развяжите! Развяжите. Развяжите. (*Мечется в гробу. Скулит.*)

ХОМА. Господи Боже, Господи Боже, Господи, Пресвятая Богородица…

ПАННОЧКА. Развяжите. Развяжите. Развяжите. Помилуйте. Помилуйте. Помилуйте. Паны… Паны… не могу больше, паны.

ХОМА. Молчи! Молчи, ведьма!

ПАННОЧКА. Паны… не могу больше, паны… что ж вы… не могу… Тату! Тату! Тату, приди! Тату! Тату!

ХОМА. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя… (*Подошел, потянул конец нитки, освободил руки панночки.*)

Панночка села в гробу. Лицо её всё в слезах.

ПАННОЧКА. Дай мне пить, Хома. Тату не успел кружку поднести.

ХОМА (*отступает*). Не можно тут воду найти.

ПАННОЧКА. Из колодца принеси.

ХОМА. Затворено.

ПАННОЧКА. Дай мне напиться, Хома. (*Встала из гроба, идет к нему.*)

ХОМА (*пятится*). Затворено…

ПАННОЧКА. Я из пальчика напьюсь. (*Протянула к нему руки.*)

Хома зашел в круг.

ПАННОЧКА. Куда ты делся, Хома. Дай напиться. Хома… Хома… Хома… Я много не выпью, Хома. Губы смочу, и довольно. Протяни пальчик…

Идет по кругу, не смея переступить черту.

Хома шепчет молитвы.

ПАННОЧКА (*вдруг кричит*). Твоей волей жажда эта! Дай руку!

ХОМА. Не ведаю, о чем ты говоришь.

Панночка отреагировала на его голос. Повернулась.

ПАННОЧКА. Дай руку, Хома! Искупи…

ХОМА. Не ведаю ничего, Господи Боже…

ПАННОЧКА. Дай руку! Себе лучше сделаешь!

Хома трясется.

ПАННОЧКА. Дай руку, и лягу я обратно. Дай…

Хома протягивает ей руку.
И тут доносится отдаленный крик петуха.

ПАННОЧКА. Дурень… (*Возвращается к гробу, ложится в него.*)

Хома поднимается на ноги, становится на клирос. Читает.

ХОМА. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взятся великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец и сущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушити врага и местника. Яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, яже Ты основал еси. Что есть человек, яко помниши его? Или сын человечь, яко посещаеши его? Умалил еси его малым чим от ангел, славою и честию венчал еси его. И поставил еси его над делы руку Твоею, вся покорил еси под нозе его. Овцы и волы вся, еще же и скоты польския, птицы небесныя, и рыбы морския, преходящия стези морския. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли.

Не понятно, как рядом с ним оказываются Явтух и Дорош.
Явтух закрывает Псалтырь.

ЯВТУХ. Полно, пан философ, утро уже.

Хома оглядывает их уставшими глазами.

ХОМА. Нитка у ней развязалась. Поправьте, братцы.

Дорош подходит к гробу, смотрит на руки покойницы.

ДОРОШ. Привиделось тебе, пан философ, на положенном месте завязка.
ЯВТУХ. Довольно тут, пойдемте.

Идут из церкви.

ДОРОШ (*шепотом, Хоме*). Было чего?
ХОМА (*помотал головой*). Чего ж быть может?
ДОРОШ (*разочарованно*). Много на свете всякой дряни водится…
ХОМА. Сказки то. Брехня.
ДОРОШ. Не гневи нечистого. Тебе еще две ночи служить. (*Вынул из-за пазухи бутыль горелки.*) Держи-угостись, может, припомнишь чего.

Хома прильнул к горлышку, да так ладно, что, когда они дошли до хат, рухнул головою об крыльцо.
Его снесли в кухню на лавку.



7

Спящего Хому толкает в бок человек с люлькой в зубах.
Хома продирает сонные глаза. Оглядывает человека.

ХОМА. Ты ли, Халява?
ХАЛЯВА. Пойди сознайся сотнику.

Хома замечает, что вокруг люди.

ХОМА (*шипит*). Молчи, черт! Чего несешь!
ХАЛЯВА. Душу спасешь.
ХОМА. Молчи! (*Оглядывается на людей.*)

Становится понятно, что те не замечают их беседы.

ХОМА (*шепчет*). Каким ты тут взялся? Тебе тоже читать положили?
ХАЛЯВА. Помер я. В реке утоп.
ХОМА. А нынче воскрес, сдается?
ХАЛЯВА. До тебя меня пустили.
ХОМА. А ежели я тебе, Халява, вломлю добре меж очей, то ты и не расчувствуешь, раз не жив?
ХАЛЯВА. Твоя воля.
ХОМА. Говори, кто тебя подослал. Дорош? Явтух?
ХАЛЯВА. Сознайся сотнику, облегчи участь свою.
ХОМА (*громко*). Нечем мне сознаваться. Не известно мне ничего такого. Подай мне горелки лучше, бес. Кто его сюда допустил? Он враз всю хату разворует, сопливой хусткой не побрезгует.

Люди не реагируют.

ХОМА. Пойди прочь, Халява.

Халява не реагирует.

ХОМА. Дорош! Дорош! Дорош!

Дорош толкает Хому в плечо. Хома оборачивается. Халявы нет рядом.

ДОРОШ. Ну ты, пан философ, горазд вопить.
ХОМА. Куда Халява делся?
ДОРОШ. Кто такое эта Халява?
ХОМА. Тут, со мною был…
ДОРОШ. Ни одного не было. Дрых ты. Как бутыль к устам приложил, так и дрых с того времени.

Хома потрогал лоб.

ХОМА. Любопытно бы знать…
ДОРОШ. А это ты славно так дал креста о крыльцо перед самым сном, что не налюбуешься. Которым чудом себе кадку тока не расколол, я дивлюсь. Знатного креста дал. Иному акробату такого креста не дать.



ХОМА. Налей горелки, добрый человек.
ДОРОШ. Чего уж там, идем вечерять.
ХОМА. Ужель вечер?
ДОРОШ. А то. Хорошо поспал. Скоро уж читать идти.

Хома загрустил.
Пауза.

ХОМА. Проводи меня до ветру, Дорош.
ДОРОШ. Пойди сам да облегчись.
ХОМА. А вдруг утеку.
ДОРОШ. А мы тебе, так и быть, псов спустим. После же сверху розог пропишем достаточное количество.
ХОМА. Веселые вы, однако ж, хлопцы, Дорош. (*Встал.*)
ДОРОШ. Так и быть, пойду с тобою. Самому затребовалось.

Идут за плетень.

ХОМА. А чего, Дорош, с псарем Микитой сделалось?
ДОРОШ. С Микитой-то? Ни черта не сделалось — сгорел сам собою: куча золы да пустое ведро осталось с него. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Спустили шаровары.

ДОРОШ. Ишь как горелкой разит. Хоть кухоль подставляй.
ХОМА. Ночью-то, Дорош, было кое-чего…
ДОРОШ. Никакого интереса к этому нет.

Пауза.

ХОМА. Вставала панночка…
ДОРОШ. Приблазнилось тебе с лишнего.
ХОМА. Вот те крест — вставала. (*Крестится.*) Кровушки просила напиться…
ДОРОШ. Ну и горазд ты, пан философ, до сказок. Вот бы в Гоголи тебе — по червонцу б за лист имел. (*Прыгает.*)
ХОМА. Отпусти меня, Дорош. Изведет она меня, ей-богу, не даст дочитать.
ДОРОШ. Я то и говорю, что складно у тебя выходит заливать. Аж любо слушать. Однако ж пойдем, всем и расскажешь.

Натянули шаровары. Вернулись в хату.
В тот вечер Хома не проронил больше ни слова. Съел несколько галушек и даже отказался от горелки.
Когда его вели в церковь, он тоже всю дорогу молчал. Впрочем, козаки, по его примеру, одинаково ничего не сказали. Тем более один из них был нем.

8

Засов на церкви заперли.
Хома постоял некоторое время у двери, не решаясь пройти дальше. Затем перебежал к клиросу, очертил круг, шепча заклинания и крестясь, и принялся читать, стараясь не поднимать глаз на гроб.



ХОМА. Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имене ради Своего. Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающым мне, умастил еси елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселити ми ся в дом Господень, в долготу дний.

Перелистнул страницу, поднял глаза от книги.

Панночка стоит возле самого круга, смотрит сквозь Хому затянутыми бельмами глазами. Нюхает воздух.

Хома чуть присел за клирос.

ПАННОЧКА. Где ты, Хома? Объявись. Здесь ты — чую тебя…

Хома еще более подогнул ноги.

ПАННОЧКА. Чего ж боишься-то? Разве я страшна?

Пауза. Идет по кругу.

ПАННОЧКА. Страшна я, Хома, разве?

Хома прячется за клиросом.

ПАННОЧКА. Где же ты? Дело у меня к тебе. Объявись… Объявись… (*Взяла свечу, смотрит сквозь огонь.*)

ПАННОЧКА. Темно мне, Хома. И тебе темно будет теперь...

Дунула на свечу. Ветер прошел по церкви, сбросил Псалтырь на пол, задул все свечи. Воцарились тишина и темнота. Слышно только, как отрывисто дышит Хома. Скрипнула половица.

ХОМА. Прочь! Прочь, нечистая!

Тишина.
И вдруг звук крыльев, лязг когтей о металл, страшные удары в дверь.
И снова тишина.
Вдруг голос — то ли Дороша, то ли Явтуха, то ли кого-то третьего.

ГОЛОС. Пойди к двери, Хома, отопру тебя.

ХОМА. Кто тут?

ГОЛОС. Я. Иди сюда.

ХОМА. Ты — Дорош?

ГОЛОС. Я. Иди сюда.

ХОМА. Она свечи задула, Дорош. Ни чертова кулака не видно. (*Высек огнивом искру.*)

Церковь на мгновение осветилась, показав гроб с панночкой, висящий в воздухе за спиной Хомы.

Снова настала тьма.

ГОЛОС. Иди к двери, Хома.

Хома опять высек искру.
Гроб с панночкой уже ближе к нему.
Хома пошел к двери, освещая путь огнивом.
Гроб плывет за ним. Панночка протягивает руку к его голове. Берет волосы в ладонь.
Хома роняет огниво.
Темнота.

ПАННОЧКА. Какой мягкий волос у тебя, Хома.

Пауза.

ПАННОЧКА. Знатный волос.

Пауза.

ПАННОЧКА. Не у всякого младенца такой волос сыщешь. И лицо гладкое какое. Как китайка лицо. Любо касаться такого лица. Чего с таким лицом на свете не жить…

Постепенно в церкви становится светлее.
Хома сидит на полу. Панночка на его коленях, держит волосы одной рукой, а другой гладит лицо.

ПАННОЧКА. А глаза какие ясные. У арабского скакуна таких глаз не найти. Одолжи мне такие глаза, Хома, а то мои совсем негодные сделались. Одолжи, Хома, чего они тебе… И такие волосы одолжи, не пожалей… Добре?

Хома кивает.

ПАННОЧКА. Какой чивый[1] паныч, одно загляденье… Таких волос не поскупился. Слова супротив не сказал… (*Провела рукой по его голове.*)

Волосы Хомы стали белые, как у старика.
Панночка разглядывает его молочными бельмами.

ПАННОЧКА. Что ж, и глаз для меня не пожалеешь?

Хома кивает.

ПАННОЧКА. Эх, какой ласковый паныч. Отважный козак. А вот, глянь, тебе и иголка нужная сыскалась на то...

Протянула ему иголку, вынутую из савана.
Хома взял.

ПАННОЧКА. Не робей, Хома. Не должно козаку робеть.

Хома поднес иголку к глазу.
Вдруг что-то засвистало вдали.

ПАННОЧКА. Не робей.
ХОМА. Петухи…

---

[1] Щедрый.



Панночка обернулась.
Петухи прокричали явнее.

ХОМА. Петухи! Петухи!

Панночка соскочила с колен Хомы. Пошла, слепая, к гробу, руками отыскала его, забралась. Стала мертвая снова.

ХОМА. Петухи! Петухи! Петухи!

Отворилась дверь. Вошли Явтух и Немой.

ХОМА. Петухи! Петухи! Петухи!

Козаки подняли Хому с пола, повели.

ХОМА. Петухи! Петухи! Петухи!

9

Хому доставили в кухню и уложили на лавку.
Сами козаки сидели за столом и чего-то такое пили из кружек. Между ними царило какое-то тягостное молчание
Баба в очипке, проходя мимо Хомы с ведрами, остановилась.

БАБА В ОЧИПКЕ. Здравствуй, Хома! Что это с тобою?
ХОМА. Что?
БАБА В ОЧИПКЕ. Белый как будто… (*Пригляделась.*) Да ты весь поседел!
ХОМА. Что с того? Невидаль тебе?
ЯВТУХ. Оставь его, глупая баба!
ДОРОШ. Уйди прочь!
СПИРИД. Сгинь, ведьма!
БАБА В ОЧИПКЕ. Что вам не эдак? Раззявили борщехлебы! Спросить уже не можно? (*Посмотрела на Немого.*) Шо пялишь пузыри — скажи и ты что-нибудь. (*Обиделась, ушла.*)

Козаки помолчали.

СПИРИД. Да, бабе поперек сказать, что керосином пожар тушить. Оттого они все и ведьмы.
ДОРОШ. Иные со злобы могут мужскую силу отнять.
ЯВТУХ. Полно, Дорош, дай философу спать.

Пауза.

СПИРИД (*шепотом*). Как же они её отнимут, не пойму?
ДОРОШ (*шепотом*). Заклинания всякие на то у них имеются.

Пауза.

СПИРИД. Напрочь отнимают иль на время какое?
ДОРОШ. Напрочь.

Помолчали.

СПИРИД. Пойду барвинок ей нарву от греха… (*Вышел с кухни.*)

Хома поднялся с лавки. Козаки глядят на него.

ЯВТУХ. Хочешь чего, пан философ?

Хома помотал головой.

ДОРОШ. Может, горелки тебе у ключника спросить?

Хома опять помотал головой.

ХОМА. Много на свете всякой дряни водится…
ДОРОШ. Много.
ХОМА. Ну…
ДОРОШ. Ну.
ХОМА. Пойду к пану, расскажу ему всё…
ДОРОШ. Пойди, пан философ, может, чего и выйдет с того.

Хома встал, пошел с кухни. Вошел к сотнику, который сидел, почти неподвижен, в своей светлице. Сотник даже не обернулся.

СОТНИК (*спиной к Хоме*). Здравствуй, небоже[1]. Что, как идет у тебя? Все благополучно?
ХОМА. Благополучно-то, благополучно. Только чертовщина такая водится…
СОТНИК. Как так?
ХОМА. Да ваша, пан, дочка…
СОТНИК. Что же дочка?
ХОМА. Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое Писание не учитывается.
СОТНИК. Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.
ХОМА. Власть ваша, пан: ей-богу, невмоготу! Весь цвет волоса сошел…
СОТНИК. Читай, читай! Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.
ХОМА. Да какие бы ни были награды… глаза дороже. Как ты себе хошь, пан, а я не буду читать.
СОТНИК. Слушай, философ! Я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?
ХОМА. При большом количестве вещь нестерпимая.
СОТНИК. Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить! У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай, исправляй свое дело! Не исправишь — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

Хома стоит. Вдруг заплакал.

---

[1] Бедняга.

ХОМА. Этой ночью глаз едва не лишила.
СОТНИК. Ступай.
ХОМА. К чему мне без глаз ваши червонцы?
СОТНИК (*встал*). Перебирать будешь. Ступай!
ХОМА. Не стану читать, хоть тут убей!

Тут сотник сделал такое движение корпусом, что Хома немедля выскочил из светлицы. Побежал во двор, потом в сад. Сел под яблоню, плачет. Пошмыгал носом.

ХОМА. Ничего: я вам такую катавасию исполню, что со всеми своими собаками не угонитесь за мною. (*Встал, смотал с себя кушак, покрутил в руках.*) С этим нечего шутить. И со мною нечего. Я прежде козак, а не ветошь для протирки. (*Сделал из кушака петлю.*) Сами читать станете, гляну на вас. (*Прилаживает кушак к толстой ветке яблони.*) Довели, черти, до греха. (*Крестится.*) Прости, Господи. Не знавал ни отца, ни матери — всплакнуть некому даж. Господи, прости. (*Ревет. Сует голову в петлю. Не лезет — коротковат кушак. Встает на носочки, пытается продеть голову в ушко петли. Застревает лбом.*)

Тут чья-то рука разрезает кушак ножом.
Хома падает лицом в траву.

ЯВТУХ. Напрасно ты решил яблоньку потревожить, гораздо вернее было в колодец свистануть: он у нас достаточно глубок для такого дела. Да притом и кушака жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно, пора домой.

Хома поднимается на ноги, утирая нос, пробует отвязать кушак от яблони.

ЯВТУХ. Брось. Новый тебе выдам.

Идут из сада.

ХОМА. Горелки нацедите?
ЯВТУХ. Чего не нацедить по такому поводу, коль с того света благополучно возвратился.

Вошли в кухню.

ЯВТУХ. Дорош, пошукай горелки пану философу.
ДОРОШ. Чего не пошукать! (*Метнулся из кухни и сразу возвратился с двумя бутылями.*)

За то время Явтух преподнес Хоме новый кушак и сам опоясал его.

ДОРОШ (*удивился*). Свой-то куда задевал, пан философ?
ЯВТУХ. В нужнике утоп.
ДОРОШ. Нехорошо. Доброго сукна был. (*Разлил по кружкам.*)

Выпили.
Хома жестом пальца потребовал еще.

ДОРОШ. Как знатно влетела. (*Налил.*)

Хома выпил. Потребовал добавки.

ДОРОШ. Эх! Ни один лях такой скорости не даст. Оттого мы их били и снова бивать будем. (*Налил.*)

Хома и это забросил в себя. На мгновение горелка засопротивлялась, но была отправлена в желудок ловким повторным глотком.

Хома посидел, обвел козаков искрящимся взглядом.

ХОМА. Я теперь, братцы, самого черта не убоюсь! Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью.

ДОРОШ. Хорошо сказал!

ХОМА. Не убоюсь, пусть он мне хоть какого жупелу предоставит! Цур ему и пек ему тоже! Не убоюсь, и всё тут! Лей, Дорош! (*Врезал кулаком по столу.*)

Дорош налил. Хома поднял кружку.

ХОМА. Станем, братцы козаки, Немого словам учить?! Станем?!

ЯВТУХ. Его кто только не учил — всё напрасно.

ХОМА. А у меня живо выучится! Говори, черт, хоть одно слово! Говори! Говори, не то горелки не дадим! Говори!

Немой молчит, улыбается.

ХОМА. Ну его, братцы. Нужно идти во двор — баб портить! Идем, кто козак! (*Выпил, вскочил, раскачиваясь, идет во двор.*)

Дорош придерживает его за ворот.

Вышли во двор.

Хома увидал гуся.

ХОМА. Сжарим гуся?! Непременно сжарим гуся! (*Погнался за гусем, завершил погоню лицом о землю. Кое-как встал.*) К черту его, гуся! Дайте мне батогов! (*Скинул одежду, нагнулся.*) Дорош, секи! Нисколько мне не больно будет! Секи, Дорош!

Дорош не двигается.

ХОМА. Не козак ты, Дорош! Пена одна! Ну тебя! Дай напиться! (*Выхватил у Дороша бутыль, пьет, обливаясь.*) Станем, братцы, лбом орехи колоть! У кого крепче! Неси орехи! Я все до последнего расколю! Неси! (*Саданул себе горшком по голове и расколол. Схватил оглоблю.*) Огрей меня оглоблей, Явтух! Ничего мне не будет. Огрей по самой спине. (*Вручил Явтуху оглоблю и полез по лестнице на крышу хаты.*)

Вокруг уж собралась любопытная дворня.

Хома встал на самом коньке, шатается.

ХОМА. Прыгну — и не убьюсь, кому на спор!

ЯВТУХ. Пора пана философа в люльку укладывать.

ДОРОШ. Пусть позабавится.

ХОМА. Козак ничего не убоится! Цур тоби, пек тоби, сатанинское отродье! (*Прыгнул. Хрустнул. Затих.*)

Козаки медленно подошли к нему, подняли на ноги.

Хома открыл глаза, оттолкнул от себя козаков.



ХОМА. Музыкантов! Непременно музыкантов! (*Пустился отплясывать трепака.*)

Люди обступили его.

ДОРОШ. Славно загулял, аж завидки берут.
ЯВТУХ. Знатно загулял.
ДОРОШ. Хату не запалит?
ЯВТУХ. Дури-то, поди, довольно выбил о землю.

Помолчали.

ДОРОШ. Хорошо пляшет, черт.
ЯВТУХ. Хорошо.

Пошли в хату.
Хома пляшет.
Люди потихоньку расходятся.
Хома пляшет.
Все разошлись.
Хома пляшет.
Подошел Спирид с букетиком барвинков. Посмотрел, пошел своею дорогой.
Хома поплясал еще некоторое время, лег тут же и уснул.

10

Явтух вылил на Хому ушат воды.
Хома продрал глаза.

ЯВТУХ. Пора. Пойдем.
ХОМА. Спичка тебе в язык, проклятый кнур[1].
ЯВТУХ. Пойдем.

Хома кое-как поднялся.

ХОМА. Где Дорош?
ЯВТУХ. Я тебя отведу.
ХОМА. Не хочет грех брать?
ЯВТУХ. Пойдем.
ХОМА. Пойдем.

Пошли к церкви. Со всех сторон на них лают собаки.

ХОМА. Чего этим псам надо? Как с ума свихнулись…

Явтух промолчал.

ХОМА. Дай до ветру схожу, не в Божьем ж храме.
ЯВТУХ. Сходи, пан философ.

---

[1] Боров.

Хома сошел с дороги под деревья. Приметил себе осину, оторвал ветку, сломал надвое, сунул обломок под одежду. Вернулся.

Явтух оглядел его.

Пошли.

ХОМА. А хутор ваш дрянь.

ЯВТУХ. Чего же так?

ХОМА. Дрянь, и всё тут.

ЯВТУХ. Твоя воля.

ХОМА. И ты козак порченый, Явтух. Такие козаки после смерти непременно в пекло идут.

ЯВТУХ. Это поглядим куда.

ХОМА. Дрянь, а не козак.

ЯВТУХ. Твоя воля, пан философ.

ХОМА. Помои одни.

Явтух промолчал.

ХОМА. Чего этим псам надо?! (*Залаял в ответ в сторону хутора.*)

Явтух терпеливо подождал его.

Двинулись дальше.

ХОМА (*то ли собакам, то ли Явтуху*). Чтоб вам буряком одним кормиться…

Явтух только покачал головой.

ХОМА. Чтоб у вас пейсики поотрастали… Дрянь, а не хутор. Ни Днепра, ни прудов — одна дрянь кругом. Скажи своему пану, Явтух, что, ежели не набьет мне карманы червонными, прокляну навеки.

ЯВТУХ. Непременно скажу.

ХОМА. И что хутор его дрянь полная, скажи.

ЯВТУХ. Скажу, пан философ.

ХОМА. Сжечь такой хутор одно удовольствие будет.

Явтух лишь поулыбался.

Тем временем подошли к церкви. Явтух отпер двери.

ЯВТУХ. Палочку оставь на сохранение, пан философ. Утром верну.

Сунул руку Хоме под одежду, вынул обломок ветки.

Хома схватил его за руку.

ЯВТУХ. Тебе, пан философ, хотя бы и без руки — все одно читать придется.

Хома отпустил.

ХОМА. Позволь люльки выкурить.

Явтух только подтолкнул его в притвор.

Хома смотрит на него с ненавистью.

ХОМА. Что б ты, Явтух, грыжу нажил.

ЯВТУХ. И ты будь здоров, пан философ.

Пауза.

ХОМА. Это ж я, Явтух, панночку приголубил.

ЯВТУХ (*спокойно*). Для чего же ты её?

ХОМА. Для того же, для чего ты своей жинке исподницу задираешь.

ЯВТУХ. Ну вот тебе тогда церковь — попроси отпущения… (*Закрыл дверь.*)

ХОМА (*кричит*). Судите меня судом человеческим, Явтух! (*Ударил в дверь.*) Судом судите! Явтух! Явтух! Явтух! Явтух! Явтух! Явтух!

Бросается телом на дверь.

Устал, сел на пол. Достал люльку, набил дрожащим пальцем. Поискал у себя огниво, не нашел. Увидел его за притвором. На четвереньках сползал за ним, вернулся, закурил. Успокоился.

ХОМА. Завтра скажу, что побоялся читать, оттого и соврал такое. Явтух, думаю, всё одно побьет, но то — пускай. То — полезно даже. (*Пауза, курит.*) Завтра же в Киев пусть отправляют. Пойду к той же вдове, насыплю перед ней червонцев и уж люльку токо на следующий день выкурю. (*Пауза.*) С полатей спуститься не сможет у меня после. (*Помолчал.*) А то, верно, сказки про меня всему Киеву сказывает. Ничего, как-нибудь дочитаю…

Пока Хома так рассуждал, панночка встала из гроба и значительно приблизилась к нему.

Хома вовремя заметил её, рванул к клиросу. Очертил круг.

ХОМА. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголящих: радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диавола, и даровавшаго нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крест Господень! Помогай ми со святою госпожою девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. (*Осмотрелся.*)

Панночка сидела на амвоне. И даже не глядела на Хому.

ПАННОЧКА. Устала я с тебя, Хома…

ХОМА (*прошептал*). Изведу. Божьей молитвой изведу, ведьма.

ПАННОЧКА. Сейчас они придут…

ХОМА. Нет вам на меня силы никакой!

Панночка усмехнулась.

ХОМА. Не скалься, сатанинское семя! Изведу!

Панночка снова усмехнулась.

По потолку проползло нечто белое: то ли человек, то ли нечисть. Засело в темном углу.

ХОМА (*открыл Псалтырь и вдруг громко начал читать*). Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей

и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятесе сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя упових. Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.

Пока он читал, разные твари собирались в церкви: кто сползал с потолка, кто проникал из-под половиц, кто через окна.

Твари обступили Хому. Тянули руки и клешни. Хрипели своим дыханием.

ПАННОЧКА. Пойди ко мне, Хома, спасу тебя от них.

ХОМА. Прочь! Нет вам никакой силы на меня! (*Яростно читает одними губами.*)

Чудовища заметались по церкви, громя всё и бросаясь друг на друга, как волки рядом с добычей. Сбили с ног панночку.

ХОМА. Изведу! Все тут сгинете! Нет против Божьего слова никаких чар! Изведу! (*Читает.*)

Чудовища пуще прежнего рвут друг друга.

Панночка поднялась на ноги.

ПАННОЧКА. Стойте!

Твари устремили на неё свои подобия глаз.

ПАННОЧКА. Приведите Вия! Ступайте за Вием!

Наступила тишина.

Чудовища расползлись по темным углам церкви.

Что-то зашаркало за иконостасом. Оттуда вышла гнутая набок старуха с обычным младенцем на руках. Младенец спал, и от него шел молочный пар.

ПАННОЧКА. Подымите ему веки: не видит.

Старуха слегка толкнула младенца рукой. Тот проснулся и открыл глаза.

ПАННОЧКА. Видел когда Вия, Хома? Глянь, как страшен.

ХОМА. Прочь, ведьма!

ПАННОЧКА. Боишься?

ХОМА. Прочь! (*И в этот же самый момент глянул на младенца.*)

Младенец протянул пальчик и указал на Хому.

С потолка пошел снег.

ПАННОЧКА. Вот он! Судите.



Чудовища кинулись на Хому с потолков и стен. Терзают его, тащат под половицы. Хома был уже мертв.

***

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги.

11

Безусый молодой человек с оселедцем постучался в дверь и вошел.
За столом сидел коренастый во все стороны ректор в церковном платье.
Молодой человек поклонился.

РЕКТОР. Кто таков и по которому делу будешь?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ритор Тиберий Горобець. Принес письмо.
РЕКТОР. Чье?
ТИБЕРИЙ ГОРОБЕЦЬ. Мое.
РЕКТОР. Кому предназначено?
ТИБЕРИЙ ГОРОБЕЦЬ. Вашей милости.
РЕКТОР. Что за письмо?
ТИБЕРИЙ ГОРОБЕЦЬ. Покаянное, ваша милость.
РЕКТОР. Дай. Нет, лучше зачти.

Ритор Тиберий Горобец развернул письмо, прокашлялся.

ТИБЕРИЙ ГОРОБЕЦЬ. Ритор Тиберий Горобець ректору. Покаянное письмо. Июня сего года мы, с двумя прочими бурсаками, философом Хомой Брутом и богословом Халявой, отправившись на вакансии до дальних хуторов, по дороге, будучи хмельные от горелки, совершили насилие над одной бабой, и оттого что она дюже сопротивлялась, то пленили её веревкою и крепко побили её. Более всего усердствовали в том Хома Брут и богослов Халява, являясь сильного опьянения, ежели я. Я ж, до этого не имевший никакого дела с бабами, долго не мог сыскать нужного им применения, хотя и видал, как применяли Хома Брут и богослов Халява. После та баба оказалась дочерию одного сотника, то есть панночка, и померла с побоев. От этого события богослов Халява утоп в реке, а философа Хому Брута извели черти. И хотя нужного применения я так и не отыскал, но бивать бивал, то от сего понимаю на себе треть вины за сей проступок, прошу простить и снять сей грех с души. Ритор Тиберий Горобець.

Ректор долго смотрит на него. Молчит.
Ритор Тиберий Горобець неловко переминается с ноги на ногу в ожидании вердикта.

РЕКТОР. Снимаю. Иди.

Конец

Юлия Золоткова

«Не плачет ива у воды...»

1

...Узнав о моем решении, бабушка бегала по кухне и кричала: «Кем ты будешь после окончания культпросветучилища? Ты будешь ключницей в деревенском клубе!..» Дедушка тоже хотел для меня более «солидной» профессии. А мне это было совсем неинтересно. Я нахватала в общеобразовательной школе троек по всем «точным» предметам и на уроках прятала в парту очередную книжку о приключениях Динки и как она прощается с детством, а на автоделе, вместо изучения «охладительной системы машины», читала Сергея Есенина. Что делать, моя девичья природа брала верх, меня интересовали человеческие чувства!

Моя интеллектуальная жизнь в 16 лет была так насыщена, а неприятие «точных» наук так велико, что мои нервы не выдержали, и экзамен по физике я вообще не сдала — у меня был нервный срыв. Я лежала на кровати после экзамена, на котором не смогла дать «физического» определения массы тела, и вспоминала, как бормотала на экзамене что-то про то, что у каждого тела есть масса, и прочую ерунду... и вот я лежала и, не отрываясь, смотрела на репродукцию картины Карла Брюллова «Итальянский полдень», мне было тесно в моем маленьком отроческом мире, и мне казалось, что только на этой картине и есть настоящая жизнь. Я спасалась красотой и пила ее взглядом, как спасительное лекарство. Мама не на шутку испугалась и отвела меня к врачу. Врач ей сказал: «Никогда ни в чем ей не перечьте, пусть занимается в жизни тем, чем хочет». И моя бедная героическая мама так всю жизнь и делала, за что я была ей очень благодарна.

Итак, я поступала в «кулек». Экзамены мне очень понравились. Они походили на те самые уроки актерского мастерства, которыми я уже два года как занималась в театральной студии. Так на творческом конкурсе помимо традиционных для театральных отделений прочтений басни, стихотворения, прозы меня попросили нанизать на воображаемую нитку воображаемый бисер и оценивали, насколько я органично и естественно веду себя при этом. Как я сейчас думаю, в этом задании заключается вся суть театрального искусства. Театр словно нанизывает на воображаемую нитку судьбы человека — отрепетированные перед жизнью ситуации, чтобы мы совершали в жизни меньше ошибок. Это очень хорошее образование для юной личности, вступающей в жизнь, — такая соломка, подстеленная под душу, чтобы меньше ушибаться.

Юлия Золоткова — родилась в Северодвинске Архангельской области. В 1989 году переехала в Свердловск. Окончила Уральский государственный университет (факультет искусствоведения и культурологии). Была внештатным корреспондентом газет «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «Подробности», «Областная газета», писала статьи о екатеринбургских художниках. Публиковала научные статьи и статьи по искусству в журналах «Вопросы культурологии», «Известия УрГУ», «Архитектон», «Театральный сезон» и др. Автор нескольких поэтических книг.



В творческом конкурсе было еще задание: придумать рассказик с заданными словами типа: лампа, лестница, зеркало, вор. Его нужно было написать за определенное время. Проверяли и домашнее задание написать рассказ. Эти задания мне понравились больше всего. Вообще-то в школе я любила писать сочинения, особенно на свободную тему, а тут целый рассказ! Я плыла по волнам образов, которые захватывали меня своим чувством свободы и вольности, — мне нравилось это ощущение формулирования иной реальности, которая, однако, прочными нитями была связана с моей собственной реальностью, с чувствами и мыслями, которые в ту пору проживались сильнее фактов. Я написала рассказ о встрече мальчика на берегу Белого моря с девушкой, которая привела его в театр.

Меня приняли в «кулек» с оценками «5» — творческий конкурс, «4» — история, «3» — сочинение (за безграмотность). Я и сейчас пишу с ошибками, но ведь и Пушкин подтрунивал над этим фактом собственной биографии: «Как губ румяных без улыбки, / без грамматической ошибки / я русской речи не люблю...»

Мое поступление обозначило абсолютно новый период моей жизни. Кончилось детство, где меня защищали родные и близкие, и начался период самостоятельного существования. Этот Рубикон был отмечен еще одним горьким событием моей жизни — во время сдачи мною экзаменов в Люберцах по трагической случайности погибла моя бабушка. Ее сшибла пригородная электричка. А на дворе был 1986 год, и с моим детством уходил в прошлое весь советский уклад жизни страны.

2

Я начала каждый день ездить в Архангельск, который находился в часе езды от Северодвинска — моего родного города. Вставала в 6 часов и к 9 часам ехала на занятия. Запомнился штурм автобуса на вокзале, который ежедневно осуществлялся северодвинскими студентами и студентками, жаждущими уехать в Архангельск на учебу, потому что всем нам страстно хотелось какой-то другой жизни. Потом мы повисали на поручнях в салоне автобуса или (кому удалось сесть) прислонялись головой к стеклу и засыпали. Просыпались мы перед мостом через Северную Двину. Явление самой большой в этих краях судоходной реки было захватывающим зрелищем, особенно весной, когда на реке ледоход. Льдины прорезали темно-синюю волнующуюся воду, по реке шли суда, с моста был виден морской вокзал, веяло ветром с моря, и мы вдыхали полной грудью воздух романтики.

Силуэт Архангельска определяло высотное здание со шпилем и набережная, красиво разбитая, со старинными домами, улицами, площадями, она плавно заворачивала вслед за изгибом реки к Соломбале. Если идти по набережной от морского вокзала, куда прибывал наш автобус, то проходишь мимо речных судов и речного пароходства, мимо купеческих домиков XVIII–XIX веков, проходишь церковь, похожую на цветной пряник, и поморское подворье и выходишь к красивому зданию Дворца пионеров, напоминающему здания будущего из книжек про Алису Кира Булычева. Дальше набережная поворачивает, и уже мерещится морской музей и памятник Петру I, который приезжал в Архангельск еще до постройки Петербурга. Его заворожил этот приморский город. Здесь, на Соловках, Петр баловался тем, что вырезал из дерева макеты фрегатов. Теперь два петровских фрегата стоят в краеведческом музее на набережной. И, возможно, именно Архангельск вдохновил молодого царя на свой собственный город-порт.

Архангельск сразу мне понравился своею радиальной застройкой, красивой и продуманной архитектурой, набережной с ее мостами, а также улицами, площадями, зданиями, своею стариной, и традициями, и культурным напряжением. А за стрелкой на набережной начинался совсем другой Архангельск, уютный, домашний, студенческий. Здесь параллельно реке проходила аллея, вся усаженная деревьями, на которой меня всегда настигало возвышенное, лирическое настроение. Здесь располагалась кирха, из которой в 1988 году сделали концерт-

ный зал. Здесь была научная библиотека, куда все мое студенчество я постоянно ходила и где, недалеко от набережной, стояло и мое училище. Именно на этой части набережной разыгрывали летом кукольные представления двухметровыми ростовыми куклами во время мирового фестиваля кукол. И именно здесь 5 июня проходили пушкинские ночи: на шхуне «приплывал» Михайло Ломоносов, провозвестник русской поэзии, здесь каждый год читали стихи Александра Пушкина, а потом выступали поэты и музыканты и всю ночь в свободный микрофон читали стихи все желающие. А ночи стояли белые, прозрачные, совершенно безумные, когда сама природа хочет только поэзии и музыки. Вот в такой город я и приехала учиться.

3

Занятия в училище меня вдохновляли. Представьте, у нас были предметы: танец, сценическое движение, пантомима, на которых нам прививали любовь к органическому, осмысленному, одухотворенному движению нашего тела. Правда, была еще и физкультура, но мне она совершенно не нравилась. Что такое забег на 200 метров или плавание, когда можно станцевать или красиво и не больно упасть или разыграть пантомимическую сценку, от которой и тебе хорошо, и зрителям удовольствие. А самое главное — это не бессмысленное движение, а эстетическое действо. Нас учили владеть своим телом, чтобы мы могли выполнять актерские задачи в спектаклях. Также у нас была сценическая речь, и мы учились правильно дышать и говорить громко во время спектакля, потому что это тоже целое искусство.

А самое главное — у нас было актерское мастерство, когда мы целым актерским коллективом — курсом — ставили спектакли классиков и наших современников и учились режиссерско-актерскими способами выражать основные идеи произведения. То есть, по сути, мы делали понятными нашим современникам «вечные» мысли автора. Это было исполнительское искусство. Мы общались как с автором, точнее, его произведением, так и с нашими современниками — зрителями. Поэтому должны были хорошо разбираться и в литературе, и в основных направлениях жизни современного нам общества.

А время было перестроечное. Для нас, только вступающих в жизнь, также как и для всего общества, были открытиями поэты Серебряного века, которых мы читали и ставили, и советские, недавно запрещенные авторы, которых тогда печатали в журналах «Звезда», «Новый мир», «Огонек» и других.

Для меня откровением стал ахматовский «Реквием», который мы ставили по сценречи. Образом нашего спектакля была очередь, но только очередь не в магазин, а в тюрьму, — такой вот символ той эпохи. Еще мы ставили Бориса Пастернака, и в спектакле было много музыки Шопена, так что стихи Пастернака звучали особенно музыкально. Ставили какую-то музыкальную композицию по стихам Лорки с гитарными переборами… В общем, вот такая интересная учеба занимала все мое свободное время…

Но параллельно с этим учебным, познаваемым миром начинается своя, индивидуальная жизнь, жизнь собственной души. Она «пишется» рядом с «основной» жизнью, но бывает иногда более яркой и важной, чем жизнь официальная, предзаданная, выверенная, «взрослая».

4

Я встретила их тоже в театральном мире. Это была студия «А». Пятеро мальчишек-поэтов и одна девушка. Все они писали стихи и ставили спектакль по своим стихам. Назывался он «Ласка смерти». Вот так брутально — по-настоящему, как и все в этом возрасте. Я спросила, а почему «А»… Они что-то стали придумывать, типа «А» — первая буква в алфавите… но я сразу решила: «А», потому что девушку звали Алла. Это было очень по-рыцарски… и мне захотелось с ними дружить.



Меня пригласили быть осветителем, и мне это было внове — не играть самой, а только наблюдать за действием в спектакле. Спектакль был о том, что люди не замечают друг друга, что между ними везде ходит смерть, убивающая отношения между людьми. Спектакль был об отчуждении… Но поставили они его очень смешно и весело, в духе средневекового карнавала. Появлялась смерть с косой, которая ходила по зрительному залу и пугала, что кого-нибудь сейчас заберет, если люди не научаться понимать друг друга… «Смерть» играл Костя, режиссер студии «А». А в это время на сцене Вадим читал свои стихи про холод отчуждения, про высокие многоэтажные дома, в которых люди разъединены и скучают, про одиночество человека в этом мире.

Мой мир был тогда тепл и одомашнен. Он был живым и наполненным красками. Я смотрела их спектакль, сочувствуя, но не ощущая этого холода. У меня были родители, которые меня поддерживали, было «дело», которым я занималась, были подруги по училищу, были живы воспоминания о детских годах. Но спектакль посеял во мне сомнения. В это время я сама уже тайно писала стихи, только никому их не показывала. Я «отвечала» своим новым друзьям в стихах. Их мир был ветром реальности, в котором появились и для меня новые нотки. Я стала слушать «Битлз», «Pink Floyd», ходить с ребятами на рок-концерты. До этого я больше предпочитала Окуджаву, Высоцкого, Галича, Дольского. Теперь в мою жизнь ворвались «Аквариум», «Кино», «Зодчие», «Наутилус Помпилиус», Башлачев… Я слушала их и сочиняла об этом стихи: ритмичные, резкие, дерзкие, сами напоминавшие рок-тексты.

Рок-концерты, на которые мы ходили, походили на спектакли, и публика на них была разношерстная и «отвязная». Но мы не смешивались с нею, а держались особняком и чувствовали себя хорошо, только когда уходили с концерта гулять по набережной…

Мы шли долго, вдыхая ветер свободы, который продувал наши легкие. Не торопясь и почти не разговаривая, мы шли по вечереющему Архангельску, любовались розовыми закатами, которые были сродни рассветной заре нашей жизни. Иногда заходили в кафе, которое называлось «Под танком», поскольку рядом с ним стоял танк времен интервенции. Потом шли дальше по набережной и доходили до Соломбалы, где у студии «А» в Доме культуры была штаб-квартира. У нас были очень чистые взаимоотношения. Ребята нас с Алкой ценили за творческую жилку. Вообще, училища, музыкальное и культпросвет, собирали творческую молодежь города. Алла была старше меня на курс, но считалась на курсе неформалом, и вскоре ей дали там главную роль, соответствующую ее темпераменту. Алеша, который меня привел в группу, закончил музыкальное училище и учился на моем курсе, он здорово играл на гитаре и был вторым режиссером в студии «А». Костя тоже играл на гитаре и был первым режиссером, поэтому они с Алешей постоянно спорили за первенство. Вадим учился в педагогическом институте на переводчика с английского. В городе бывали англичане, приплывавшие в Архангельск по морю, и был морклуб, обеспечивавший англичанам культурную программу, где Вадим подрабатывал переводчиком. Олег тоже играл на гитаре, но, кажется, нигде не учился. С ним мы вели душещипательные разговоры, поскольку он был социально самым незащищенным из нас, и отсюда у него были комплексы.

5

Познакомившись со студией «А», я переехала в общежитие в Архангельск, чтобы у меня было больше свободного времени. Общежитие иронично называлось «Бастилия», потому что проникнуть в него было так же сложно, как в знаменитую французскую тюрьму для политзаключенных. Но жизнь в основном протекала в студенческой части набережной, где было мое училище и где жили Олег и Вадим.

Я стала брать уроки английского у Вадима, который мне нравился своим интеллектом и какой-то устремленностью к английской культуре. Он учил меня

английскому произношению, и мы переводили тексты «Битлз». Это был новый, неизведанный мною опыт, пропитанный интеллектуальным напряжением, и мне очень нравились эти уроки. Потом Вадим, у которого была красивая «степная» фамилия — Ковылов, доверил мне и свои стихи.

В его стихах было много от восприятия английской поэзии и английской культуры… «Мой друг, земля за океаном,/ туда летим, доверясь ветру,/ и даже если нас закроют, / сестра моя ,храни омерту»… (что это за такая «омерта», каждый додумывал по-своему). «Плотники, выше стропила, это не просто игра, пока разговор о мире — где-то идет война» (что-то от ветра 60-х). «Годы летят, а мы идем медленно, / Меняем одежду, меняем песни. / Встречаемся вместе, уходим, прощаемся, / Грустим в одиночестве и снова встречаемся вместе»… Но так же органично в них были вплетены реалии жизни: огонь печи в деревянном доме; грузовик, в котором путешествуют юноша и девушка; врывающиеся в тесную юношескую комнату передачи о западной жизни… Все его стихи того времени были овеяны такой тоской по высоте и непорочности взаимоотношений, но были в то же время полны юношеского максимализма и даже цинизма… Они были наполнены таким полетом в будущее, таким ожиданием настоящего в жизни, но срывались на такой сарказм, что я не смела даже подумать ни о каких других взаимоотношениях, хотя Вадим мне нравился больше всех остальных ребят. Мне было с ним интересно общаться.

Однако я, конечно, идеализировала всю компанию. Это было еще то время, когда на эротические отношения были наложены табу обществом, но уже начинали появляться откровенные фильмы и откровенные книги, а я еще хранила верность какой-то девственной тайне, я еще не готова была перейти черту, за которой, как мне казалось тогда, были грубость, пошлость и разврат. Меня оберегало советское детство. Но юность все равно была проникнута эротической непорочной нежностью, которая, не находя прямого выхода, преобразуется в стихи, спектакли, чувственное одухотворение природы, эмоциональные и экстатические переживания.

Как-то мы сидели после концерта и прогулки дома у Олега, слушали музыку, возможно, пили шампанское. Потом разбрелись по квартире в разные углы — ночевать. Проснулась я на кровати, укрытая пончо. Алла спала в соседней комнате. А ребята сидели рядом, вытаращив на нас глаза и оберегая наш сон. Мы были так не похожи на других девчонок и вели себя совсем не так, как многие, потому никто из ребят не посмел бы нас обидеть… И такое доверие друг к другу неожиданно пробуждало естественные чувства, которые мне сложно было тогда определить. Олег и Алла влюбились друг в друга. Через год-полтора у Аллы от Олега родилась дочка. А потом они поженились.

А я была еще не разбужена, еще «хранила омерту…». Меня влекло дальше по жизни. Я стала больше уделять внимание учебе, реже бывать с ребятами. А как-то раз случайно подслушала разговор Вадима и Олега, Вадим говорил Олегу что-то вроде того, что я за ним бегаю, и хорошо бы я не бегала, а просто случилось бы то, что обычно случается между мужчиной и женщиной (он выразился более резко). Я жутко обиделась. Пелена спала с глаз, очарование прошло. Передо мною были обычные парни, разговаривающие обычно и традиционно о девчонках… Мне было грустно от этого, я была не готова расстаться со своим романтическим мировоззрением и отчаянно не хотела падать с небес на землю. Я перестала ходить к Вадиму на занятия по английскому.

6

В это время жизнь в училище, а точнее, ее отражение мелькало своими акварельными красками. Мы уехали на практику в поселок Двинской, где было много творческой работы, где у меня не было ни минутки свободного времени. Небольшая группа девчонок: хореографы, театралы, музыканты и другие клубные работники, которых должны были распределить в подобный Дом культуры, начинали свою профессиональную деятельность. Ощущение от практики

осталось двойственное. С одной стороны, мне понравилась сама работа. Я разучивала со школьницами стихи Блока, организовывала вечера отдыха и была на них ведущей. Настоящей жемчужиной моей работы была постановка с учениками 9–10 классов музыкальной композиции о легендарной ливерпульской группе «Битлз». В этом меня поддерживал учитель физики местной школы. В глухом заводском поселке городского типа архангельской глубинки школьники впитывали в себя английскую музыкальную культуру 60-х годов, вдумывались в смысл знаменитых студенческих бунтов… и я бы не сказала, что эта культура была им непонятна. Песни «Битлз» так же трогали их, как мальчиков и девочек «продвинутого» Архангельска да и всего остального мира.

С другой стороны, колотящиеся в дверь номера нашей гостиницы местные мужики по субботам — это тоже была та объективная реальность, в которую мы попали. Нас сразу взяла под свою защиту местная молодежь. Появились воздыхатели. Но вели они себя с нами скромно. Впрочем, это не помешало одному вьюноше, которому я особенно понравилась своею наивностью и целомудренностью, «поносить» у меня насовсем серебряную цепочку. Такая ненавязчивая оказалась «плата» за охрану… Начались влюбленности моих подружек, и тучи над нашим пребыванием там начали сгущаться, но практика заканчивалась, и мы поспешили улететь на кукурузнике из Двинского в цивилизованный город Архангельск.

Мы уже подумывали о том, куда распределяться после учебы, и я даже заявила маме, что хочу поехать в Двинской на три года, отчего мой дедушка в Москве был просто в шоке. Но потом меня от этого отговорили.

Учебная жизнь включала в себя освоение и литературного наследия края. Мы побывали на родине Михаила Ломоносова в Холмогорах и Матигорах. Ездили на родину Федора Абрамова в Пинежский район. В Пинежье запомнился на высоком берегу реки монастырь, куда мы добрались, переправившись через реку. А время было странное. Активно восстанавливалась культура церквей и храмов. Люди валом шли креститься. Священники приобретали вес, и им возвращались культовые здания. Нас встретил молоденький священник, который жил там со своей семьей. Монастырь еще не был восстановлен, а священник жил в соседнем флигельке. Мы ездили с нашим «кукольником» — учителем по предмету «кукольное искусство». Возник вопрос о боге, о земном и небесном мире, священник спросил, чему учат в нашем училище. Тогда наш преподаватель ответил, что нас не уводят от мира, но учат «вечное», идеальное или «божественное» находить в земном, бренном, в красоте окружающей жизни, — то есть нас учат «одухотворять» земную природу. Поэтому мы, наверное, никогда не чувствовали себя приземленными, низменными и вообще людьми второго сорта. Нас, девушек, воспитывали в этом стремлении к «высокому», но чтобы это «высокое» прорастало в реальной жизни. Священник тогда сказал, что это не путь церкви. И я была рада, что иду другим путем.

7

Мы приехали в город, и начались дипломные спектакли. А вокруг все было пропитано любовью. У моих друзей по училищу и общежитию Вали и Романа (Роман был ненцем) тоже была любовь, но они любили друг друга так деликатно, что это меня совсем не обижало. Они очень тактично со мною дружили. И любовь их была именно одухотворенная. Таких отношений мне и самой хотелось. Начались наши самостоятельные режиссерские работы, и я играла у Вали в спектакле про студентов МГУ, а сама ставила «Плаху» Чингиза Айтматова с преподавателями нашего училища, из которых была сформирована актерская группа. Все поменялось. Мне доверили работать со взрослыми, зрелыми людьми. Было увлекательно и интересно, и постепенно моя душевная рана затягивалась.

Я начала присматриваться и к культурной жизни города, ходить на спектакли театра-студии Панова и театра-студии Галилюка. Именно в них аккумулировался тогда полуформальный творческий процесс, похожий на тот, который про-

исходил в северодвинской студии, где я когда-то занималась. Я интересовалась этими студиями на предмет возможной работы в них актрисой. Но еще они мне нравились своим духом.

В студии Галилюка мне особенно понравился спектакль «Корабль дураков», поставленный про фантасмагорию нашей жизни. Спектакль был решен в эстетике Брейгеля.

А студия Панова сотрудничала с польскими театрами, и Архангельск был побратимом какого-то польского города. Осуществлялись культурные контакты, польские актеры приезжали к нам, а наши ездили к ним. В студии Панова были также увлекающиеся поэзией актеры, я читала их стихи в газете «Северный комсомолец». Тогда-то я и поняла, в чем разница между актером и поэтом. Актер проживает чужие жизни, в которых он растрачивает свою, а поэт проживает только свою собственную, индивидуальную жизнь, которую он оценивает и в которой только «отражаются» другие жизни или события, все то, что попадает в поле его зрения.

Как-то в газете я прочитала впервые стихи Юлии Матониной, поэтессы, жившей на Соловках и в 25 лет покончившей с собой. Стихи были именно о том одиночестве, о котором писал и Вадим, но еще более беззащитные, еще более хрупкие и прозрачные, еще более совершенные. Юлия Матонина переживала это одиночество одна и всерьез, а мы еще как-то грели друг друга… Нам помогала преодолеть эту обнаженность жизни и учеба, и друзья по училищу, и защита культурой… Мы жили не только и не совсем в реальности, но и в культурном пространстве, таком разнообразном, в котором есть не только холод, но и помощь в преодолении его. Великие авторы прошлого с их жизненными советами, жизненным опытом приходили нам на помощь. Помогали и реальные, окружавшие нас люди. Жизнь представала перед нами, юными, всеми своими красками. И мы любили тогда жизнь больше смерти и ее ласки.

Летом мы уехали всем курсом в путешествие по Вилигодскому району Архангельской области как труппа бродячего театра. Нам дали лошадь и кибитку, как настоящим странствующим комедиантам. В кибитке ехали наши вещи, а мы шли за кибиткой пешком. Это было романтическое приключение, овеянное шлейфом театральной романтики, и нам оно очень понравилось. Мы давали по три представления в день: музыкальную композицию по стихам Федора Абрамова; кукольное представление с петрушкой и спектакль всех театральных трупп — «Беда от нежного сердца».

Мы попали и на деревенскую свадьбу, и за мною стал немного ухлестывать деревенский парень. Но все связанное с эротикой вызывало теперь у меня особо критический подход, и парень, подумав, ушел восвояси. Мы возвращались на речном пароходике. По ходу пути к нам на борт спустилась команда с речной баржи, и мы давали им концерт. А потом снова юный моряк моего возраста хотел со мною подружиться, но не решался, все было теперь так не просто, наш пароход влекло дальше, и баржа осталась за бортом. Мы вернулись в Архангельск.

8

Начинался новый семестр, последний. Мне нужно было сдавать спектакль по «Плахе» и защищать диплом. Наша концертная деятельность в городе продолжалась, и нам предложили сыграть рок-спектакль «Кошкин дом» для посетителей морклуба. Я знала, что в морклубе бывает и Вадим, и разволновалась. Мы отыграли спектакль, и нам разрешили погулять по клубу. В баре я заказывала кофе, когда почувствовала, что подошел Вадим. Я обернулась. «Извини, — сказал он. — Ты все не так поняла». — «Ничего», — холодно сказала я и отошла. Я пила кофе и вся горела. Буря чувств проносилась в моей душе. Я думала: верить или не верить ему, какой он? где он настоящий? Потом, проходя мимо теннисного стола, я снова увидела Вадима. Он играл с кем-то в теннис. Вадим казался подавленным, он был бледен и посмотрел на меня как-то виновато. Я была смущена.

В городе я встретила Аллу. У нее все как-то очень хорошо складывалось, и я порадовалась за нее. Она сказала, что вообще-то это она виновата, что Вадим тогда так сказал, что она имела неосторожность намекнуть ему, что он нравится мне… В этом возрасте все так серьезно и так случайно, все так хрупко и так невозвратимо…Алла как-то рассеянно и ненавязчиво сказала, что Вадим просил меня зайти. Я долго не шла, колебалась. Гордость боролась во мне с другим чувством. Но все-таки я зашла. Вадим, как прежде, говорил со мною деликатно, робко и с уважением. Прежнее ощущение романтики возвращалось в наши отношения. Но трещина разъединения уже неумолимо разрасталась, обстоятельства накручивались, как снежный ком.

Мне предложили после распределения остаться работать в Архангельске, поскольку мама у меня болела, а с папой они в это время уже разошлись, и я была единственная, кто мог о маме позаботиться. А я подумывала ехать с мамой в Екатеринбург (тогда еще Свердловск), куда меня пригласила знакомая режиссер работать актрисой. Я пришла сказать Вадиму, что уезжаю.

...Мы сидели и молчали. Заканчивалась наша юность, впереди ждала взрослая жизнь, с ее трудностями и надеждами, но что-то безвозвратно уходило навсегда, и мы понимали это. Вадим протянул мне две тетрадки со своими стихами. Одно мне запомнилось особенно четко…

Не плачет ива у воды,
То скверы шелестят углами.
Меж деревянными домами
Оставил день свои следы.
Луна взойдет на небосклоне —
Не отводи свои глаза,
Наполни, ветер, поскорее
Опавших листьев паруса,
Воскресни, ночь, в бесшумном танго,
Сном белым напои мосты…
Уже закрыты двери «танка»,
Столы на улицах пусты…

И остается лишь подняться,
Щелчком монету бросить вдаль.
Не стоит больше удивляться,
Пора перевернуть медаль…

Юность пишется с белого листа, и она не переписывается заново. Этот опыт на всю жизнь. Я и сейчас думаю, что пила ее — чистую и прозрачную, словно ключевую воду, напиваясь на всю жизнь, и так и не могла ею напиться. В это время в стране происходили события, кардинально развернувшие жизнь общества, словно корабль, который плыл по теплым средним широтам, а теперь повернул в сторону Ледовитого океана (из социально ориентированного государства — в сторону капитализма...). Но в это время наша личная жизнь развивалась по другим, внеисторическим, собственным глубинным законам, которую жизнь общества задевала лишь по касательной. Общество, конечно, определяло общий фон нашей жизни, но все личное, что случалось с нами, зависело от нас. И именно мы были творцами своих судеб, и именно тогда происходило формирование наших личностей.

9

Я снова стала встречаться с ребятами. Мы начали ходить на перестроечные фильмы: «Легко ли быть молодым?», «Плюмбум», «Иди и смотри», на фильмы Андрея Тарковского «Жертвоприношение», «Иваново детство», «Ностальгия», фильм Абуладзе «Покаяние». Эти фильмы тоже формировали наше мировоззре-

ние. Мы жили еще большей частью чувствами, и фильмы обращались к нашим чувствам, делая прививку от пошлости на всю жизнь.

Как-то мы поехали в Малые Карелы — это музей под открытым небом недалеко от Архангельска… И снова дух «Битлз», 60-х и «Pink Floyd» завладел нами. В Малых Карелах собраны деревянные постройки со всей Архангельской области. Это дома XVII–XIX веков, деревянные церкви и часовни с «чешуйчатыми» куполами, амбары и колодцы с деревянными колесами и другие строения.

Музей раскинут на широкой территории в холмистой местности, и между холмами были наведены мосты и деревянные лестницы. Особенно красиво в Малых Карелах осенью, когда строения утопают в желто-бордовых листьях. В этом месте складывается ощущение разрушения и преодоления барьеров. Красота вообще располагает ко внутренней свободе. Хорошо дышится, хорошо мечтается о будущем. И нам захотелось немного пошалить. Мы забрались на крышу деревянной баньки и начали танцевать рок-н-ролл. Солнце уже клонилось к закату, и на небе началась та вечерняя ало-оранжевая мистерия, которая уводит душу в иные измерения. На фоне закатного неба на старинном строении четыре юных, тонких силуэта танцевали свой молодежный танец — танец любви, танец печали и танец расцвета…

Отрезвили нас милиционеры, пришедшие следить за порядком. Костя побежал их отвлекать, и мы быстро ушли с этого места.

А вскоре я уехала в Северодвинск работать, и неожиданно у меня появился жених, а потом мы с мамой действительно переехали в Екатеринбург. Но я всю жизнь вспоминаю об этих годах как о той жизненной и культурной почве — чистой и одухотворенной, из которой выросла моя личность, и той духовной первооснове, благодаря которой и складывается теперь моя судьба.

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Губайловский
Письма к учёному соседу

Письмо 10. Поэзия и работа мозга

Мне говорят: «Визуальные искусства вытесняют чтение. Визуальное окончательно победило вербальное. Мы забыли книги и предпочитаем смотреть сериалы».

В этом есть много правды, но, на мой взгляд, дело обстоит не совсем так. Не знаю, был ли Советский Союз «самой читающей страной», но, кажется, советский человек (да и не только советский, а вообще человек индустриальной эпохи) читал другое и по-другому.

Объем чтения, объем потребления вербальной информации в последние лет десять как раз сильно увеличился. Когда человек «зависает» в Фэйсбуке или «Вконтакте» ежедневно часа на два-три (что совсем не редкость), он в основном читает. Но Фэйсбук воспринимается как отдых, и нагружать себя трудными текстами, которые требуют критического осмысления и интерпретации, хочется не всегда (честно говоря, очень редко хочется).

Чтение фрэнд-ленты — это именно серфинг, то есть скольжение по поверхности, с редкими необременительными погружениями: нырнули за красивым камешком (повелись на броский заголовок), прочитали (а точнее, пробежали глазами примерно 20% текста), выскочили и поскользили дальше.

Фактически Фэйсбук, как и другие социальные сети, — бесконечная (именно бесконечная — дочитать достаточно большую фрэнд-ленту до конца невозможно) колонка происшествий, анекдотов, случаев или разговоров «пикейных жилетов», то есть последняя страница старой «Литературки». Но «Литературка» состояла не только из «Клуба 12 стульев».

Спрос в данном случае рождает предложение: трудные тексты вымываются, их не «лайкают», не «расшаривают», и они благополучно тонут. «Очень много букв» — это приговор.

Но объем прочитанного огромен: постоянный пользователь Фэйсбука прочитывает за день десятки тысяч знаков, за месяц — это объем «Войны и мира».

Вне Сети люди в основном читают детективы, фантастику, дамские романы и раздражаются, когда вдруг сталкиваются со сложными, не сразу понятными текстами, а все глубокие тексты, увы, именно таковы.

Я совершенно не хочу беспощадно бранить наш век, но должен констатировать именно такое положение дел.

Почему такое положение дел не очень хорошо в первую очередь для самого читателя, я и попробую поговорить. Сразу отмечу главное — мозг при поверхностном чтении гораздо менее активен, чем при чтении трудном. И если он почти все время недогружен — он деградирует.

Еще в 2006 году доктор биологических наук Елена Наймарк написала заметку[1], в которой подробно рассказала об эксперименте, поставленном группой британских ученых (ну куда же деваться, если они действительно — британские ученые) под руководством Филипа Дэвиса. Я приведу достаточно большой

[1] *Елена Наймарк.* Чтение Шекспира активизирует работу мозга. http://www.svoboda.org/content/article/368641.html

фрагмент из ее давней заметки вот почему. Сравнительно недавно, в 2013 году, о работе Филипа Дэвиса написал The Telegraph[2] и привлек к его результатам широкое внимание. Когда мы с Еленой обсуждали работу Дэвиса, она высказалась о ней достаточно скептически, но теперь, по-видимому, можно сказать, что результаты вполне подтвердились.

«Лингвист Филип Дэвис из Школы Английского Языка Ливерпульского Университета (Philip Davis, from the University's School of English)... доказал, что шекспировские тексты, в отличие от обычных, заставляют мозг активно работать.

Сам «литературно-физиологический» эксперимент был довольно тривиален. 20 испытуемых читали предложения из пьес Шекспира, а в это время энцефалограф регистрировал электрическую активность их мозга (ЭЭГ). Чтобы исключить эффект узнавания, для эксперимента выбирали не слишком известные шекспировские фразы. Также с помощью аппаратуры для функциональной магнитно-резонансной томографии снималась и томограмма мозга. Функциональная томография позволяет получить пространственный портрет возбужденных нейронов непосредственно во время работы мозга.

ЭЭГ испытуемых во время чтения шекспировских фраз оказалась не похожа на ЭЭГ читающих обыденные или бессмысленные тексты. Как пояснил участник исследования профессор-нейрофизиолог Нил Робертс, когда человек читает бессмысленный текст, состоящий из привычных слов, то на его ЭЭГ появляется особый минимум, так называемый эффект N400. Он означает, что слова не восприняты мозгом. Этой отрицательной волны при обычном чтении не возникает. Когда же предлагается для прочтения осмысленный, но грамматически «корявый» текст, то энцефалограф вычерчивает положительную волну, так называемый эффект N600. Этот эффект продолжается еще некоторое время после окончания чтения, то есть мозг продолжает заниматься перепроверкой смысла неправильно (или необычно) употребленного слова. При чтении Шекспира на ЭЭГ появляется именно такая N600-волна.

Исследователи объясняют появление эффекта N600 неожиданным использованием слов, при котором слово приобретает редко используемый смысловой оттенок или меняет смысл вовсе. Например, Шекспир часто заменял глаголы существительными (например, «To lip the wanton women» — здесь существительное lip употреблено в значении to kiss). Подобную манеру, свойственную не только Шекспиру, но и другим классическим английским поэтам — Чосеру, Водсворту, литературоведы называют «функциональным сдвигом».

Функциональный сдвиг заставляет мозг сначала распознавать слово, затем определять смысл предложения, а после заново реконструировать значение использованного слова. Получается, что для понимания такого предложения мозгу приходится выполнить тройную работу. На томограммах испытуемых видно, что при чтении фраз из Шекспира расширяется область работающих нейронов. Особенно активизируется область теменной доли и нейроны Сильвиевой борозды, ответственной за лингвистический анализ. Мозг начинает интенсивно работать».

Дэвис сказал The Telegraph, что чтение классиков действует на мозг «как ракета». Это, конечно, красиво, но все-таки недостаточно конкретно. Кроме того, Дэвис отметил, что при чтении классиков повышается активность в зонах мозга, ответственных за «автобиографическую» (или эпизодическую) память.

Скачок активности мозга происходит тогда, когда мозг сталкивается с трудной, но разрешимой задачей. Если задача неразрешима, то есть текст с точки

[2] Shakespeare and Wordsworth boost the brain, new research reveals. By Julie Henry, Education Correspondent. 13 Jan 2013. http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/9797617/Shakespeare-and-Wordsworth-boost-the-brain-new-research-reveals.html

зрения мозга бессмысленен, мозг быстро «гаснет». Если задача проста, то мозг возбуждается слабо и работает вполнакала. Это основные выводы из эксперимента Дэвиса.

Восприятие Шекспира в экспериментах Дэвиса очень похоже на то, как читатель воспринимает «поэзию абсурда». Я позволю себе привести цитату из своей статьи, посвященной именно такой поэзии.

«Чему противостоит абсурд как эстетическая категория? Можно сказать, что он являет собой отрицание разумности и осмысленности. Но это не всегда так. Наиболее рациональные то есть разумные и осмысленные тексты, — это тексты математические: мало того что они допускают точную интерпретацию, но и ровно одну интерпретацию. Но разве написанные на доске лебединые шеи интегралов или зубастые сигмы с бахромой индексов не кажутся людям, не знакомым с математическим формализмом, самым что ни на есть абсурдом?

Необходимо признать, что абсурд противостоит не разумности вообще, а довольно специфической и узкой части разумности — “здравому смыслу”. Именно здравый смысл и провоцирует эстетику абсурда на все ее преувеличения, на всю ее игру, иронию и пародию.

В этом смысле математический текст, безусловно, такой же абсурд, как и стихи капитана Лебядкина: он так же далеко отстоит от норматива здравого смысла.

Пастернак писал в “Нескольких положениях”: “Безумие доверяться здравому смыслу, безумие сомневаться в нем”. На этой узкой полосе — между сомнением и доверием — и существует поэзия: в области, пограничной здравому смыслу. Чуть дальше от здравого смысла — и поэзия теряет связь с осмысленным пространством: это неограниченно большая (бесконечная) область полной свободы от осмысленности. Здесь отсутствует абсурд как эстетическая категория»[3].

Поэзия находится в пограничной зоне. И главное ее качество, которое выводит ее из области «здравого смысла», из области прагматических сообщений, — неоднозначность, неопределенность значений слов, синтаксические «нарушения», а вот они-то и будят мозг и заставляют его работать, как мы видим по исследованиям Дэвиса. А простая, «плоская проза» скользит по поверхности здравого смысла, использует только высокочастотные значения слов, упрощенный синтаксис, — и мозг следит только за конфликтом, только за развитием сюжета, его ничто не смущает и не заставляет останавливаться, задумываться, а значит, развиваться.

Интерпретация стихов всегда представляет собой трудную задачу. И это касается не только поэзии абсурда (обэриутов, например) или таких сложных поэтов, как Мандельштам или Пастернак. Это также верно и для стихов Есенина или Пушкина, не говоря уже о поэтах современных, выстраивающих довольно непростые текстовые конструкции.

Мандельштам писал в «Разговоре о Данте»: «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося “солнце”, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить — значит всегда находиться в дороге»[4].

«Солнце» необычным словом не назовешь. И тем не менее в стихах оно теряет свою прагматическую определенность и становится загадкой, требующей разрешения.

---

[3] *Владимир Губайловский.* Дядя Степа милицанер (об абсурде в поэзии). — «Арион», 2006, № 3.

[4] *Осип Мандельштам.* Разговор о Данте. — В кн.: Мандельштам О. Э. Слово и культура: Статьи. М., «Советский писатель», 1987.

То, что мы читаем стихи не так, как простую прозу или нон-фикшн, — очевидно. Но вот каков механизм этого чтения? Как работает при этом мозг?

Я расскажу об эксперименте, поставленном нейробиологами из Университета Карнеги Меллон — Робертом Мэйсоном и Марселем Джастом[5], которые с помощью метода fMRT (функциональной магнитно-резонансной томографии) исследовали работу мозга при чтении и интерпретации предложений, содержащих слова с неопределенным значением.

На самом деле почти все слова языка имеют более одного значения. Это не исключение, а правило. Слова, имеющие ровно одно значение, — это почти всегда термины, которые к тому же чаще всего имеют иностранное происхождение — греческое или латинское. Это делается намеренно, чтобы отсечь возможные неоднозначности и точно ограничить область значений. Термины используются не для того, чтобы сделать текст намеренно трудным, ровно наоборот — термин отсекает все лишние значения и несет строго определенный смысл. Это очень важно для корректного понимания научных текстов.

Даже такие вроде бы совершенно определенные слова, как «трава» или «вода», — неоднозначны. Скажем, «трава» кроме своего главного значения — «травянистое растение» — имеет, например, смысл «безвкусная еда» или на сленге — «марихуана». А «вода» может значить — «пустая, не содержащая новой информации речь».

В простой прозе (например, pulp fiction), как правило, востребовано одно значение слова, а вот в поэзии все иначе. Говоря словами Мандельштама, в поэзии мы имеет дело с «пучком» смыслов, из которых нам еще только предстоит выбрать наиболее точное значение, и таких значений может оказаться несколько.

Мозг напряженно работает. Он не только приписывает слову значение, он это значение перепроверяет контекстом, строит интерпретацию и, если эта интерпретация оказывается некорректной, «возвращается» назад, чтобы перечитать и заново интерпретировать высказывание. (О такого рода «тройном чтении» пишет и Елена Наймарк.)

При чтении стихов мозг загружен несравнимо сильнее, чем при чтении простой прозы, но почерпнутый смысл может оказаться гораздо богаче — он появится не как данность, а как следствие решения задачи, иногда весьма сложной.

Это очень полезно. Но о пользе (совершенно прагматической) поэзии мы поговорим в конце этих заметок.

Мэйсон и Джаст рассматривали неопределенности двух разных видов. Ученые называют первый вид неопределенности *симметричным* (balanced), а второй — *смещенным* или *несимметричным* (biased).

В первом случае два значения имеют примерно равную частотность в языке, и оба активно используются.

Вот пример симметричной неопределенности[6]:

Он поднял лист, покрытый сеткой прожилок.

---

[5] Lexical ambiguity in sentence comprehension. Robert A. Mason, Marcel Adam Just. Center for Cognitive Brain Imaging, Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. — Brain research. 1146 (2007), p. 115–127.

[6] В тексте заметки я привожу придуманные мной самим примеры из русского языка, в статье приведены, естественно, английские предложения. Вот примеры из статьи:

Balanced. «Of course the pitcher was often forgotten because it was kept on the back of a high shelf». Слово «pitcher» имеет два примерно одинаковых по частотности значения: первое — специализация игрока в бейсбол — «подающий», второе — «кувшин». В данном случае для правильной интерпретации нужно взять второе.

Biased. «This time the ball was moved because it was always so well attended». У слова «ball» кроме высокочастотного «мяч» есть и довольно редкое значение «бал». Если «мяч» — это доминирующее значение, то используемое в данном случае «бал» — подчиненное.

Слово «лист» может значить и «лист бумаги», и «лист дерева». То, что в приведенном примере используется значение «лист дерева», мы понимаем, только дочитав предложение до конца, поскольку поднять можно и лист бумаги, и лист дерева.

В несимметричном случае различаются доминирующий смысл и подчиненный. Неопределенность возникает, как правило, в том случае, когда в предложении используется именно подчиненный смысл.

Приведу пример несимметричной неопределенности:

Рубашка была белая, без рисунка, но дама выглядела изящно, он положил карту на стол и сделал ставку.

Слово «рубашка» имеет, по крайней мере, два значения — «деталь одежды» или «внешняя сторона игральной карты», причем значение «деталь одежды» гораздо более частотное. «Внешняя сторона игральной карты» — значение специализированное и сравнительно редко используемое. Слово «дама» тоже имеет два значения — «женщина» и «игральная карта», например, «дама пик». И в этом случае первое значение более частотно.

Мы уверенно приписываем первое значение обоим словам, но потом сталкиваемся с неверной интерпретацией и вынуждены предложение заново интерпретировать[7].

Работа мозга при интерпретации такого рода неопределенностей связана еще с индивидуальными особенностями читателя — с объемом его рабочей (или краткосрочной) памяти[8].

В эксперименте использовались как предложения с неопределенными значениями, так и контрольные предложения, где никаких неопределенностей не возникало. Испытуемым предлагали разные тексты и сравнивали активность мозга в разных случаях.

В эксперименте рассматривались четыре случая:

- симметричная неопределенность при большом объеме рабочей памяти;
- симметричная неопределенность при малом объеме рабочей памяти;
- несимметричная неопределенность при большом объеме рабочей памяти;
- несимметричная неопределенность при малом объеме рабочей памяти.

В первом случае наблюдалась повышенная активность *левой нижней лобной извилины* и *левой верхней височной извилины*. Это практически нормальная ситуация при чтении. Мозг не фиксируется на слове, имеющем симметричное неопределенное значение, он просто выбирает любой вариант — практически бросает монетку. Если интерпретация корректная — это и есть нормальное, гладкое чтение. По-видимому, мозг, делая выбор значения, продолжает удерживать в рабочей памяти и предложение, и оба значения слова: в приведенном мной примере при ошибке интерпретации мозг готов применить значение «лист дерева», если первоначально был сделан выбор «лист бумаги». Если ошибка возникла, мозг заново интерпретирует смысл предложения, — время чтения увеличивается, активность возрастает. Но вся активность сосредоточена в левом полушарии — *лобной* и *височной долях*.

Во втором случае (симметричная неопределенность при малом объеме рабочей памяти) ситуация сложнее. Начинается все аналогично: мозг «бросает монетку» и выбирает значение неопределенного слова. Но при малом объеме рабочей памяти довольно неожиданно возбуждается не только левое, но и правое полушарие — *правая нижняя лобная* и *правая верхняя височная извилины*. При левополушарной интерпретации значения ясны мозгу, а вот при правополушарной — возникают приблизительные значения: они нечеткие и их может быть

---

[7] На этом принципе построены многие юмористические истории, например, серия анекдотов про Штирлица. Приведу один пример: «Штирлиц сунул вилку в розетку. Он не знал, что из розетки едят ложечкой».

[8] Подробнее о краткосрочной памяти см.: Владимир Губайловский. Письма ученому соседу. Письмо № 4. О природе памяти. — «Урал», 2014, № 5.

много. Но основная работа в данном случае все равно сосредоточена в левом полушарии.

Здесь нужно отметить, что при симметричной неопределенности повторная интерпретация, как правило, заканчивается удачей — мозг находит точный смысл предложения.

В несимметричных случаях мозг активизируется гораздо сильнее.

Независимо от объема рабочей памяти в несимметричном случае всегда активизируется правое полушарие, причем не только *лобная* и *височная доли*, но и *островок*, что особенно важно: *островок* связан с эмоциями, он важен для таких ментальных процессов, как самопознание и интерперсональный опыт, то есть опыт общения с другими людьми.

Чтение замедляется, повторная интерпретация может закончиться неудачей, то есть мозг так и не сможет понять, каков же смысл предложения, — неудача более вероятна при малом объеме рабочей памяти. Кроме того, перед мозгом возникает и другая задача: ему необходимо подавить неверную интерпретацию — попросту стереть ошибку. И он, пытаясь это сделать, опять-таки может потерпеть неудачу, потому что «стирание» запускается только тогда, когда согласованная интерпретация уже получена. Если адекватная интерпретация так и не находится, — внимание рассеивается и активность мозга падает.

Отсюда несколько важных следствий. Подключение правого полушария дает несколько размытую, но зато более широкую и даже эмоциональную картинку. Большой объем рабочей памяти позволяет чаще получить согласованную интерпретацию.

Ученые все измерили, сделали красивые томограммы. Молодцы. А я попробую применить эти результаты для объяснения процесса чтения стихотворного текста.

Стихотворение практически всегда содержит неопределенности несимметричного типа, то есть поэт использует редкие (низкочастотные) значения слова (даже хорошо известного в своем высокочастотном значении читателю), причем эти значения могут запросто нигде и никогда больше не встречаться, если мы имеет дело с идиолектом. А мы с ним в поэзии дело имеем регулярно.

Для корректной интерпретации предложения нам только самого этого предложения может не хватить: может оказаться, что стихотворение нужно дочитать до конца. То есть для интерпретации даже большой рабочей памяти может оказаться недостаточно.

Если мозг сталкивается со словами, которые человек видит впервые, мозг снижает активность: он не может их интерпретировать и попросту пропускает — у него нет шанса их правильно понять (по крайней мере, при первом чтении). То есть интерпретация будет строиться без этих впервые прочитанных слов.

Из этого следует, что при чтении стихов практически всегда резко активизируется правое полушарие — и *лобная доля*, и *височная*, и *островок*. Правое полушарие дает целый набор приблизительных значений, и начинается повторная интерпретация, возможно, даже не одна, а несколько. При этом активируются зоны долгосрочной декларативной памяти, как эпизодической, так и семантической (о чем говорил Дэвис), которые локализуются в том числе и в *средней височной доле*, которая находится рядом с активной при интерпретации несимметричных неопределенностей *верхней височной долей.*

Чтение стихов дело медленное, но мозг необыкновенно активен.

Возьмем в качестве примера четверостишие из стихотворения Мандельштама.

От сырой простыни говорящая —
Знать, нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

В первой же строке встречается слово «простыня». Это типичный пример несимметричной неопределенности: высокочастотное значение «постельное белье» оказывается неверным при интерпретации, поскольку в данном случае поэт использует значение «киноэкран». Но это становится ясно далеко не сразу. Во второй строке мы сталкиваемся с еще более трудной ситуацией: правильная интерпретация слова «рыбы» — «фигуры актеров немого кино» встречается достаточно редко. Слово «звукопас» — авторский неологизм, который встречается только в этом в стихотворении. Только дочитав до третьей строки, мы сможем построить разумную интерпретацию первых двух: «картина звучащая» — это «звуковое кино». Ну а когда мы дочитаем стихотворение до самого конца, мы узнаем, что имеется в виду фильм «Чапаев».

Для того чтобы интерпретировать стихотворение, мы должны постоянно возвращаться назад, подбирая значения слов, но очень часто, как, например, в этом четверостишии Мандельштама, мы сталкиваемся с тем, что несимметричная неопределенность не одна — их несколько. Это приводит к тому, что возникает дерево интерпретаций: вот тот самый «пучок смыслов», о котором и говорит Мандельштам в «Разговоре о Данте».

И в заключение несколько слов о пользе поэзии (и вообще трудных текстов). Считается, что заучивание стихов развивает память. Почему это происходит (и происходит ли вообще), как правило, никто не задумывается. А напрасно.

Как показывает эксперимент Мэйсона и Джаста, мозг при интерпретации неопределенностей (особенно неопределенностей несимметричных) работает интенсивнее, чем при чтении однозначно определенных текстов. И одним из главных условий правильной интерпретации является достаточный объем краткосрочной памяти. Вот ее-то мы и тренируем, когда читаем стихи, но не тогда, когда мы их механически заучиваем, а когда пытаемся их понять и выстроить собственную, корректную интерпретацию.

Главное не заучивание стихов, а их понимание. Хотя нельзя не отметить, что заученные стихи, которые хранятся в нашей памяти, обычно (но не всегда) мы понимаем лучше, — мы их просто читали много раз.

Заучивание стихов — это не самоцель, это только хорошее подспорье для понимания, но одного заучивания недостаточно, и само заучивание — необязательно.

Мозг — гибкая, адаптивная система. Нейронные сети работают хорошо, когда они работают постоянно и под хорошей нагрузкой. Трудные художественные тексты и особенно стихи — это как раз хорошая нагрузка. Она нужна и как профилактика, особенно в зрелом возрасте, когда большинство наших действий и размышлений укладывается на плоскости здравого смысла и сводится к повторению известного.

Не надо давать мозгу шанса расслабиться. Мы уже как-то привыкли, что надо бегать по утрам, делать гимнастику, ходить в тренажерный зал. А ведь это не только полезно, но еще и приятно, если удается преодолеть лень и пустую занятость. И тогда мы почувствуем «мышечную радость» — кровь приливает к мышцам.

Но трудные тексты — это как раз такая гимнастика мозга: когда мозг работает, к его долям и извилинам, занятым в процессах понимания, припоминания, выбора и интерпретации, точно так же приливает кровь. И это тоже приятно — приятно понять сказанное поэтом, потому мир становится богаче, полнее, шире.

Может, все-таки отложить ненадолго планшет и Мандельштама перелистать или Шекспира?

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ

Сергей Беляев

Екатеринбургский музыкальный кружок: история в лицах

Этот очерк продолжает цикл публикаций о деятелях Екатеринбургского музыкального кружка — легендарного объединения городской интеллигенции конца XIX — начала XX веков. Первые очерки из этого цикла увидели свет на страницах «Урала» несколько лет назад[1].

На сей раз героем повествования стал музыкант, имя которого со временем оказалось в числе незаслуженно забытых. Между тем портрет этого человека, безусловно, должен занимать видное место в галерее представителей ЕМК. Людвиг Эммануилович Гойер (1863–1895) — а именно о нем пойдет речь — отдал Уралу лучшие годы своей яркой, но, увы, короткой жизни. Когда-то он пользовался известностью в Ирбите и Перми, но особенно хорошо его знали в Екатеринбурге. Здесь воспитанник Московской консерватории, капельмейстер театрального оркестра был кумиром городской публики. Эпитет «талантливый» (и даже «талантливейший») чаще всего сопровождал упоминание имени музыканта в газетных рецензиях. И, судя по всему, столь высокая оценка его профессиональных качеств являлась заслуженной: строгие критики тех лет — П.Н. Галин и П.П. Баснин — в своих отзывах были крайне скупы на похвалу.

В состав ЕМК Гойер вошел в конце 1880-х годов. Несколько последующих лет — вплоть до кончины — он оставался едва ли не единственным профессиональным музыкантом, сотрудничавшим с этим любительским объединением.

Напомним, что ЕМК, как и множество подобных кружков и обществ, действовавших во второй половине XIX века в провинциальных городах, представлял собой общественное театрально-концертное объединение, созданное по инициативе энтузиастов-любителей. Члены кружка по роду своих основных занятий были связаны с ведомствами и учреждениями, от музыки весьма далекими. Среди кружковцев встречались чиновники, банкиры, предприниматели, юристы, врачи, педагоги. Рамки официально разрешенной активности кружковцев четко обозначал устав, утвержденный в МВД в сентябре 1880 года. В первом параграфе этого документа записано следующее: «Екатеринбургский музыкальный кружок учреждается с целью устройства музыкальных вечеров и спектаклей, как для усиления средств самого кружка, так и с разными благотворительными целями».

Статус любительского объединения, однако, никогда не служил препятствием для пополнения рядов членов ЕМК профессиональными музыкантами. Правда, таких специалистов во всем уездном Екатеринбурге тогда можно было

Сергей Беляев — искусствовед, автор книг, учебников, статей, посвященных истории культуры Урала. Постоянный автор журнала «Урал».

[1] См.: «Урал», 2006, № 3, 4, 7; 2007, № 3.

пересчитать по пальцам. Поэтому в составе кружка за более чем тридцатилетнюю историю его существования музыкантов, имевших диплом «свободного художника», было немного.

Первые выпускники консерваторий появились в городе в начале 1880-х годов, в период становления ЕМК. Но их сотрудничество с ЕМК не было продолжительным и особенно успешным. По каким-то причинам разошлись пути кружковцев и воспитанника Московской консерватории, певца Сергея Васильевича Гилева. Недолгим было участие в деятельности объединения выпускника другой — Петербургской — консерватории, пианиста Василия Степановича Цветикова.

А вот творческие взаимоотношения ЕМК и маэстро Людвига Гойера складывались более удачно: разностороннее сотрудничество сохранялось несколько лет и, видимо, не омрачалось серьезными разногласиями.

***

Детство и юность будущего любимца екатеринбургской публики прошли далеко от Урала. Уроженец Бессарабской губернии, рано лишившийся отца, маленький Людвиг воспитывался у бабушки в Одессе. Кочевой образ жизни матери, служившей актрисой в провинциальных театральных труппах, не позволял мальчику видеться с ней часто. Лишь несколько гимназических лет он провел с матерью. Но постоянные переезды из города в город — к месту работы очередной театральной антрепризы — осложняли обучение мальчика. Скитания по провинциальным гимназиям закончились для Людвига в четырнадцать лет. Способного подростка приняли в Московскую консерваторию, окончив которую, он, так же как и мать, связал свою жизнь с театром, встав за дирижерский пульт.

Самостоятельную творческую деятельность Гойер начал в Симбирске и Казани. Вероятно, в одном из этих городов он познакомился с Петром Петровичем Медведевым. Встреча с этим толковым, знающим свое дело антрепренером (ставшим впоследствии близким другом Гойера) предопределила дальнейшую судьбу музыканта. Медведев пригласил начинающего капельмейстера в свою труппу, отправляющуюся на Урал.

Первый же сезон (1887/88 годов), проведенный в Екатеринбурге, принес молодому дирижеру славу и звание любимца публики. Надо заметить при этом, что завоевать такой успех он смог, работая в составе драматической труппы. Возможность проявить свой дирижерский талант в оперетте и даже в опере, исполнявшейся иногда опереточными артистами, Гойеру представилась позднее, в последующих сезонах. Вначале в его распоряжении был небольшой оркестр, который не принимал непосредственного участия в спектаклях, а по традиции того времени выступал только в антрактах (а их, кстати, было немало — за вечер в театре могли быть показаны две, а иногда и три пьесы). Преобразившийся с приходом молодого маэстро коллектив оркестрантов и обновленный репертуар приковывали внимание городской публики. Теперь она не устремлялась в антрактах в буфет, как обычно бывало ранее, а оставалась в зале, чтобы послушать очередную новинку, подготовленную оркестром.

Такая же картина сохранялась в течение всех семи сезонов, проведенных Гойером в Екатеринбурге вместе с антрепризой Медведева. Появление имени всеми любимого дирижера в списках труппы каждый раз с нескрываемой радостью встречали и зрители, и критики. Как заметил «летописец» театрально-концертной жизни города 1880-х годов Галин, один только факт присутствия Гойера во главе театрального оркестра «служил ручательством как за достоинство исполнения, так и за разнообразие музыкального репертуара».

Вот только детально восстановить этот репертуар уже вряд ли удастся. В анонсах предстоящих спектаклей и бенефисов — так же как и в рецензиях на них — лишь иногда упоминались отдельные сочинения, включенные в програм-

мы «разнообразных антрактов». Но и эти отрывочные сведения позволяют сделать некоторые выводы.

Встав за дирижерский пульт театрального оркестра, Гойер довольно быстро распрощался с репертуаром, доставшимся ему в наследство от предшественника. Вместо маршей он начал исполнять «настоящую» музыку: увертюры, оркестровые фрагменты из опер, переложений сочинений русских и зарубежных композиторов. Для города, не имевшего постоянных симфонических сезонов, такое репертуарное обновление имело несомненное просветительское значение.

К числу особых заслуг Гойера следует отнести пропаганду сочинений русских композиторов — Глинки, Даргомыжского, Серова, Рубинштейна, Чайковского. С творчеством этих авторов екатеринбургская публика того времени была знакома очень мало. Сам дирижер, видимо, с большой симпатией относился к музыке Чайковского и часто включал сочинения своего выдающегося современника в программы выступлений в театре и вне его. Отметим, в частности, участие оркестра под управлением Гойера в екатеринбургской премьере трагедии Шекспира «Гамлет» с музыкой Чайковского, состоявшейся в сезоне 1892/93 годов. Внимания заслуживает не только успех этого спектакля (он был показан дважды), но также и то, что его постановка в Екатеринбурге состоялась спустя чуть более года после первого представления на театральных сценах Петербурга и Москвы.

Была ли екатеринбургская премьера шекспировского «Гамлета» с музыкой Чайковского инициативой Гойера — неизвестно. Но думается, что его совет все же мог иметь определенное — возможно, решающее — значение. В отношении другой музыкальной постановки, осуществленной в том же драматическом сезоне, сомнений нет. Сцены из оперы Чайковского «Евгений Онегин» маэстро специально подготовил с певцами для своего бенефиса, порадовав театральную публику, которая весь сезон была лишена возможности посещать оперные спектакли.

Обращение к музыке Чайковского, как, впрочем, и к сочинениям других композиторов, обнаружило еще одну грань таланта Гойера. Имея в своем распоряжении весьма ограниченные оркестровые силы (14—17 человек), молодой дирижер был вынужден заново инструментовать музыкальные произведения, созданные авторами в расчете на большой состав исполнителей. «Неподражаемыми» называл екатеринбургский критик Баснин переложения сочинений Чайковского, которые Гойер делал для своего оркестра. По мнению этого же критика, образцы оркестровки, выполненные дирижером, «достойны не только внимания, но даже изучения».

В справедливости этих слов знатоки и широкая публика многократно убеждались, слушая оркестр во главе с Гойером не только в городском театре, но и на мероприятиях, организуемых музыкальным кружком.

Годы службы дирижера в екатеринбургской антрепризе Медведева совпали с юбилеем ЕМК — десятилетней годовщиной со дня основания, отмечавшейся в январе 1891 года. Для юбилейного торжества, участие в котором принял театральный оркестр, маэстро — он же член объединения — выбрал сочинения Глинки и Даргомыжского.

Позднее, в конце декабря следующего года, оркестр под управлением Гойера выступил на литературно-музыкальном вечере ЕМК с новой программой. На этот раз дирижеру удалось собрать большой оркестр. Сочинения Чайковского и Серова прозвучали тогда в исполнении объединенного коллектива, в состав которого вошли музыканты театрального и клубного оркестров, а также любители.

К сказанному следует добавить, что участие Гойера в концертной деятельности ЕМК не ограничивалось подготовкой оркестровых номеров. В концертах маэстро неоднократно демонстрировал свои незаурядные хормейстерские качества. Его выступления с хором музыкального кружка неизменно удостаивались похвальных отзывов в прессе (к сожалению, хоровые сочинения, исполнявшиеся этим коллективом, рецензенты не называли). Сюрпризом для многих было

появление Гойера на одном из концертов 1891 года в качестве скрипача-солиста. Критик, ставший свидетелем этого редкого события, констатировал: «Господин Гойер не только умеет играть хорошо на оркестре, но и на отдельных инструментах этого многоголосного “инструмента”».

***

Неоценимую помощь дирижер оказал кружковцам в их музыкально-театральной деятельности. Первый крупный совместный проект в этой области был реализован весной 1890 года. При участии Гойера и его театрального оркестра члены ЕМК подготовили и представили публике оперу Мейербера «Роберт-Дьявол». Помимо мастерского руководства спектаклями (опера была показана четыре раза) к заслугам Гойера современники вновь отнесли великолепно выполненную инструментовку. Благодаря этому опера была исполнена без серьезного ущерба скромным наличным составом оркестра — около двадцати человек.

Успешно осуществленный проект занял особое место в истории оперных постановок ЕМК.

Собственный опыт кружка в этой области был к тому времени еще невелик. В багаже ЕМК имелись две самостоятельно подготовленные оперы — «Фауст» Гуно (к этой опере члены объединения обращались неоднократно в разные годы) и «Русалка» Даргомыжского. К этому короткому списку можно добавить еще несколько опер, показанных — целиком или в отрывках — летом 1886 года с участием хора кружка и профессиональных артистов, приезжавших из Казани. Все перечисленные спектакли проходили в сопровождении рояля и фисгармонии. Причем подобная практика исполнения опер сохранялась у кружковцев и позднее — создание собственного оркестра являлось для объединения трудно разрешимой задачей. Так, например, участники постановки оперы Масканьи «Сельская честь» (в 1891 году) исполняли свои партии под аккомпанемент рояля, органа и гитары. А в опере Вагнера «Тангейзер» (в 1895 году) артисты-любители выступали в сопровождении рояля и фисгармонии.

Мейерберовский «Роберт-Дьявол», поставленный в 1890 году, вошел в историю ЕМК как первый оперный спектакль, показанный с участием оркестра. И эта постановка не осталась единственной в истории творческого сотрудничества музыкального кружка и маэстро Гойера.

В начале рождественской недели 1891 года кружковцы представили публике первое действие из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Оперный фрагмент был показан в концертном исполнении, без оркестра. При подготовке этого спектакля на плечи Гойера легла вся работа с любительским хором. Успешный итог этой работы по достоинству оценили слушатели и критики. В рецензии на прошедший спектакль Баснин особо подчеркнул: «Гойер в сотый раз доказал справедливость народной поговорки: «Из той же мучки, да не те же ручки», доказал тем, что заставил неподвижные любительские хоры следовать точно его указаниям, заставил, конечно, глубоким знанием дирижерского искусства и тонким пониманием музыки вообще».

Следующие оперные спектакли с участием Гойера состоялись спустя три года. Заметим, что в течение этого времени кружковцы не прерывали своей деятельности в музыкально-театральной сфере. В их исполнении были показаны оперы «Князь Игорь» Бородина и «Тангейзер» Вагнера, обе — без оркестра.

В начале марта 1895 года, после осенне-зимнего сезона, проведенного в пермском театре, Гойер вернулся в Екатеринбург. Зрители тепло встретили своего любимца, который принял участие в литературном вечере, организованном артистами драматического товарищества. К радости поклонников оперного искусства, дирижер на некоторое время остался в городе. В течение апреля он дирижировал в нескольких спектаклях ЕМК, которые на этот раз вновь прошли с участием театрального оркестра. Кружковцы дважды показали «Жизнь за царя» Глинки и четыре раза — «Отелло» Верди.

Вряд ли кто-то тогда предполагал, что эти спектакли станут финальными аккордами в совместной деятельности екатеринбургских любителей музыки и уважаемого всеми дирижера.

В конце ноября 1895 года из Перми пришла горестная весть. Смерть оборвала жизнь талантливого музыканта, до обидного рано поставив точку в его судьбе и творческой биографии.

Но очерк о нем на этом еще не закончен. Несколько слов необходимо сказать еще об одной грани богато одаренной творческой натуры Гойера.

Как оказалось, за свою короткую жизнь Людвиг Эммануилович успел проявить себя не только как разносторонний и яркий дирижер, но и как композитор. Среди созданного им — сочинения для оркестра, фортепианные пьесы (возможно, со временем о композиторском наследии музыканта удастся узнать больше). Примечательно, что некоторые сочинения Гойера современники слышали в авторском исполнении, а отдельные его вещи были даже изданы. Одно из таких произведений, пользовавшееся популярностью у екатеринбургских меломанов вплоть до начала XX века, в рекламных объявлениях представлялось так: «Любимая мазурка «Нина». Сочинение Л.Э. Гойера».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ВСЕГО ЛИШЬ ЛЕТАТЬ, КАК ПТИЦА»

Борис Кутенков. Неразрешённые вещи: Стихотворения. Eudokiya, Екатеринбург—Нью-Йорк, 2014.

Есть особый мир отважных литераторов. Отважных — потому что там отважно делают литературу: пишут, печатаются, обсуждают, встречаются — в общем, ткут полотно литературного процесса. То есть живут прекрасной и полнокровной литературной жизнью: все счастливы, значимы, признаны и свергаемы, статичны и мобильны — все как в старые добрые времена, в докомпьютерную эру, под сенью совписовских старцев.

Борис Кутенков — из этого мира. Молодой московский культуртрегер, не заставший старых нравов и обычаев, не видевший, скорее всего, респектабельности рядового члена Союза писателей, живет так, как будто ничего и не случилось, будто писательство и литературное просветительство — это всерьез, надолго и всегда. Этим же представлением ненавязчиво пропитан и поэтический сборник Бориса Кутенкова. Бахыт Кенжеев в своем предисловии к нему написал: «О чем эта книга — сказать не могу. Для этого ее следует прочесть. Хотя, с другой стороны, автор проговаривается о ее главной теме:

Жизнь, которая так хотела
всего лишь летать, как птица.
И глядит в темноту на последнем свету,
не умея ни плакать, ни злиться».

Одно из главных качеств поэзии Кутенкова — то, что сразу бросается в глаза, это доброта. Злиться его лирический герой действительно не умеет, да, наверное, и не хочет. Это какое-то новое будущее: доброе и молодое, без обид и проклятий, без требований и ядовитых укусов. При этом все реалии современной жизни присутствуют — и даже с избытком: «что ты солнышко ищешь во мне уперто / теребишь фэйсбучишь по пустякам», — пытается рассудительно вразумить лирический герой, он же просит: «Приучи меня к речи неправильной, / злым глаголам, плохим новостям» — и философски обобщает: «Когда человек умирает, / остается его ЖЖ. / Человек умереть решает, / но смерть невозможна уже».

Тема смерти, кстати, нередкая гостья в поэзии Бориса Кутенкова. О ней он так же нежно и рассудительно повествует:

и вот мне приснилось что сердце мое
и светится лживым зеленым окошком фэйсбука
не ждет в темноте соглядатаев подслеповато
и спицы и спицы в артритной ночи теребит

а едет в прожаренный город сквозь свет безнадежный
крикливо толкается в поезде номер неясность
и снова и снова умеет болеть

(Птенец картонный)

Тем не менее основная экспрессия и красота у поэта — в стихах, посвященных творческому служению:

Днем облачным, а ночью — огненным,
и днем и ночью — болевым, —
веди меня водой и оловом,
прямого, — трудным и кривым;
не умолявшего о помощи,
огонь державшего в груди, —
ареною веди и обручем,
кнутом и окриком веди.

«Творческое служение» — звучит, конечно, пафосно, но не стоит забывать, что речь идет о поэте с классическими взглядами — не на форму, но на содержание поэзии, ее значение и предназначение. Борис Кутенков, по сути, уникальный автор: обычно приметы современного быта диктуют тексты несколько модернистские, постмодерновые или даже постпостмодерновые, написанные с надрывом или излишней аффектацией. У него ничего такого нет: чувство меры, несмотря на биографическую молодость, выдает зрелого и сложившегося автора:

Все смешалось теперь, и не страшно, что нет людей,
а в ночи соловей поет и цветет репей,
и не жалко в ночи ледяной замерзшего соловья,
ибо жизнь у него — своя, и песнь у него — своя.

(Из цикла «Письма перед отъездом»)

Однако в связи с таким характером поэзии Бориса Кутенкова само название сборника «Неразрешённые вещи» выглядит уже как эта излишняя аффектация, пока не слишком явная, но, несомненно, указывающая на то, что автор все же понимает свое особое по нынешним временам отношение к поэзии — особо трепетное. Впрочем, все это — игры разума, естественная противоречивость, которая имеет свойство сглаживаться с возрастом и с количеством изданных сборников. Несмотря на относительное противоречие заглавию, стихи, собранные в книгу, производят цельное впечатление. Если говорить коротко, это такая современность предметов и событий, прикрытая легкой винтажностью в намерениях и правильностью по жизни.

Лариса СОНИНА

ЧИТАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ САМ СЕБЯ ВЫЧИТЫВАЕТ

Андрей Ильенков. Повесть, которая сама себя описывает. — Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2015.

Когда сталкиваешься с произведением такого масштаба (имею в виду не объем, конечно, а смыслонаполненность), то поневоле останавливаешься в растерянности: как писать о таком? с чего начать? как в трех страничках передать атмосферу произведения?

Автор нас озадачивает с самого начала, уже с предисловия. «Вид автора». Что это такое? Кто немного знаком с украинским, знает, как звучит на нём «от автора»: «від автора». Явная отсылка к этому украинскому названию и одно-

временно игра слов: «вид» — то есть изображение, показ. И тут же «совесть» (автора), которая «сама себя описывает» (через повесть). Таким образом, сразу нам дано, что 1) повесть в некотором роде есть автопортрет писателя, его, может быть, даже исповедь, и 2) нас ждёт совсем непростое чтение.

Но если повесть (совесть) сама себя описывает, что же читатель? Сам себя вычитывает в этой повести, обнаруживает себя? Очевидно, так оно и есть. Но не любой читатель, а Читатель — тот, кто сам суть представление, вид: своей страны, народа, поколения. На протяжении всего чтения меня не оставляло впечатление, что слишком многое там уже непонятно современной молодежи: множество отсылок бытовых, политических, идейных — именно к тому миру, миру позднесоветскому. Хотя вопросы, поднятые в повести, конечно же, универсальны — всё ж «материя» её привязана к определенным месту и времени. И именно через неё, эту материю, происходит постижение того, о чем эта книга. Потому подозреваю я, что повесть эта не для всех, но по преимуществу для тех, кто принадлежит к поколению писателя. Но так ли это плохо — что «не для всех»? Достаточно и того, что для многих — тех самых читателей, кто «сами себя читают». Поскольку писатель, такова уж его писательская доля, никогда не «сам по себе», но всегда «вместе» — со страной, народом, поколением, то и «вид» автора — это «вид» того самого народа, страны, поколения. Так, как они видят-ся (видят самих себя) через его, писателя, произведение. А потому изложенное дальше — это именно то, как читатель (в данном случае я) сам себя «вычитал» из повести.

Итак, повесть. Описывается путешествие героев в реальном, физическом пространстве, из пункта А в пункт Б, за время которого с ними происходят различные события. Это обычный, часто встречающийся прием в литературе, русской в том числе. Кстати, характерно, что во многих таких произведениях конец означает не только конец путешествия, но и физическую гибель героя, что суть некое завершение не только повествования, но и смысла. Трое друзей-свердловчан (один из которых учится в девятой школе — о, alma mater!) едут отмечать 7 Ноября 1984 года (день Великой Октябрьской социалистической революции, если кто не в курсе) на дачу к одному из них. Герои — сами по себе ещё «те» персонажи. Представители «золотой молодежи» тех лет, далеко не обычные советские школьники. Одни — гоповатый Стива, сынок секретаря обкома и поклонник всего западного, второй — слегка литераторствующий мечтатель Кирюша, чья богатая мама директор магазина, третий — комсомольский активист и цинический философ Олег, материально наиболее скромно живущий из всей троицы, — но именно на дачу к нему все и направляются. Едут они в богом забытое место, именуемое «мертвой электростанцией», на трамвае 11-го маршрута по единственной в городе одноколейной трамвайной ветке, идущей мимо торфяных болот. С самого начала обстановка располагает к тому, что из подсознания героев начнут вырываться «темные» силы, ими самими не контролируемые, тем более что путешествие, а также пребывание их на даче постоянно сопровождается активными возлияниями.

Сначала мы видим более-менее реалистичное, пусть и немного утрированное описание жизни тех лет. Но с началом путешествия атмосфера вокруг героев сгущается, уплотняется, время замедляется, и возникают персонажи или вовсе нереальные, или уж очень сильно гиперболизированные. Уже с появления вонючей старухи в трамвае, на котором едет Стива («Череп, череп! А башка что, не череп?!» — потом эти слова возникнут в повести репризно), наши герои начинают погружаться в фантасмагорию, обнажающую настоящую суть их жизни. Тема старухи связана с темой войны («Бабушка, а ты на фронте была?»), помещение этой высокой темы в контекст грязной полоумной старухи даёт понять, что советский миф будет подвергнут тотальной беспощадной деконструкции. Советский официоз в его парадной сущности вообще не обнаруживается, всё действие разворачивается в атмосфере его изнаночной, теневой стороны (в том числе в рассуждениях, казалось бы, лояльного комсомольского активиста Олега), где обитают мрачные образы: водка, сперма, блевотина, нищенки и гомосек-

суалисты, но одновременно и недоступная простым смертным непристойная, пьянящая роскошь.

Особо надо остановиться на теме выделений, коими изобилует повесть. Чемпионом здесь является, конечно, сперма: описания эякуляций, постигших этих юношей в тех или иных обстоятельствах, на протяжении всей повести идут рефреном много раз. Прочие выделения: кал, моча, блевотина, кровь — также сопровождают повествование, пусть и не столь регулярно. Некоторые, видя столь интенсивную тему выделений, бросают читать (иногда с ужасом) — а зря. Это лишь художественный прием, призванный показать нам, в какой гнилостной реальности пребывают герои и насколько, несмотря на юный возраст, гнилостны они сами. Ведь что, по сути, символизируют выделения, имеющие «низкий» статус (а все эти выделения, кроме крови, имеют низкий статус)? Конечно, труп: выделения характеризуют мертвое тело от самого момента смерти (когда непроизвольно опорожняются его кишечник и мочевой пузырь) и до полного скелетирования трупа. Идею трупа мы обнаруживаем и в эпизоде с «утопленницей» из рассказа Кирюши, и в других рассказываемых ребятами ужастиках, и в «мертвой» Бабе-яге и поедаемых ею животных, и, конечно же, в собственно смерти главных героев. Связь выделений и смерти известный образ: возьмем хотя бы расхожее выражение «жизнь утекает». Характерно, что в повести вообще нет положительных персонажей: не только главные герои, но и практически все встречаемые ими на пути существа поражены этой гнилостью, убогостью, ущербностью. Они могут быть жертвами героев, или предметами их вожделений, или тем и другим одновременно, — но они не вызывают ни сочувствия, ни симпатии. Всё погружено в этот морок гниения и разложения.

Это — мир, в котором они живут. «Пусть всё остается как есть», — считает Олег Кашин. С ним не согласятся другие главные герои — Стива и Кирюша, чьи мечтания связаны с иными реальностями: западным миром у одного и дореволюционной Россией у другого, — но де-факто обе эти реальности суть только проекции их собственных ожиданий от жизни, не находящих своего воплощения здесь. И сами их желания типичны для обычного позднесоветского подростка: власть, материальные блага, девочки. Разница лишь в представлениях о том, какая именно реальность наилучшим образом их удовлетворит. Кстати, рассуждения и уровень информированности героев обнаруживают совсем не подростковые ум и знания, в то время недоступные не только «простым смертным», но и сынкам «шишек», — что опять отсылает нас к предисловию: это «вид автора и его совесть», а не реалистичное описание жизни тех лет. Эрудиция ребят, для того времени и их возраста совершенно нехарактерная, — суть собственная эрудиция автора, вложенная (даже особо не скрываясь) в их уста.

И кто же такие эти наши главные герои? Это, безусловно, разные люди, но различия касаются частностей: перед нами — один типаж (вид автора?). Закомплексованный советский подросток, которому волею судеб известно и позволено больше, чем среднестатистическому подростку, но который тем не менее абсолютно инфантилен, несамостоятелен (Стива даже на трамвае до того ни разу не ездил). Эта выделенность из общей массы (происхождением, развитостью, эрудицией) в условиях, когда выделяться нельзя, загоняет её в подполье, откуда она сочится всеми теми выделениями, о которых я уже говорил. То есть в некотором роде замурованность заживо, нахождение при жизни в гробу. Не находящая выхода сексуальность (в СССР секса нет!) создает умозрительные картины, где герои выходят на пир вседозволенности. Каждый из них (даже благоприличный Олег, что обнаруживается в конце) оказывается в душе садистом-любителем, каждый желает устроить жизнь так, чтобы именно он оказался в центре распределения благ, материальных и эротических. Тема любви (не страсти!), дружбы (а ведь эти трое вроде как друзья!), взаимовыручки в повести отсутствует напрочь, вернее, присутствует, но только как черта персонажей сугубо эпизодических, вроде деда Вани, которые к тому же оказываются в положении лохов. Чтение повести было бы тягостным занятием, если бы не великолепное

чувство юмора и иронии, присущее автору. Комичность ситуаций, в которые попадают ребята, комичность их реплик не дает погрузиться в тот совсем уж беспросветный мрак, каким был бы мир повести, не будь этого элемента. Видно, что автор не торопится произнести уничтожающий приговор: он своих героев, в общем-то, любит и даже оставил бы их, наверное, в живых, если бы не историческая правда.

А историческая правда состоит в том, что через каких-то четыре месяца Черненко умрет, и новым генсеком станет относительно молодой Горбачев. Мир, в котором были приспособлены жить герои повести (несмотря на все свои мечтания!), — вдруг неожиданно сменился совсем другим миром, бесконечный этот процесс гниения, разложения советского трупа был остановлен, как казалось, навсегда (о, эти иллюзии!), и новому миру были потребны совсем другие герои. А этих следовало оставить в мире мертвых, тем более что за свои преступления, реальные и мысленные, они вполне заслуживали смерти. В образе карающей Божьей десницы выступила… Баба-яга. Ещё один странный, мерцающий, фантасмагорический персонаж. С одной стороны — старуха-ведьма, поедающая живую плоть (олицетворение смерти, вампиризма), с другой — девочка, плод «грязных» эротических фантазий Олега (да и всей троицы) и объект его готовящейся аферы, причем грань между этими её ипостасями размыта. И эта размытость позволяет говорить уже о демонической сущности тех страстей, которые обуревают героев, о неразличимости эроса и танатоса в них. Не случайно эпиграфом к последней главе взяты строчки из стати В. Соловьева о Лермонтове, о его демоническом «грязном» гении.

Как можно описать смерть? Можно как высокое, как подвиг или жертву. Смерть же героев описана как низкое, как роковое (под аккомпанемент тяжелого рока) стечение обстоятельств. Козел, которого они убили, воплощая идею вседозволенности, — это противоположность жертвенного агнца: Бяша (баран) — Бяфа — Бафомет, существо роковое и демоническое, его смерть ведет героев в ад, а не в рай. А месть Бабы-яги за убитого козла завершила их одиссею: они умерли, так и не поняв, за что и почему.

Но странным образом по прочтении повести не остается ощущения подавленности. Возникает, напротив, некое чувство завершенности: кажется, что автору все-таки удалось перевернуть страницу и обозначить новую, неизведанную, но совершенно иную землю, в которой не будет места тому, что олицетворяли собой герои. С чем это связано? Не с тем ли, что Баба-яга, совершив акт справедливого возмездия, этим впервые явила в повести что-то подлинно человеческое?

Александр ЧЕРЕПАНОВ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СЕБЕ

Андрей Аствацатуров. Осень в карманах. — М.: «АСТ»: Редакция Елены Шубиной, 2015.

Книга Андрея Аствацатурова «Осень в карманах» вновь насквозь автобиографична. Создатель схожих по слогу и материи «Людей в голом» и «Скунскамеры» мимоходом отмечает: «Но я ничего сочинять не буду — поскольку, как вы наверняка заметили, страдаю недостатком воображения. Я расскажу все так, как оно на самом деле было, расскажу достоверно и реалистично». При этом свежий роман в рассказах — не новоявленный ранний мемуар, а цепь жизненных анекдотов и оригинальных историй, где главным действующим лицом или свидетелем обстоятельств становится сам Аствацатуров. Или все же вымышленный герой-тезка, кочующий из книги в книгу? Умный, наблюдательный доцент-невротик с тонким чувством юмора и сомнительной внешностью, «у которой, кажется, уже истекает срок годности», шагающий по мостовой под сентябрь-

ским питерским дождем. То и дело в шутку и всерьез пытающийся разобраться в себе, ответить на вопросы: «Кто я?» и «Зачем я?».

«Осень в карманах» делится на две неравные части. Первая — совсем небольшая — «Комарово». В поселке Комарово расположена дача автора — здесь прошло его летнее детство, о чем Аствацатуров и рассказывает читателю. Порядки на даче когда-то устанавливал дед прозаика — академик Виктор Жирмунский. Здесь его внук учился писать сложную букву «м», знакомился с Пушкиным, который малышу сразу не понравился, и боялся, что на дне Щучьего озера лежат мертвые щуки. А еще будущий филолог вывел первую важную аксиому: чтобы стать умным, «нужно научиться читать». Одна из миниатюр первой части так и называется — «Несколько слов в пользу чтения». Сорокапятилетний преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ говорит, казалось бы, об очевидных вещах, приводя простые, наглядные примеры. Но как мастерски он это делает! Прием будет использован многократно. В такие моменты видно сходство с творчеством Евгения Гришковца, что, между прочим, замечали и читатели предыдущих двух книг Аствацатурова, — глубина чувств приобретает доступные каждому оболочки.

В новеллах «комаровского» цикла первые навсегда отпечатавшиеся в памяти эмоции юных лет дополняются свежими размышлениями о прожитом и текущем. Рассказ «Джеффри и Снежанна», заменяющий собой предисловие к циклу, открывается электронным письмом. Аствацатурову пишет некто Иннокентий из города Торжок, предлагающий прочитать рукопись эротического романа и поспособствовать ее скорейшей публикации. Филолог с доброй насмешкой подвергает разбору присланное сочинение. Уверен, в редакциях «толстых» журналов и книжных издательствах с «шедеврами» похо́жих «иннокентиев» сталкиваются постоянно. И некоторые эпизоды общения с их авторами способны стать очень увлекательным чтением. Другая забавная байка из жизни Аствацатурова — «В фитнес-центре». Решив «на старости лет мышцы подкачать», герой-рассказчик забредает в спортивный клуб. Сломав тренажер, получает отповедь инструктора: «Знаешь, доцент! Ты только не обижайся, ладно! Лучше иди домой и читай свои книги...» Одна филологическая байка дает жизнь другой, и в итоге мы получаем не сборник разрозненных новелл, а полноценный — пусть и не особо объемный — роман в рассказах. Тут следует остановиться на двух моментах. Эпитетом «сборник баек» награждали и «Людей в голом», и «Скунскамеру». «Осень в карманах» — особенно ее первая часть — исключением не станет. Зато звучавшие претензии насчет «рваной» структуры двух книг в отношении третьей можно сгладить. В каждом из разделов «Осени в карманах» свои внутренние закономерности все же присутствуют.

Во второй части — «Времена года» — юмор, воспоминания и размышления о жизни сохраняются. Плюс включаются две дополнительные лампочки, освещающие цикл. Первая — мотив любви, вторая — тема путешествий. Между любовью и драмой — знак равенства. В девятилетнем возрасте герой-рассказчик пишет записку однокласснице с романтическими признаниями. Учительница, перехватив личное письмо, зачитывает его перед всеми учениками. Детская душевная травма — предвестник того, что с любовью будут нелады.

«Времена года» — по сути, травелог. Травелог не совсем шаблонный. В новелле «Осень в карманах» прозаик взирает на Неву с одной из набережных. «Открыточный» вид, список туристических достопримечательностей и экскурс в историю северной столицы — лишь обстановка, необходимая Аствацатурову, чтобы поведать еще несколько историй. На этом месте доцента толкнула влюбленная парочка, здесь машина сбила бабушку героя-рассказчика, здесь же находится факультет, где он преподает. А уж сколько на факультете баек, связанных со студентами и друзьями-коллегами!

Главка-рассказ «Весна. Дуэль в табакерке» — поездка на Капри, «Зима. La belle aujourd'hui» — знакомство с Парижем, «Лето. Последние панки в июле» — возвращение в родной Петербург. И вновь на фоне хорошо прорисованных декораций автор демонстрирует короткометражные фильмы. Многие

персонажи постоянны, у каждого своя биография: лучший друг героя-рассказчика философ-постмодернист Саша Погребняк, бывший однокашник Костя Бойцов, знакомый художник Леня Гвоздев, роковая любовь Джулия, неузнанная знаменитость Катя с искусственными губами… В книге регулярно встречаются и микросюжеты, ответвляющиеся от главной линии. Аствацатуров по ходу текста вспоминает интересных людей и сценки из жизни, без промедления их рассказывая. Прозаик и сам признает, что его «память чудовищно хаотична. Она перескакивает с одного на другое, как крымская цикада, меняя города, климатические зоны и действующих лиц». В прогулках по Парижу, Капри и Питеру, конечно же, важны личные эмоции — как предсказуемые, так и внезапные. Очутившись в столице Франции, герой-рассказчик понимает, что здесь «все время отвлекаешься на собственные ощущения, все время возвращаешься к самому себе, словно читаешь текст Марселя Пруста». Очередной город прерывается любовью, любовь — городом. Взрослых любовных историй во «Временах года» две. В конце рассказа «Осень в карманах» возникает прекрасная незнакомка. В «Весне…» романтическая линия достигает своего апогея. Незнакомка оказывается Джулией — на ней центральный персонаж быстро женился, и так же быстро она его бросила, сбежав с другим. Спустя короткое время Джулия погибла. Саму любовную тему Аствацатуров сжимает до предела — в книге нет ни одной подробности семейной жизни персонажей. Для текста это не главное. Главное — переживания героя-рассказчика об утрате любимой, ими наполнена «Зима…». В «Зиме…» включается вторая любовная линия — Катя — попытка забыть Джулию, окунувшись в отношения совсем другого характера. Но родной город сильнее — истории о Париже и Капри заканчиваются тем, что герою как можно скорее хочется вернуться домой.

Впрочем, финальная новелла «Лето…» — необязательна. Любви в ней нет, а город повторяется. Аствацатуров признается, что добавил «Лето…» к трем рассказам исключительно для того, «чтобы комплект был полным» и четыре сезона замкнулись. Чем петербуржцы занимаются летом? Отдыхают, расслабляются. Пытаются сбежать из душного мегаполиса от бессонных белых ночей, многочисленных фонтанов и прочего местного колорита, притягивающего туристов.

Есть мнение, что настоящий писатель проверяется третьей книгой. Мол, один роман с горем пополам создаст любой. Второе большое произведение, не снижая уровня, напишет не каждый. А вот третья художественная книга — уже определенная высокая планка. Аствацатуров эту планку уверенно взял. Да, кто-то скажет, что «Осень в карманах» — это легкое чтиво для поездок в метро, электричках и поездах дальнего следования и новых мотивов в романе немного. Но, как говорится, стабильность — тоже признак мастерства.

Станислав СЕКРЕТОВ

РЕФУТАЦИЯ ГЕГЕЛЯ

Платон Беседин. Учитель. — Харьков: «Фолио», 2014.

Безумству храбрых поем мы славу! Платон Беседин отчаянно смелый человек — это я понял еще два года назад. Явиться на «Нацбест» с откровенно беспомощной «Книгой Греха», где *«аорта в мозгу»* соседствует с *«компостерной ямой»*, — отвага, без преувеличения, головокружительная. Нынче П.Б. предпринял второе восхождение к нацбестовским высотам. И с текстом ровно того же качества. Что за камикадзе!

История, учил Гегель, повторяется дважды: первый раз — в виде трагедии, второй — в виде фарса. Однако Беседин — живое опровержение этого постулата, поскольку и нынешний поход за лаврами — самая натуральная клоунада. Впрочем, давайте по порядку.

«Книга Греха» была изготовлена по трэшевым шаблонам. Что, в общем-то, понятно: Хоум с Палаником юношей питают, ибо размазать по страницам кровь и фекалии по силам и пятикласснику. Беседин, шалея от собственной дерзости, выдумывал душераздирающие ситуации одна чернее другой: и готы травились уксусной кислотой, и фашист насиловал азербайджанскую девочку дулом пистолета, и мазохистка жевала свой отрезанный клитор. Слово «кровь» на 272 страницах романа повторялось 153 раза. Стр-рашно, аж жуть. Тем не менее жуть выглядела более чем водевильно: в грангиньоле все понарошку, заметил Станислав Ежи Лец...

«Учитель» — явная работа над ошибками. Беседин отказался от надуманных ужасов и попытался, по примеру Папини, освоить территорию трагической повседневности. А вместе с тем — выстроить параллель личного и социального: к возмужанию отрока по имени Аркадий (без Достоевского нам ну никак!) Бессонов на живую нитку пришит поверхностный конспект новейшей украинской истории. С задачами автор не совладал, поскольку обе они для прозаика не в пример более зрелого. Причмокивать над тобой же придуманными перверзиями — далеко не высший пилотаж. А отыщи-ка в оскоменной обыденности драму и глубину...

Впрочем, это чистой воды отвлеченности, которые без иллюстраций выглядят довольно-таки бледно. Что ж, и за картинками дело не станет.

Рискую показаться назойливым, но все же повторю: вернейший индикатор писательского мастерства — идиолекты. Там, где нет правильного, выверенного, точного слова, нет ничего — ни композиции, ни интриги, ни характеров: лишь тот ясно излагает, кто ясно мыслит. Фраза у Беседина размалевана во все цвета радуги и вывихнута во всех суставах. Что за комиссия, Создатель! — изобретать тропы, не освоив прописей. Результат налицо.

«Культями зомби торчали спиленные на металлы обрубки ворот», — видимо, без ампутации зомбирование невозможно. То-то удивятся гаитянские хунганы! *«Мама и бабушка пестовали меня в лоне докучливой заботы, напоминающей теплое коровье вымя»*, — ну да, раз аорта в мозгу, то отчего бы лону не походить на вымя? Магритт и Бретон в гробу перевернулись от бессильной зависти. *«Содержание — в том же ферромонистом духе»*, — что за странный гибрид феррума с феромонами? *«Матросы из Военно-морского флота России своих эрегированных намерений не оставили»*, — кошмар почище лонного вымени...

Для полноты картины надо бы помянуть и непролазное местечковое косноязычие, — оно то и дело мозолит глаза: *«На поиски ушло десяток неестественно долгих минут»*, *«мы потрошили тушки, вытягивали кишки и прятали разделанные куры в морозильник»*. Фантастический суржик, куда там Елизарову!

«В плане литературы я перфекционист. Надо писать не добротно, а хорошо, отлично даже», — заявил П.Б. в одном из интервью. Платон Сергеевич, вам бы для начала припасть к истокам. К словарям, орфографическому и толковому. К букварю, в конце концов. Освоить хотя бы грамматически правильное письмо, не помышляя до поры даже о добротном. И лишь потом выступать с публичными декларациями о перфекционизме. А то, знаете, как-то оно несерьезно выходит…

Извините, отвлекся. В «Учителе», как я уже докладывал, Беседин сменил эстетические приоритеты: от нового реализма — к традиционному, от трэша — к бытописанию. В последнем, как и раньше в кровопролитиях, сочинитель не ведает ни меры, ни числа, стремясь увековечить все, что под руку подвернется:

«Среди них (книг. — А.К.) *валялась еще одна — в красной мятой обложке: Федор Достоевский "Повести". Тираж 100 000 экземпляров. Издание 1989 года, Кишинев. Подписано в печать 11.12.1988».*

22 слова ни о чем, — но я из сострадания к читателю процитировал самый лаконичный пример авторской логореи. Текст переполнен подобными пассажами до краев. Не хотите ли рецепт приготовления хот-догов: сосиска, огурцы, кетчуп, майонез, — в общей сложности 130 слов. А как насчет безразмерных мемориий о дохлых курах — 1078 слов? И прочая, прочая, прочая… За подобным занятием поневоле заскучаешь, — и Беседина неизбежно заносит в милый сердцу трэш. Получается весьма ферромонистая проза с более чем эрегированными намерениями. Ясен пень, старая любовь не ржавеет:

«Курва возвращается. Не одна. За ней на поводках ползут двое. Первый — худой, безволосый, с будто неживой кожей. Второй — жирный, с отвисающими боками и волосатой спиной. Женщина держит крупную ярко-оранжевую морковь... Морковка погружается в задницу одного из мужиков».

Однако подобные развлечения редки. Наибольший удельный вес в «Учителе» приходится на долю страданий молодого Бессонова. П.Б. с патологической скрупулезностью мазохиста тащит на всеобщее обозрение отроческие комплексы и фобии. В итоге возникает эгобеллетристика самого тусклого свойства:

«Гриша натянул штаны быстро, а вот мои все никак не сходились... Пришлось идти в туалет, любимое место для переодевания; особенно верхней части: ляшки пусть еще видят, а вот четыре полосы жира на брюхе, переходящие в женскую грудь, — увольте».

Подобные надрывные исповеди длятся страницами. А ты мне душу предлагаешь — на кой мне черт душа твоя? Тем паче за душой у Аркадия Бессонова куда как немного: несколько прочитанных книг, обязательная для 90-х любовь к Курту Кобейну, юношеская дисморфофобия и юношеская же гиперсексуальность. Нужен ли 375-страничный роман там, где достаточно популярной психологической брошюрки?.. Коли на то пошло, так и фактуры в «Учителе» для полноценной книги фатально мало: love story да две-три драки с крымскими татарами. Но издатель прибег к обычному в таких случаях расширительному толкованию, известив публику, что «роман відображає реальні проблеми півострова, оголюючи непрості відносини татар, росіян і українців, багато в чому пояснюючи причини кримських подій 2014 року».

Ага, дуже багато: *«За базар отвечай! — Свой борзометр контролируй!»* Чтоб вы знали, разборки такого рода происходят на всех широтах. Если Хуан Кабаньеро настучит в табло Рамиро Пофигейрасу, так это их личная драма. Но драка русского с татарином в Крыму — только вдумайтесь, в Крыму!! — тут, воля ваша, без политического подтекста не обойтись. Как и во всей писательской карьере Платона Беседина, живого классика 30 лет от роду, который «определенно сказал свое слово в русской литературе» (Митя Самойлов). И точно, сказал. Правда, по падежам просклонять не в силах.

К вящей радости г-на Самойлова со товарищи, еще не все слова прозвучали. Ибо «Учитель», согласно авторскому замыслу, есть тетралогия. Гегель повержен: фарс продолжается.

Александр КУЗЬМЕНКОВ

ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ

Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам. — М.: «Эксмо», 2014.

- «И вот я хотел сказать, что это нехорошо…»

Л.Н. Толстой. Послесловие к «Крейцеровой сонате»

Журнал «Урал» начал этот год блистательной рецензией Александра Кузьменкова на «Любовь к трем цукербринам» Виктора Пелевина[1]. Когда критик прислал нам в редакцию свою рецензию, я еще не читал этого романа, а потому сказать мне было нечего. Но теперь я более не могу молчать, потому что наконец-то прочитал роман Пелевина. И с оценкой нашего постоянного автора я не согласен.

Пелевин всегда старался говорить с читателем языком простым и понятным, разъяснять, буквально разжевывать ему головоломные эзотерические идеи. И все-таки Пелевина нельзя читать по диагонали, его проза сложна и по-своему философична. Даже пересказать фабулу «Цукербринов» не так просто. Начнем с того, что у вселенной есть Творец (Древний Вепрь), добрый, но не всемогущественный. Вселенная состоит из множества миров, но эти миры последовательно разрушают некие Птицы. Они взбунтовались против своего создателя. Их оружие — люди, которых Птицы стараются использовать в своих целях: во второй части книги («Добрые люди») эта борьба Птиц (или птицеголовых богов) с Вепрем представлена в декорациях айфонной игры «Angry Birds». Только вместо веселой и бессмысленной войны смешных красных птичек с зелеными свиньями — мрачная мистерия. В игре птицы стреляют по свиньям из большой рогатки. В романе Пелевина на месте рогатки эшафот с Крестом Безголовых. Крест покрывают каббалистические знаки. На месте круглых хрюшек — Творец, Демиург. Его комический облик объясняется просто: мы видим Создателя глазами Птиц. «У Птиц, надо признать, было мрачное чувство юмора. Над рылом Творца блестели черные бусины встревоженных глаз. В его густых пшеничных усах чудилось нечто сталинское. Рот Творца быстро шевелился. Николай понял, что Творец безостановочно повторяет заклинания, обновляющие мир. Начитывая свою каббалу, он ремонтировал постоянно распадающуюся вселенную».

Владислав Пасечник, написавший рецензию на роман Пелевина в академический журнал «Вопросы литературы», заметил, что образ мироздания пришел в «Цукербрины» из сочинений древних гностиков. Некоторые секты гностиков в самом деле представляли Бога Саваофа в виде большой свиньи, о чем можно прочитать в книге Епифания Кипрского «Панарион».

Впрочем, для Пелевина Вепрь не Бог, Птицы принимают его за Бога по ошибке. Вместе с тем Вепрь всеведущ и вездесущ. Его бесчисленные воплощения или его бесчисленные помощники поддерживают миропорядок. Одним из них и становится герой-повествователь книги. Его имя не названо. Названа, так сказать, должность — Киклоп. По должности ему дадут фамилию с инициалами: Киклоп О.К.

---

[1] См. *Александр Кузьменков.* Киберпанк в поисках сатори. // «Урал». 2015 № 1.



История обычная для романов Пелевина. Простой человек становится избранником высших сил. Умирает родственник. Герой вместе с квартирой недалеко от Садового кольца получает в наследство коробку с эзотерической литературой, которую по мере сил изучает, практикует упражнения для йогов и, в конце концов, обретает дар ясновидения. Однажды во сне (а сны в «Цукербринах» не отличаются от яви) члены некой Свиты производят над героем операцию, аналогичную той, что произвел шестикрылый Серафим над пророком Исайей. Пелевин проводит аналогию не с Библией, а со стихотворением Пушкина «Пророк».

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход…

Пережив похожую операцию, герой обретает всеведение и становится Киклопом. В его задачу входит предотвращать поступки, которые могли бы нарушить миропорядок. Не преступления, преступления тоже часть миропорядка: отставной судья расчленяет в ванной пожилую родственницу «в видах на ее деревенский дом», бандиты готовятся к налету, проверяют оружие. Для Киклопа это не повод вмешаться, потому что происходящее в порядке вещей: «Обычный городской ноктюрн, в иные дни вокруг бывало и мрачнее. Ни один из этих бытовых выплесков танатоса не угрожал ни стабильности мироздания, ни лично мне».

Для Птиц Киклоп чуть ли не воплощение самого Вепря-Творца, на самом же деле он — «мелкий функционер, маска, за которой прячется сила», не ясная и самому Киклопу. Птицы, в конце концов, вычисляют Киклопа и устраивают на него охоту. Поэтому в целях безопасности Киклопа освобождают от пророческого дара и возвращают в мир обычных людей.

Птицы, «мудрые и страшные инженеры смерти», не только воюют с Вепрем на равных, но и уничтожают мир за миром. В конце концов, они уничтожат и Землю. Но процесс этот очень долгий. И Птицам здесь помогают люди, ставшие жалкими и послушными рабами своих гаджетов.

Действие одной из пяти частей «Цукербринов» (зато самой пространной) перенесено в отдаленное будущее. Простые люди населяют жилые модули, что прилепились к «антигравитационной платформе» за несколько тысяч километров над землей. Эти сооружения напоминают гроздья гниющего винограда. Но люди не замечают неудобств. Они почти счастливы. Вместо друзей и соседей у них есть интернет-приложения, которые можно инсталлировать или удалять, беседовать с ними, ругаться, подмигивать им и даже флиртовать.

В тела людей вживлены провода. Воздух, вода и пища поступают по специальным трубкам. Занятия сводятся к блужданиям по виртуальной реальности и сексу с «социальным партнером». Партнеру можно придать любой облик: Мэрилин Монро, Юрия Гагарина, Марка Антония…

Из-за этого сюжета многие читатели и даже критики решили, будто «Любовь к трем цукербринам» — антиутопия. Что произойдет, если люди будут целыми днями сидеть в социальных сетях, троллить друг друга на форумах, просматривать порносайты и тратить заработанные деньги на покупку виртуальных боеприпасов для виртуальных танков в игре «World of Tanks».

На небе сияют три солнца — три цукербрина, — любовью и нежностью к трем солнцам наполнены сердца людей, подвешенных между небом и землей. Эти цукербрины — всего лишь «закованные в свою голографическую броню Птицы». Цукербрины-солнца одновременно что-то вроде «заэкранных надзирателей», что глядят на человека «сквозь тайно включённую камеру планшета или компьютера».

Впрочем, Птицы ли это? Нет, говорит нам повествователь-Киклоп, и Птицы не птицы: «Их тела в обнаженном виде больше напоминают червей или мягких

змей», а лапы, клювы, перья — всего лишь их доспехи. Значит, не Птицы, а змеи? Но тогда это еще один гностический образ. Птицы-Змеи — это архонты, духи-правители вселенной, что порабощают человека, внушая ему влечения, эмоции, отнимая у него жизненную силу.

Само название книги отсылает к именам двух медиа-магнатов: Сергею Брину (создателю Google) и Марку Цукербергу (создателю Facebook). Сходство с антиутопией тем больше, что в мире Пелевина есть даже аналог оруэлловского Большого Брата — виртуальная «маленькая сестричка», которая одновременно исполняет желания героя и шпионит за ним.

На самом же деле Пелевин не пишет о будущем, ведь писать о будущем столь же бессмысленно, как выяснять, какого цвета волосы на голове у ребенка нерожавшей женщины. Пелевин только сгущает реальность, стараясь показать нам не будущее, а настоящее. Показать и три возможные формы поведения, три пути.

Первый путь — плыть по течению, безропотно подчиняться системе, установленной Птицами-цукербринами. Это тем легче, что сами птицы внушают людям мысли. Идея для Пелевина не новая: «В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору», — написано еще в «Generation "П"». Теперь узнают — по айфону или ноутбуку. Так «плывет по течению» Кеша, сотрудник сайта Contra.ru, журналист, системный администратор и тролль.

Второй путь — бунт против системы, который устраивает террорист Бату Караев. Но система предусмотрела возможность бунта, и восстание оборачивается фарсом. Террорист скрывается от преследования, приняв личину Мэрилин, женщины, ставшей… «социальным партнером» Кеши. Бунтарь много лет живет в половой связи с конформистом. Конформизм и терроризм оказались сторонами одной монеты.

Третий путь — просто игнорировать систему, оставаясь самим собой.

Критик Ирина Роднянская однажды заметила: «Пелевин втягивает в себя и пускает в глубокую переработку любой информационный сор». В «Цукербринах» сор — это не только ругань «креаклов» с «ватниками» в Фейсбуке, компьютерные игры с птичками, свиньями или танками. Есть кое-что поинтересней. В двадцатые годы прошлого века был популярен тустеп «Девочка Надя». На его мелодию написано несколько легкомысленных песенок. Но во всех вариантах обязательно повторяются первые три строчки:

Девочка Надя,
Чего тебе надо?
Ничего не надо…

Может быть, поэтому Пелевин и назвал свою «положительную» героиню именем Надя. Девушка Надя. Конечно, Надя — Надежда, надежда для читателя, но остановиться на этом было бы уж слишком просто для Пелевина.

Надя работает в том же офисе, что и Кеша, но не интересуется ни политикой, ни информационными войнами, ни даже порносайтами. Не флиртует, не увлекается ничем. Только разводит цветы. Она вечно пребывает в «духовной безмятежности» и занимается медитацией, даже не зная, что такое медитация: «мысли ее не тревожили, потому что им не за что было в ней зацепиться».

После смерти ей достается счастливая доля: Надя становится ангелом Спеpo. Зато обычные люди, оставшиеся рабами страстей, а значит, и рабами породивших страсти цукербринов, воплощаются в тела животных. Поэт Гугин становиться бегемотом, Бату Караев — питоном, а Кеша, разумеется, хомячком. Так философический роман перерождается в назидательный. Художественный текст оборачивается проповедью.

Из всех приемов автор избрал наихудший. Отбросив художественные условности, разъяснить читателю, как устроен мир, как надо жить в этом мире: «Я попытался изобразить всю темную метафизику борьбы Птиц с тем, что они принимали за Бога, в максимально простой и даже карикатурной форме. Если фор-



мулировать сложнее, получится теологический трактат». Трактат не получился, но не получилось и хорошего романа.

Пелевин не первым наступил на эту мину. В девяностые годы авторы «Нашего современника» (Распутин, Белов, Бондарев), некогда популярные и любимые читателем, оставили прозу и перешли на публицистику. И читатель от них ушел. Что там Распутин с Беловым, когда сам Лев Николаевич Толстой не устоял перед соблазном: «Вывод же, который, мне кажется, естественно сделать из этого, тот, что поддаваться этому заблуждению и обману не нужно», — читаем в «Послесловии к «Крейцеровой сонате».

Примерно в таком духе поясняет и Пелевин. Конечно, долгие монологи ведет в «Цукербринах» не Виктор Олегович Пелевин, а Киклоп. Как же он соотносится с автором? Герой-повествователь далеко не всегда alter ego писателя. Скажем, банкир Степа, герой романа «Числа», никак не Пелевин, равно как и Кеша. У этих созданий душевная организация слишком примитивна. Но среди героев Пелевина в самом деле можно найти авторское alter ego. Это не очень трудно: «все они поэты», — заметила однажды Ирина Роднянская. Петр Пустота из «Чапаева», Вавилен Татарский из «Generation “П”». В «цукербринах» поэта даже два. Но поэт-бегемот Гугин, «кохочубайс русского стиха», на эту роль не подходит. В нем читатели узнали Дмитрия Быкова. Не спасла и рыжая борода, которую автор подарил своему герою. Мысли Пелевина выражает сам Киклоп. Киклоп — поэт. Его работа сродни призванию пророка, а пророка сам же автор и уподобляет поэту.

Пелевин уже четверть века пишет об одном и том же: об иллюзорности мира. Но успех ему принесла не проповедь, а литература. На этот раз, кажется, не удались ни проповедь, ни сочинение.

«Любовь к трем цукербринам» все еще претендует на «Большую книгу», но в читательском голосовании Пелевин идет где-то в середине, уступая и Дине Рубиной, и Валерию Залотухе, и Анне Матвеевой, и даже дебютантке Гюзель Яхиной, нежданно-негаданно захватившей лидерство.

Газетная и сетевая критика больше года ругает Пелевина. Надоел. Сколько можно обличать и высмеивать виртуальный мир? Как будто потускнел образ Пелевина — сатирика, обличителя социальных пороков, русского Свифта. Хипстеры заметили, что Пелевин не знает быта и нравов хипстеров. Игроманы нашли, что писатель обыгрывает в книге давно устаревшую версию «Angry Birds». Похвалы простых читателей вряд ли порадуют автора: «какую забавную фигню написал Пелевин», — замечает одна читательница. «Ростки добра продолжают расти», — заключает другая.

Автор «Цукербринов» читал много серьезных книг, от «1984» Джорджа Оруэлла до первой и второй «Книг Иеу», написанных египетскими гностиками на коптском языке в III веке нашей эры. Но его собственный роман получился излишне назидательным, тоскливым и совсем не увлекательным. Пелевин устами Киклопа взывает к здравому смыслу, а здравый смысл почти всегда проигрывает эмоциям, влечениям, чувствам. И читатели Пелевина все равно будут, уткнувшись в смартфоны, «кормить подрастающих цукербринов».

Сергей БЕЛЯКОВ

ГИМН ЖИЗНИ

Мо Янь. Устал рождаться и умирать. / Пер. И. Егорова. — СПб.: «Амфора», 2014.

Китайский нобелиат Мо Янь набирает популярность в России. В прошлом году по-русски отдельным изданием вышло четвертое произведение писателя — роман «Устал рождаться и умирать». Переводчиком выступил бессменный Игорь Егоров, ранее переложивший на русский «Страну вина» и «Большую грудь, широкий зад». Мо Янь написал эту книгу за сорок шесть дней, что, правда, не должно отпугивать читателя — замысел ее обдумывался десятки лет. Тем более не нужно говорить о том, что эта скоропись нисколько не повлияла на текст негативно. Мо Янь представил превосходный образец романного творчества. У него получилась мощная эпическая работа, лишенная политического приукрашивания истории и одновременно восхваляющая жизнь. На примере одной деревеньки и истории жизни помещика Симэнь Нао, после смерти несколько раз перерождавшегося в разных животных, писатель отразил все противоречия китайской истории за последние пятьдесят-шестьдесят лет.

Богатый землевладелец Симэнь Нао из деревни Симэньтунь никогда не был скрягой и тунеядцем. Он постоянно работал на земле собственными руками, отчего, вероятно, и нажил такие богатства. Однако с победой коммунистов в 1949 году началась кампания по раскулачиванию помещиков, и Симэнь Нао был расстрелян, а его спрятанные богатства найдены и изъяты. Он оказался в аду, где ему пришлось претерпеть адские мучения. Но, похоже, владыка ада наконец смилостивился, и Симэнь Нао, переродившись в новорожденного осленка, появился на еще недавно собственной земле. Он стал ослом своего батрака Лань Ляня, который уже успел жениться на его бывшей наложнице Инчунь. Глазами осла он увидел преобразование деревни, в частности, создание кооперативов. Мао Цзедун говорил, что вступление в кооператив должно быть добровольным, поэтому Лань Лянь решил и не вступать в него. Вот когда Председатель лично выпустит приказ с требованием вступить в кооператив, вот тогда он и повинуется. А пока у него есть своя земля, он неплохо на ней управляется, тогда зачем ему кооператив? Но политика коллективизации понемногу настраивает всю деревню против него. Лань Лянь становится единоличником, чуть ли не единственным в Китае. Он не изменит своим принципам, даже когда начнется страшный голод и его осел будет буквально разорван народом на куски.

Симэнь Нао, во второй раз погибший, снова появляется в аду, и снова его отправляют на землю. На этот раз в теле вола. Начинается эпоха культурной революции. Собственный сын Симэня Нао по имени Цзиньлун становится руководителем отряда хунвейбинов. Он продолжает давить на Лань Ляня, пугая его чуть ли не смертью, но угрозы действуют только на его сына Цзефана, который со своим участком земли и волом в итоге переходит в кооператив. Потом Цзиньлун впадает в немилость и сам становится обычным батраком, в каковые его определяют с целью трудового перевоспитания. Для работы на земле ему нужно управиться с волом, то есть собственным отцом. Вол, разумом Симэня Нао ненавидящий кооператив, лежит на земле и не поднимается ни от ударов плетью, ни от костров, которые кровожадный Цзиньлун разжигает рядом с ним.



А когда поднимается, то лишь для того, чтобы продемонстрировать достоинство перед лицом смерти.

Третье воплощение — в теле свиньи. И не просто свиньи, а царя свиней. У свиньи Симэня мощное тело, и он не терпит конкурентов. Даже когда ему, спасаясь от эпидемии, приходится бежать на речную косу, там он тоже становится царем и даже возглавляет битву свиней против людей. Но смерть и здесь неизбежна, и дальнейшие перевоплощения приводят Симэня Нао в тело собаки. Как и положено собакам в некоторых семьях, Симэнь берет на себя кое-какие обязанности и, в частности, водит внука Лань Ляня в школу. А ночью превращается в повелителя псов всей округи, устраивающего полуночные собачьи собрания. Перед возвратом в человеческий облик Симэнь Нао еще предстоит побыть в унизительном теле обезьяны, просящей подаяние за свою ученость. Но все же возвращение к человеческому виду, к которому он приходит в конце, — очень большое достижение для несчастного Симэня Нао.

Подобно монументальному роману «Большая грудь, широкий зад», в этой книге тоже поется трагический гимн жизни. Только здесь прославляют жизнь уже не люди, а животные, кто жизнью, казалось бы, только унижен. Это подлинная дионисийская мистерия с ее культами физиологии и тела. Мо Янь неустанно подчеркивает мощь тела у воплощений Симэня Нао. Если вол, то несгибаемый, если свинья, то тяжеловесный хряк, если собака, то непременно ловкое и умное создание. Воля к жизни у простого, хотя и небедного деревенского крестьянина даже после смерти такова, что она ничуть не ослабевает в телах животных. А столь мощные тела им даны для того, чтобы мстить обидчикам. Осел кусается, вол нанизывает на рога, свинья несется и сбивает с ног — все животные пытаются выправить несправедливость, выпавшую на долю превратившегося в них человека. Животные у Мо Яня вынуждены смириться со своей участью, но именно в ней они находят радость жизни. Например, будучи ослом и волом, Симэнь Нао рад послужить своему бывшему батраку Лань Ляну, безмерно уважая его за нежелание вступать в кооператив.

Жители деревни Симэньтунь — а в романе немало рассказывается и о них, а не только о перевоплощениях Симэнь Нао — являются одновременно свидетелями и участниками трагических событий истории Китая. Нельзя сказать, чтобы они находились в центре этих событий, ведь речь здесь не идет о реальных крупных функционерах партии. Описана как бы периферия Китая, некое небольшое модельное образование, где, однако, как в капле воды, отразилось все море. В книгах Мо Яня особенным образом выписано рождение новой власти. В них отсутствует классическое, больше характерное для ее критиков, изображение революции, когда приходят неизвестные с оружием и устанавливают новый порядок. У Мо Яня новая власть — это нечто вроде перепада давлений в тысячелетней сельской атмосфере. Этот перепад влияет на особо чувствительных к нему людей, которых в России, может быть, назвали бы пассионариями и которые в Китае не побоялись выделиться и взять будущее в свои руки. Не беда, что для этого нет ни опыта, ни знаний. Главное, что голос громкий. В книге для них предложен даже специальный термин — «ревущие ослы». Это искренние люди, пользующиеся, кстати, вниманием девушек, и ошибки у них, даже бесчеловечные, тоже искренние. При этом сам Мо Янь, хотя и признает новейшие достижения китайского социализма, отчасти остается на стороне старых борцов с буржуазными пороками. Ведь только тот, кто симпатизирует революции, мог выписать драму Хуна Тайюэ, старого революционера, который сполна заплатил за свои убеждения в годы культурной революции, не расстался с этими убеждениями в пожилые годы и чуть ли не на смертном одре продолжал агитировать за создание кооперативов, натыкаясь на стену непонимания со стороны новых, узаконенных и успешных единоличников. Читая Мо Яня, понимаешь, что революция и ее ужасы сотворены не кем-то отдаленным, а твоими собственными соседями, которые чуть больше, чем следовало, увлеклись своими идеями.

В романе Мо Яня отражена пятидесятилетняя история Китая, и это видно по разнообразию затрагиваемых тем. В 1950-е основная тема — это жестокость

расправы с кулаками, унесшая жизнь Симэня Нао. В 1960-е — жестокость коллективизации и преследование непокорного Лань Ляня, пожелавшего остаться единоличником. В 1970-е — унижение вчерашних революционеров, а теперь «правых уклонистов», жертв культурной революции. В 1980-е описаны первые послабления, сделанные для частных предпринимателей, а в 1990-е Китай начинает жить по ценностям капитализма, на фоне чего разворачивается моральная драма Лань Цзефана, сына единоличника Лань Ляня, отказавшегося от нелюбимой жены и выбравшего молодую любовницу, что стоило обоим карьеры. Последняя тема особенно любопытна и показывает сохраняющиеся традиционные ценности китайского общества, несмотря на приход власти денег. Лань Цзефан делает выбор по любви, но груз обязательств, некогда взятый женитьбой, не отпускает его. Практически все общество настраивается против него. И, будучи крупным региональным чиновником, Лань Цзефан из-за любви в одночасье теряет все привилегии, превращаясь в жалкого беглеца.

1990-е годы в Китае, изображенные Мо Янем, напоминают нынешнее годы в России. Прежде всего коррупцией в среде чиновников. Но приемы гротеска, с которыми писатель выписал историю Симэня Нао, он не стал распространять на реалии чиновничества. Здесь царит чистый реализм. Нет даже сатиры, из которой была соткана «Страна вина». Поэтому так остро воспринимается видное в романе чисто российское отсутствие недоумения у простых людей при виде баснословного богатства начальников. Словно так и должно быть. Чиновники Мо Яня, выросшие в безвестной деревушке Симэньтунь и выбившиеся в региональные руководители, воспринимаются обществом с пиететом. Они, очевидно, воруют и берут взятки (Мо Янь непосредственно об этом пишет мало, но иначе откуда у них такие деньги?), но в глазах простого китайца остаются недостижимым примером успеха. Правда, потом их казнят либо отправляют за решетку, но здесь у российского читателя может быть двойственное ощущение. Либо того, что они просто не поделились с кем надо, либо действительной борьбы с коррупцией, наблюдающейся в Китае в последнее время. В общем, все как в России.

Проза Мо Яня идет от земли. В ней нет сложных интеллектуальных построений, нет выраженного рефлексивного измерения, отсутствует проблематика, связанная с трудностями самосознания. Это проза человека из народа, что видно уже по одному тому, как часто писатель прибегает к фразеологизмам. Очень часто в книге встречаются устойчивые в китайском языке словосочетания, буквальный перевод которых повергает в ступор и становится понятным лишь после прочтения примечаний переводчика. Мо Янь и его герои живут и дышат родной землей, и землей же ограничен их мир. Она является причиной фундаментальной драмы их жизни. Как жить на земле правильно: возделывать ее единолично или вступать в кооператив? Нужно ли владеть ею или она должна быть коллективной собственностью? Мо Янь не может ответить на эти вопросы однозначно. За него отвечает история.

Сергей СИРОТИН

Юрий Казарин
«Я не желаю Родины иной...»

Поздний вечер. Сижу в своём кабинете в Доме писателя на Пушкина, 12 (в комнате, где работал П.П. Бажов, будучи председателем местного отделения СП СССР, и где постоянно сидели писатели — заседали, или пили чай, или восседали, вещая нечто высокое и талантливое). В комнату входит заплаканная женщина-литератор (человек немолодой, больной и почти нищий). Успокоить ее невозможно: отец умер, а родственники, объявив ее сумасшедшей, отбирают квартиру. Просматриваю документы, справки, диагнозы, постановления и — звоню Евгению Ройзману: что делать? как помочь? — Сейчас подъедут юристы, — отвечает Евгений Вадимович, — разберутся — ждите... Подъехали юристы. Разобрались. Писательница с тех пор спокойно живет в своей квартире и, естественно, сочиняет свои художественные тексты.

Имя «Ройзман» я впервые услышал от сестры моей первой жены — Марины. Она не без ликования рассказала о новом знакомом — Жене Ройзмане, который готов отдать всё за хорошую книгу. И еще: «он такой красивый», что прямо... ох! ух! ах!.. А потом и я познакомился с этим самым известным в России и за рубежом екатеринбуржцем — прочитал его стихи в «Нехорошей квартире» Евгения Касимова, ныне председателя ЕО СПР (Союза писателей), писателя и депутата. Стихи Ройзмана были (так мне тогда показалось) какие-то несвердловские, как и стихи Майи Никулиной, например. Раньше ведь почти все писали по-свердловски, а нынче пишут по-московски, по-американски и т. д. Это были иные стихи. Е. Ройзман — поэт, которому есть чтó сказать. Есть стихотворцы текста, а есть — поэзии. У Ройзмана была — поэзия, записанная по-русски.

Шорохам тихим
Внимаю, о чем-то грущу
В дверь постучали
Я встану, открою, впущу
О, император,
Я дни провожу свои в страхе
Но этого страха
Тебе никогда не прощу

1988

Вот стихи — во времени и вне времени. В них соединились в одно болезненное, радостное, мужественное, сильное, нежное, человеческое и поэтическое — всё, что принято называть социально-историческим, персональным, эпическим, лирическим, этико-эстетическим, нравственным и — поэтическим. 8 строк (интонационно и содержательно — 4), которые всажены в самый разлом двух эпох, двух времен, двух ситуаций, историческая типологичность которых — очевидна. И само время — с размаху врезано в эти строки так, что вечность сочится звуком, стоном, шепотом, голосом живым.

В современном мире Екатеринбург (объективно) известен тем, что здесь расстреляли царскую семью и Николая II, что здесь родился Б.Н. Ельцин и что здесь живёт Евгений Ройзман. Вот три исторические фигуры — семиотические ориентиры столицы Среднего Урала. Есть и другие антропонимические портреты Екатеринбурга — Свердловска — Екатеринбурга: культурный (П. Бажов, Э. Неизвестный, М. Никулина, В. Волович, М. Брусиловский и др.); политический; экономический и проч. Во всех портретах Екатеринбурга (семиотический коллаж) будет ясно и явно просматриваться профиль Евгения Ройзмана. Что бы о нем ни говорили и ни писали, — Ройзман как художник (поэт, прозаик, эссеист, мемуарист и др.), как ученый (известный в России и за рубежом иконовед), как просветитель (музеи Невьянской иконы и живописи), как меценат (сотни изданных книг и альбомов), как общественный деятель (организатор Фонда «Город без наркотиков» и многое другое), как политик (депутат ГД, председатель Городской думы Екатеринбурга, мэр, причем — народный мэр, т. е. человек, который спас тысячи жизней и помог тысячам людей), человек чести, совести и достоинства — есть лицо историческое.

Ройзман — хороший человек. Понимаю, что быть человеком таким — не профессия. (Один мой знакомый киргиз, например, говорит, что узбек — это не национальность, это профессия; то же самое узбеки говорят о киргизах, забывая о том, что и те и другие суть прежде всего — люди.) Ройзман доброжелателен и внимателен к людям, к их судьбам (редкое качество души современного человека — со-чувствие, со-переживание, со-участие, деятельное и результативное): если бы не было помощи Ройзмана в двухтысячных годах писателям, то сегодня не было бы Дома писателя и Союза писателя как такового. Я хорошо помню, как мы, писатели, переживали блокаду особняка на Пушкина, 12: ни воды, ни тепла, ни электричества (это зимой!), а мы сидим в кабинете П.П. Бажова, и с нами тогдашний министр культуры Свердловской области Наталья Константиновна Ветрова: она пьет с нами чай (чайник нагреваем через дорогу то ли в областной прокуратуре, то ли в багетной Салавата Фазлитдинова), и Женя Ройзман заходит на огонек свечи, — и всё это в 2005 году! Гости совещаются и вырабатывают план действий: Наталья Константиновна знакомит нас с Алексеем Петровичем Воробьёвым, председателем областного правительства, и он присылает к нам своего советника, который окорачивает бизнесмена-бандита, хозяина части особняка на Пушкина, 12; а Евгений Вадимович присылает вооруженных людей из охранного предприятия, и они пресекают прямой захват Дома писателя. Вот как мы жили! — и без помощи хороших людей, в том числе Константина Патрушева, друга Ройзмана, никакого Дома писателя в Екатеринбурге не было бы.

Любая социальная (в широком смысле) система прежде всего работает для себя и для своих. Коррупционность — это базовый признак социальности, специализированной и пригретой государством, которое в свою очередь есть креатура и система институций метасоциального характера. Социальность — категория множественная и противоречивая, т. к. содержит в себе структуры различного характера, но одной природы: от семейственности до государственности. У нас всё — семья: и армия, и администрация топ-чиновника, и полиция, и бизнес, и бюджетная сфера, и силовики вообще, и наука, и образование, и медицина, и поп-культура и проч., проч., проч… Здесь чужаков не любят. Не-свои — это люди, которые работают не на семью прежде всего, а на людей. Нет, говорят они, так нельзя. Ройзман для такой системы — чужак, не-свой. Он — опасность, его личность и деятельность выходят за рамки феодальных структур и иерархий. Ройзман — качественно иной: он не просто любит людей, он — помогает им (!). О, ужас!.. Ройзман — человек независимый, сильный, умный и талантливый, и все эти качества ужасны и опасны: система может не выдержать — народ любит Ройзмана и верит ему. Поэтому система пытается уничтожить Ройзмана — и тем самым делает из него героя и мученика. Ройзман сам по себе — герой, а теперь он — герой-мученик. Та-

кие люди всегда были в России, в Европе, в мире. Их — единицы, но именно они становятся воплощенной любовью народа. Поэт Майя Никулина однажды сказала мне: Ройзман — герой, такой — какие были в Древней Греции. Теперь они вечны, т. к. живут в нашем мифологическом и одновременно в историческом и социальном сознании — и действуют в нас, с нами и нами до сих пор.

Передо мной на столе лежат пять книг Евгения Ройзмана: «Жили-были: стихи» (2012), «Невыдуманные рассказы» (2012), «Город без наркотиков» (2004, 1-е изд.), «Город без наркотиков» (2014, 2-е изд.) и «Сила в правде» (2007). Есть еще несколько сборников стихотворений, которые были поглощены изданием 2012 года («Жили-были: стихи»). О стихах Е. Ройзмана я писал не однажды и считаю, что они созданы настоящим поэтом. Каждое стихотворение Е. Ройзмана есть выдох — выдох души, музыки, муки и счастья времени и жизни, выдох любви и нежности.

Пойдем по Стрелочников прочь
Непроходимыми дворами
К вокзалу шумному где ночь
Зачеркнута прожекторами
В моем кармане ключ-тройник
И ножик и немножко денег
Пока не видит проводник
Давай куда-нибудь уедем
Туда куда ведут пути
Где не жирафы а медведи
Мы никогда не полетим
Поэтому давай уедем…

1990

Состояние, типичное для русского, неопределенности (неопределенности прежде всего деятельностной) здесь, на основе побудительного наклонения, чудесным образом превращает множественную эмоцию (от растерянности до решимости) в метаэмоцию, в глобальную эмоцию ЖИЗНИ. Поэтическая концепция жизни в стихах Е. Ройзмана синтезирует в себе и в себя метаэмоции и метаконцепты (общечеловеческие, глобальные концепты) любви и смерти (эпохи, пространства, но не человека; хотя в одном из стихотворений поэт декларирует готовность умереть — здесь и сейчас, оставшись в хаосе душевном и социальном, — умереть за добро, за свет, за язык). Почти все стихотворения Е. Ройзмана особенно просодически, фонетически, интонационно и музыкально — нежны. Выдох — нежность… Вдох — холод и подлость мира. Но выдох — нежность. Нежность к миру и нежность мира к поэту и жизни, жизни как таковой.

Итак, все решено. Мы остаемся.
Не едем. И уже не торопись.
Пусть тот, кто хочет, — катится. Катись
И ты туда. Мы как-нибудь прорвемся.
А если не прорвемся, то прервемся.
Кому она нужна, такая жизнь,
А не нужна — возьми и откажись.
А что до нас — мы как-нибудь прорвемся.
Не торопись и доводы сложи.
Все решено, и мы не побежим.
И не за тем, что вдалеке не слаще.
Кто выжил здесь, тот ко всему привык.
Но как оставить русский мой язык.
Боюсь уйти. Они его растащат.

1990



В этом сонете (теза — антитеза — синтез) две интенциональные («высшее, глобальное желание») вершины: «прорвемся» и «русский мой язык». Так персональная, антропологическая энергия («прорвемся») усиливает то, что мы называем непреходящей ценностью, — язык, словесность, культуру. В каждом стихотворении Е. Ройзмана — готовность к подвигу — любому: эмоциональному, мыслительному, духовному и деятельностному.

Поэзия Е. Ройзмана — это выдох. Вдох, его боль и сладость, — поэт скрывает, не показывает: вдох остаётся в предтексте почти по-библейски (мы ведь не знаем, чтó делал Он, чем Он занимался до Первого Дня Творения!). Е. Ройзман не декламирует свои стихи, не вымучивает, не шлифует до просодического блеска — поэт просто записывает то, что выдыхается и что светится, как горячий выдох на морозе.

Я оторвался от земли
До неба я не дотянулся
И весь в отчаянье проснулся
Но оторвавшись от земли
На землю снова не вернулся
Теперь на землю мне не встать
Я сразу в петлю как устану
Но наяву ходить не стану
Когда во сне умел летать

Так и хочется сказать: вот поэтическое и личностное кредо Е. Ройзмана. Это и так и не так одновременно: здесь поэт создаёт то, что недосоздал ОН, что ОН доверил поэту досоздать, принимая сразу и землю, и небеса, или — точнее — еще раз вдохнуть мир и выдохнуть поэзию.

Языковая способность (как основа, ядро и движитель языковой личности) Евгения Ройзмана универсальна. Поэт (поэтическая личность) создает книгу рассказов (новелл, зарисовок, реплик, юморесок, побасок, полусказок, полумифов, полуочерков и эссе), главным признаком которых является природная, безыскусная, письменно-изустная и глубоко духовная художественность. Читать эти рассказы трудно: смех и слезы мешают — постоянно берешь передых, делаешь паузу, чтобы отдышаться, утереть слезы и позвонить кому-нибудь, чтобы прочитать по телефону очередной шедевр. Рассказы Е. Ройзмана не ироничны и не юмористичны, они — усмешливы и серьезны одновременно. Они богаты и бесценны не приемами и тропикой (образность, метафорика etc), а материалом (предметом познания), слогом и языком своим. Стилистическая гармония этих рассказов изумительна: разговорность, просторечность, книжность, народная усмешливость и структурная, конститутивная серьезность тона сбалансированы настолько точно и прочно, что рассказы читаются и слушаются как музыка, как музыкальные тексты — классические и народные, джазовые и серьезные — вокальные (соло, дуэты и хор). Притчевая основа этих повествовательных текстов очевидна. Притчевость в рассказах имеет природу народно-библейскую (недаром прозаик Е. Ройзман так любит иконы). Социальное в этих рассказах синтезируется с личностным, персональным. Так, рассказ «Против логики» фабульно адекватен моей детской истории, связанной с пропажей из аквариума тритона; и меня родные упрекали, как Костю Патрушева, во лжи, — и, как в рассказе, мой тритон был найден на полу, высохший, как мумия, внутри полой широкой и открытой внутрь ножки дивана.

Трагическое в этих рассказах разрешается катарсисом. Но это катарсис не классический, а ройзмановский, то бишь народно-библейский, евангелический. Рассказ «Из детства», социально и содержательно типичный, завершается фразой, простой, спокойной и легкой: «Через несколько лет ее муж, дядя Олег, убил ее подругу и сгинул в лагере. Тетя Тамара спилась. А Славка ушел в лес и повесился». Это — голос самой Судьбы. Судьбы простонародной. «В

общем, все умерли…» Я сам родился, вырос и жил на Уралмаше, а сейчас, после 37 лет отлучки, снова топчу его вечно рыхлеющий асфальт. И в нашем подъезде 50 лет назад Вовка повесился на своем балконе — от любви к гулящей девке, называвшей себя «Белка — Белочка».

Прозаическая личность Е. Ройзмана реализуется в этой книге необычно, небывало, уникально. Устность, изустность писателем не имитируется: это качество рассказов — вокальность («голосовость») — есть доминирующий признак прозы Е. Ройзмана, она — естественна, как смех и плач, как молчание и шепот, как напевка и вскрик, внутренний монолог и диалог, как рассказ самому себе.

Повторю: языковая личность и способность Е. Ройзмана универсальна. Языковая личность Е. Ройзмана, силой его словесного таланта, дара, — в процессе функционирования трансформируется в личность текстовую, которая есть основа личности культурной. Действительно, культурная, общественная и просветительская деятельность Е.В. Ройзмана настолько многоаспектна, что диву даешься: деятель-поэт, деятель-прозаик функционально преобразовывается в деятеля-писателя, эссеиста, очеркиста, мемуариста, журналиста (в хорошем значении этого слова) и вообще — в целом словесника. Любое дело Е. Ройзмана находит свое ословление, оязыковление — и вербализуется. Этот уникальный деятель и писатель работает по схеме Слово — Дело — Слово — Дело. Что важнее? Дело? Слово? В социальном отношении эти сущности равнозначны и равнозначимы. В онтологическом отношении доминирует слово. В Е. Ройзмане живут одновременно и в неизбежном единстве время и вечность. Именно это и пугает обывателя в чиновничьем или в каком-либо ином мундире. Соединенные штаты чиновников РФ видят в Е.В. Ройзмане опасность. Опасность жизни, прямоговорения, опасность прямого и открытого дела — доброго и бескорыстного, на которое не способен тот, кто входит в штаты свои чиновничьи. Опасность силы добра, силы любви, силы слова и силы правды. Евгений Ройзман как писатель-эссеист, писатель-журналист, как писатель правды представляет особую опасность для тех, кто живет только ради денег. Однажды Ройзман, говоря о бывшем мэре Екатеринбурга, изрек: «Городу нужен не владелец, а — хозяин». Город — не частная собственность, да? Я здесь горько усмехаюсь: ну да, ну да… В России сегодня приватизированы не только города, но и целые губернии, регионы…

Книга «Сила в правде» потрясает невероятным количеством дел и проблем, которые совершались и разрешались Е.В. Ройзманом — депутатом ГД. Его депутатская приемная всегда была полна страждущими, униженными и оскорбленными. Е. Ройзман помогал и помог всем — без исключения. Решались проблемы и социальные, и бытовые, и гуманитарные. Я помню девочку с Украины, которой не давали российское гражданство, несмотря на то, что она родилась в России! Я позвонил Жене, и он посоветовал: ты позвони сам в ОВИР и скажи, что Ройзман взял это дело на контроль, — они ведь, гады, деньги у родителей вымогают… Я позвонил — через день российский паспорт девочке был выдан.

«Сила в правде» — текст сложный, комплексный, обладающий особой цельностью и связностью: это и записки, и дневниковые записи, и фирменные ройзмановские микротексты (прозаические строфы), поэтика которых (и формальная, и содержательная), с одной стороны, поэтизирована (поэзия довлеет всем текстам Е. Ройзмана), а с другой стороны, документирована. Документальная проза? И да и нет: короткая фраза, утвердительная и побудительная (часто желательная) интонация, цепная грамматика и стереоскопическая семантика присущи и поэтическим, и прозаическим, и эссеистическим, и строфическим / микротекстуальным текстам Е. Ройзмана. «Сила в правде» — есть действительно сила документально-художественной природы, когда слово и дело, соединяясь в одно целое, превращаются в действенно-художественный текст. Объем дела в этой книге вполне адекватен качеству прозаического сло-

ва — и это чудо, которое приводит в изумление читателя и — вызывает оторопь у чиновника-обывателя.

Документально-художественная проза Е. Ройзмана — действенна и неизбежно сильна своей социальной (гражданственной), художественной и нравственной энергией. Одно из главных дел Е. Ройзмана — это борьба со злом. Это действительно — борьба, а не пресловутая чиновничья борьба борьбы с борьбой. В конце девяностых Екатеринбург накрыла волна наркотиков. 1998, 1999 — это гибельные годы для нашего города. Каждый шестой в Екатеринбурге — наркоман. Наркомания и наркомафия — это феномены, которые можно победить только совместно, соборно и коллективно. Не буду вдаваться в подробности (они блестяще представлены и проанализированы в двух изданиях книги Е. Ройзмана «Город без наркотиков», лишь скажу, что город оказался в катастрофической ситуации: горожане были бессильны сопротивляться беде, организованной наркоторговцами, силовиками с негласным высокочиновничьим алчным одобрением и преференциальным вниманием к этому чудовищному феномену, который изменил жизнь миллионов людей, живших в Свердловской области. Нет ни одной семьи, которая в той или иной степени не пострадала от нарковойны девяностых. (Это — страшнее прямой, «горячей» и «холодной», войны; это было похоже на войну гражданско-бытовую; например, в автобусе была ограблена моя жена, а меня обобрали, предварительно стукнув по башке чем-то твердым и тяжелым; в подъезде моего дома пострадали все семьи без исключения: дети, женщины, старики и даже мужики — ограбления, ограбления, ограбления; тогдашняя полиция, кстати сказать, заявлений не рассматривала: толстомордые офицеры кавказской наружности принимали их, не мигая своими масляными глазами, — и выбрасывали к чертовой матери; вспомним хотя бы майора Салимова, которого в конце концов Ройзман и юристы Фонда «Город без наркотиков» посадили; интересно, отсидел уже? Освободился? Надел форму? Торгует арбузами с героином? Так, видимо, и есть; знаю одного бывшего генерала МВД, крышевавшего таджиков-наркодельцов и торговавшего цистернами со спиртом, — он до сих пор процветает: огромная пенсия, высокооплачиваемая работа, толстая морда, престижная иномарка (не одна), а живет он в сказочном поселочке во дворце.)

«Город без наркотиков» — это летопись, точнее — летописи народного горя; противостояния фондовцев (во главе с Е. Ройзманом, И. Варовым, А. Кабановым, Е. Маленкиным и другими) наркомании и наркомафии; борьбы за людей, попавших в наркобеду; спасения Екатеринбурга (и обширных его окрестностей) от наркотической заразы; это летописи судеб и жизней конкретных и реальных людей; это летопись борьбы и терпения (власти Фонд всегда недолюбливали, чаще — ненавидели). Эта книга уникальна, страшна, ужасна, но талантлива и светла — добром и победой добра над злом. (Зло, естественно, непобедимо — любое зло, но пресечь его можно: для этого нужно лечь на взведенную гранату или закрыть своей грудью амбразуру, откуда бьет крупнокалиберный пулемет, — лечь, накрыть собой, спасая людей, — и выжить, что по определению невозможно; Е. Ройзман — смог; именно это раздражает и гневит всех, кто кормится с наркоторговли, и всех, кто куплен (журналисты) и поливает Е. Ройзмана грязью, производимой организмами влиятельных преступников и сознательных лжецов и подлецов.

Книга «Город без наркотиков» (и 1-е, и 2-е издания) интенционально, просодически, стилистически и содержательно близкородственна поэтическим и прозаическим книгам Е. Ройзмана: главное во всех текстах и книгах этого поэта, прозаика и вообще писателя — ПРАВДА.

Мы привыкаем к западным ценностям: живем для себя (дети и родители — сами по себе), никто никому ничего не должен (лень и страшно что-то делать, помогать, жертвовать и т. д.), каждый — самоценен, и его пороки (наркомания, например) тоже бесценны, — одним словом, избыточность индивидуализма; хотя известно, что любой плеоназм чреват тавтологией, или — порочным кру-

гом: цивилизация ходит по кругу, как слепой индюк: офис — шопинг — развлечения. Потребитель скоро употребит себя и превратится в существо без языка и головного мозга. К этому идет. Книга Е. Ройзмана — и об этом тоже, потому что наркоман, наркоторговец и наркокрышеватель — кушают себя, своих родных и любимых (дети нарколюбцев, как известно, — наркоманы).

Книга Е. Ройзмана — это литературный памятник нашей современности, так сказать, «эпохе», ее жертвам и ее героям. Повторю, книга страшная, но и светлая, потому что создана деятелем-поэтом, деятелем-художником, деятелем-ученым, деятелем-просветителем, который всегда прорывается (вспомним: «прорвемся») и влечет нас к свету. Не к пресловутому свету в конце тоннеля, а к свету, теплящемуся и горящему в нас самих. Мы способны источать свет, и Ройзман это знает — и показывает нам секрет горения: он прежде всего в наших душах, в способности нашей быть людьми, со-чувствующими и со-участвующими. Е. Ройзман-деятель в этой книге равен Ройзману-художнику, и это ощущается при чтении любой страницы этой «тяжелой» книги. Добавлю: великой книги, аналогов которой нет нигде в мире. Да, наркомания — болезнь, но в большей мере она — способ и манера существования, порочный и гибельный тип социального поведения. Да, наркоман может «излечиться», находясь в изоляции. Да! В изоляции! Я был близок к Фонду, знаю фактологию материала и методологию избавления этого «материала» от зелья.

Уверен, другого пути нет.

Книга Е. Ройзмана — насквозь гуманистична и в глобальном, социальном, и в узком, персонифицированном, смысле. Записи в книге, безымянные и с заголовками, — это судьбы людей: девочки Лены, еще «одной, заехавшей на Женский и отравившейся»; Павла Олеговича, пацана-дистрофика, заблудившегося между жизнью и смертью. (О наркоторговцах — молчу: здесь может пойти из меня лексика иная — военно-морская.) Последняя новелла в книге — главная, т. к. показывает — документально точно — судьбу мальчика, прыгающего из жизни в смерть и обратно. Однако главное в этой новелле (как и во всей книге) не фактология, а духовные изменения, происходящие в человеке, изувеченном наркотиками, душевные вспышки и затмения, которые Е. Ройзман как деятель-специалист и деятель-поэт понимает насквозь, навылет. Вся книга эта — вербализованная боль поэта, человека и деятеля. Образ автора в книге абсолютно не героичен, он, скорее, духовен, гневен, усмешлив и нежен. Автор этой книги, несомненно, добрый человек. Человек, спасающий мир. Спасающий мир без всяческих американо-кинематографических коннотаций. Автор, его образ прежде всего, — хороший человек, помогающий всем, кто был брошен в своей беде государством на произвол судьбы. Автор — это творец новой судьбы реальных людей, ставших героями книги «Город без наркотиков». Е. Ройзман и его Фонд спасли наш город от вымирания (спасены, вылечены тысячи людей — взрослых, юных и детей). Неужели это не понимают те, кто, сидя в кабинетах и на диванах, в девяностые годы думали и гадали: а ЭТО коснется меня и моих детей? — КОСНУЛОСЬ! Статистика наркозаболеваний детей «мажорного» происхождения — известна.

Автор «Города без наркотиков» великодушен: он прощает детское, наркоманское (душа сломана, изорвана у мальчишки!) предательство Павла Олеговича (Пашки), написавшего заявление против Фонда по требованию упырей (силовиков), — Павла, предавшего автора, но! — вернувшегося в лечебницу, в Фонд, к Ройзману, к ребятам, к жизни…

Книга завершается «Памяткой для родителей» (как распознать в ребенке наркомана). Таким образом, «Город без наркотиков» — это и историческая летопись войны Фонда с наркотиками, и документальный роман (как цикл заметок, записок, новелл, эссе и т. д.), и монография жизни и смерти, и учебник жизни, и роман-портрет нашего времени и его героев. Повторю: образ автора не героичен, но именно поэтому он (и каждый, кто положил живот за други своя) — герой. Герой нашего времени.

Фонд «Город без наркотиков» — великая книга. Книга страданий, боли, любви, борьбы и надежд.

Евгений Ройзман прежде всего поэт. И даже когда он не пишет стихов, он их делает, он их совершает. Если стихотворение (как у Пушкина) — это духовный поступок, то вся жизнь Евгения Ройзмана — это поэзия в действии.

…одинокий Ной,
Ступив на трап, шаги свои замедли
И вслух скажи, взглянув на эту землю:
Я не достоин Родины иной.
Когда шаги услышишь за спиной,
Остановись и успокойся, чтобы
Вздохнуть глубоко и сказать сквозь зубы:
Я не желаю Родины иной.
Когда последний день перед войной
Еще не поздно, не упало слово,
Не надо ни спасения, ни славы,
Оставь меня, я встану под стрелой.
Когда уже затихнет за стеной,
По-новому увидишь и покажешь,
А все к земле ты слова не привяжешь
Я не желаю Родины иной.

1994

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Журнал «Урал» — постоянный член международной ассоциации «Форум европейских журналов» (5.12.2002 г., Будапешт).

Подписаться на журнал «Урал» можно
во всех почтовых отделениях России.
Телефон для справок: 371-00-27

Общероссийский индекс журнала «Урал» **73412**.

Льготный индекс для подписчиков
Екатеринбурга и Свердловской области **46358**.

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также
в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»
по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130,
телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция журнала «Урал»

Главный редактор — Олег Богаев

Редакция:
Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам
Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития
Константин Богомолов — ответственный секретарь
Андрей Ильенков — зав. отделом прозы
Юрий Казарин — зав. отделом поэзии
Валерий Исхаков — литературный сотрудник
Александр Зернов — литературный сотрудник
Татьяна Сергеенко— корректор
Юлия Кокошко — корректор
Александра Голомолзина — бухгалтер

Редакционная коллегия:
О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

Редакционный совет:
Д. Бавильский, Л. Быков, А. Иличевский, Е. Касимов, М. Липовецкий, В. Лукьянин, М. Никулина, А. Расторгуев

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24
Адрес электронной почты: editor.ural@mail.ru

Телефоны:
376-57-49 — главный редактор
376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики
376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики
376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Подписано в печать 19.10.2015
Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6
Тираж 1500 экз. Заказ № 5472

Журнал «Урал» в Сети:

http://uraljournal.ru/
http://vk.com/zhurnal_ural
https://www.facebook.com/uraljournal

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/ural/

АНТОЛОГИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ШЕДЕВРА

ЭЛЛИС (Л.Л. Кобылинский), 1879–1947

Б. Паскалю
(*Сонет Леметра*)

Посвящ. Н.Г. Тарасову

Ты бездну страшную увидел под ногами,
Сомненья, горький смех изрыли пасть ея,
Ты созерцал ее бессонными ночами,
И смерти пронеслась холодная струя…
И ввергнул в бездну ты, не медля, без сомнений
Плоть изможденную и сердца чистый жар,
И гордость разума, и сладостный угар
Соблазнов жизненных, и свой высокий гений…
Ты бездну жадную своей наполнил кровью,
Останки страшных жертв ты в глубь ее вложил,
И после радостный, исполненный любовью,
Крест Искупителя над бездной водрузил…

Но бездна жадная разверзлась вновь под прахом,
И, как тростник, дрожал твой крест, объятый страхом!

ISSN0130-5409 Урал, 2015, 11, 230 Индекс 73412

Журнал «Урал» вы можете
приобрести в редакции,
театральном киоске Дома Актёра
в екатеринбургских магазинах:
«Дом книги» (ул. Антона Валека, 12),
«100000 книг» (ул. Челюскинцев, 23; ул. Декабристов, 51),
«Йозеф Кнехт» (ул. 8 Марта, 7),
сети магазинов «Живое слово»,
а также
в Музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5),
в Музее «Литературная жизнь Урала XX века»
(ул. Пролетарская, 10).

В Нижнем Тагиле журнал продаётся в магазине **«Тагилкнига»**
(ул. Первомайская, 32; ул. Дзержинского, 47).

Подписывайтесь на журнал с любого месяца во всех почтовых отделениях России. Общероссийский индекс **73412**

Льготный индекс для подписчиков Екатеринбурга и Свердловской области **46358**

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО **«Урал-Пресс Город»** по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 26-26-543, 26-27-898

Подписаться на журнал «Урал» можно в интернет-магазине качественных изданий **MyMagazines.ru.**

Информационные спонсоры журнала "Урал":

Roomple.ru

weburg.net











